

L3

СОБРАНІЕ ВОЛЬФА.

РУССКІЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ.

—
СОЧИНЕНІЯ

А. Ѳ. ПИСЕМСКАГО.

—
ТОМЪ VI.

GOBPALIE BOMPA

ENKINE DEBES

DOCTER

A. B. JINCEMCHATO

1870

СОЧИНЕНІЯ
А. ПИСЕМСКАГО.

ПОСМЕРТНОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ.

ТОМЪ VI.

ТЫСЯЧА ДУШЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.

INSTITUT

BADAŃ LITERACKICH PAN

BIBLIOTEKA

94-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 79

Tel. 26-62 62



ИЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

МОСКВА,

Гостинный дворъ, №№ 17 и 18.

Петровка, д. Михалкова, № 5.

1884



24.186/6-7

Тиснографія Товарищества М. О. Вольфъ (Спб., В. О., 16 л., д. № 5).

ТЫСЯЧА ДУШЪ.

РОМАНЪ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Въ приказахъ гражданскаго вѣдомства было, между прочимъ, сказано: «Увольняется штатный смотритель энс — го уѣднаго училища, коллежскій ассесоръ Годневъ, съ мундиромъ и пенсіономъ, службѣ присвоенными»; потомъ *далее*: «Опредѣляется смотрителемъ энс—го училища кандидатъ Калиновичъ.»

Прочитавъ этотъ приказъ, авторъ невольно задумался: «Увы!» — сказалъ онъ самъ себѣ: «въ мірѣ ничего нѣтъ прочнаго. И Петръ Михайлычъ Годневъ больше не смотритель, тогда-какъ, по точному счету, онъ носилъ это званіе ровно двадцать-пять лѣтъ. Что-то теперь старикъ станетъ подѣлывать? Не перемѣнитъ-ли образа своей жизни, и гдѣ будетъ каждое утро сидѣть съ восьми часовъ до двухъ вмѣсто своей смотрительской каморы?»

Въ Эн—скѣ Годневѣ имѣлъ собственный домикъ съ садомъ, а подъ городомъ тридцать благопріобрѣтенныхъ душъ. Онъ былъ вдовъ, имѣлъ дочь Настеньку и экономку Пелагею Евграфовну, двѣнадцати сорока-пяти и несовсѣмъ-красиваго лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на языкъ, говорила, что ему гораздо бы лучше слѣдовало на своей прелестной ключницѣ жениться, чтобъ прикрыть грѣхъ, хотя болѣе-умѣренное мнѣніе другихъ было таково, что какой ужь можетъ быть грѣхъ у такихъ стариковъ, и зачѣмъ имъ жениться?

Петра Михайлыча знали не только въ городѣ и уѣздѣ, но, я думаю, и въ половинѣ губерніи: каждый день, часовъ въ семь утра, онъ выходилъ изъ дома за припасами на рынокъ и имѣлъ, при этомъ случаѣ, привычку поговорить со встрѣчнымъ и поперечнымъ. Проходя, напримѣръ, мимо полуразвалившагося домишка сосѣднѣ-мѣщанки, въ которомъ изъ волоковаго окна выглядывала голова хозяйки, связанная платкомъ, онъ говорилъ:

— Здравствуй, Фекла Никифоровна.

— Здравствуйте, батюшка Петръ Михайлычъ, — отвѣчала та.

— Давно ли изъ губерніи воротилась?

— Вчерашнимъ днемъ, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводѣ, пѣшкомъ отшлепала по экой по грязи.

— Какъ дѣла-то идутъ?

— Дѣла мои, Петръ Михайлычъ, по начальству пошли.

— Ну, коли по начальству, такъ хорошо.

— Да хорошо-ли, отецъ мой?

— Хорошо... хорошо... — говорилъ Годневъ, идя далѣе.

Сказать правду, Петръ Михайлычъ даже и не зналъ, въ чемъ были дѣла у сосѣдки, и дѣйстви-тельно-ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорилъ это только такъ, для утѣшенія ея.

У каменнаго купеческаго дома стоялъ кучеръ въ накинутаго на плечи полушубкѣ, и его Петръ Михайлычъ считалъ за нужное обласкать.

— Что, братъ, обвѣздилъ-ли лошадку-то? — спрашивалъ онъ.

— Нешто-съ... выламывается поманеньку, — отвѣчалъ тотъ.

— Видѣлъ я... видѣлъ... Ты молодець... ловкій ѣздокъ!

Кучеръ самодовольно улыбался.

Мясную лавку, куда шелъ Годневъ, купецъ только еще отпиралъ.

— Эге, Сяливестръ Петровичъ, поздненько нынче выплылъ, — говорилъ Годневъ.

— Что дѣлать, Петръ Михайлычъ! позамѣшкался грѣшнымъ дѣломъ, — отвѣчалъ купецъ. — Что парнишко-то мой: какъ тамъ у васъ? — прибавлялъ онъ, уходя за прилавокъ.

— Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; рѣзовъ только; вчера опять два стекла въ классѣ вышибъ, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ.

— Фу ты, Господи, твоя воля! — восклицалъ купецъ, пожимая плечами. Что только мнѣ съ этимъ парнемъ дѣлать — ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни въ чемъ, а хошь ты брось!

— Ну, зачѣмъ же? Черезчуръ не надобно: хуже заколотишь.

— Заколотишь его, пострѣла, какъ бы не такъ! — возражалъ купецъ и потому прибавлялъ: — говядинки, что-ли, прикажете отвѣсить?

— Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.

— Не-уже-ли жесткой! Худой вамъ не отпустимъ... худое мы про генеральшъ здѣшнихъ бережемъ.

— Ну, вотъ ужъ и про генеральшъ! Экой вы, торговый народъ, зубоскалы!

— Право, такъ. Не знаемъ только, куда эта барыня съ почмейстеромъ деньги берегутъ.

Петръ Михайлычъ только усмѣхался и качалъ головой.

Изъ мясной лавки онъ проходилъ во внутренность гостинаго двора, гдѣ торговли торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разнаго рода другими припасами.

— Ты, луковница, опять съ своимъ товаромъ выѣхала! — говорилъ Петръ Михайлычъ бабѣ, около которой стояла большая корзина съ лукомъ.

Онъ терпѣть не могъ луку.

— Полно-ка, полно, старый баринъ хорошій, на починѣ оговаривать, возьми-ка лучше прядку, да разговаривай.

— Дура, я не ѣмъ луку.

— То-то вы, баря: «луку не ѣмъ», все бы вамъ сахару.

— Ну, ужъ не сердчай, давай прядочку, — говорилъ Годневъ и поднулъ луку, который тот-

часъ же отдавалъ первому попавшемуся нищему, — говоря: — На-ка лучку! Только безъ хлѣба не ѣшь: горько будетъ... Поди ко мнѣ на дворъ: тамъ тебѣ хлѣба дадутъ, поди!

На встрѣчу ему шелъ священникъ. Петръ Михайлычъ еще издали ему кланялся.

— Здравствуйте, — говорилъ онъ, снимая картузь и подходя къ благословенію.

— Здравствуйте, — отвѣчалъ тотъ густымъ басомъ.

— Что, отче, прочли мою книжку, али еще нѣтъ?

— Прочелъ, и намѣревался сего же дня возвратить ее съ моею благодарностью. Пріятное сочиненіе!

— Да, да, поучительная книга... Занесите какъ-нибудь.

— Непремѣнно, — отвѣчалъ священникъ и истово раскланывался.

Возвратившись домой, Петръ Михайлычъ проходилъ прямо на кухню, гдѣ стряпуха, подъ личнымъ надзоромъ Пелагеи Евграфовны, затапливала ужь печь.

— Вотъ тебѣ, командирша, сѣди и блага земныя! — говорилъ онъ, подавая эконоmkѣ кулекъ, который та принявъ, начинала вынимать изъ него запасъ, качая головой и издавая восклицанія въ родъ: «э... э... Э... хе, хе, хе...»

— Ну, заворчала! Эхъ ты, ворчунья, сударыня... Дурно, что-ли, купилъ?

— Хорошо, — отвѣчала на это Пелагея Евграфовна насмѣшливымъ тономъ.

Она никогда не оставалась покупками Петра Ми-

хайлыча довольною, и была въ этомъ совершенно права: пріятели купцы то обвѣшивали его, то продавали ему гнилое за свѣжее, тогда-какъ въ самой Пелагеѣ Евграфовнѣ расцетливое хозяйство и чисто-плотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родомъ изъ какихъ-то нѣмокъ, она, впрочемъ, ни на какомъ языкѣ, кромѣ русскаго, пикнуть неумѣла. Пріѣхавъ, — неизвѣстно, какъ и за чѣмъ, — въ уѣздный городишко, сначала чуть-было не умерла съ голоду, потомъ попала въ больницу, куда пріѣхалъ Петръ Михайловичъ и увидѣвъ больную, незнакомую даму, по обыкновенію, разговорился съ ней; и такъ-какъ въ этотъ годъ овдовѣлъ, то взялъ ее къ себѣ ходить за маленькой Настенькой. Но Пелагея Евграфовна, вступивъ нянькой, прибрала мало-по-малу къ своимъ рукамъ и все домоуправленіе. Съ самаго ранняго утра до поздней ночи она мелькала то тутъ, то тамъ, по разнымъ хозяйственнымъ заведеніямъ: лѣзла за чѣмъ-то на сѣноваль, бѣгала въ погребъ, рылась въ саду; вездѣ, гдѣ только можно было, обтирала, подметала и, наконецъ, съ восьми часовъ утра, засучивъ рукава и надѣвъ передникъ, принималась стряпать — и надобно отдать ей честь: готовить многія кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней всѣ соленыя и маринованыя приготовленія; коренная рыба, напримѣръ, заготовляемая ею въ великій постъ, была такова, что Петръ Михайлычъ всякій разъ, когда ѣлъ ее въ лѣтніе жары съ ботвиньей, — говорилъ:

— Этакой, господа, рыбы и ботвиньи самъ Лукуль не ѣдалъ!

Манишки и шейные платки для Петра Михай-

лыча, воротнички, нарукавнички и модести для Настеньки Пелагея Евграфовна чистила всегда сама и сама бы, кажется, еслибъ только силъ ей доставало, мыла и все прочее, потому-что, по собственному ея выраженію, у нея кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою бѣлье.

Когда спала и чѣмъ была сыта Пелагея Евграфовна — опредѣлить было довольно-трудно, и она даже не любила, если ей напоминали объ этомъ. Чай пила какъ-то урывками, за столъ (хоть и накрывался для нея всегда приборъ) садилась на минуточку: только-что подавалось горячее, она вдругъ вскакивала и уходила за чѣмъ-то въ кухню, и потомъ, когда снова появлялась и когда Петръ Михайлычъ ей говорилъ: «что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?» — Пелагея Евграфовна только усмѣхалась и, отвѣтивъ: «кабы не ѣла, такъ и жива бы не была», снова отправлялась на кухню.

Жалованье (120 рублей ассигнаціями въ годъ) Пелагея Евграфовна всегда принимала съ нѣкоторымъ принужденіемъ. Въ концѣ каждаго мѣсяца Петръ Михайлычъ приносилъ ей обыкновенно десять рублей.

— Это чтó еще? — говорила экономка.

— Деньги ваши. Деньги—вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться? — отвѣчалъ тотъ.

— Э... перестаньте съ вашими глупостями! — говорила, отворачиваясь, экономка и начинала смотрѣть въ окно.

— Порядокъ, мать-командирша, не глупость. Изволь взять! — говорилъ Годневъ настоятельно.

— Точно я у васъ не сыта, не одѣта, — говорила Пелагея Евграфовна и продолжала смотрѣть въ окно.

— Изволь, изволь, братъ: знаешь, не люблю! — говорилъ Годневъ еще настоятельнѣе.

Пелагея Евграфовна сердито брала деньги и съ пренебреженіемъ кидала ихъ въ рабочій ящикъ.

Всякій разъ при этой сценѣ, не смотря на недовольное выраженіе лица, у ней наворачивались на глазахъ слезы.

— Взялъ нищую съ дороги, не далъ съ голоду умереть, да еще жалованье положилъ, безстыдникъ этакой! У самого дочка есть: лучше бы дочкѣ что-нибудь скопилъ! — ворчала она себѣ подъ-нось.

— А ты мнѣ этого, командирша, не смѣй и говорить — слышишь-ли? Тебѣ меня не учить! — прикрикивалъ на нее Петръ Михайлычъ, и Пелагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье съ неудовольствіемъ.

Передавъ запасъ экономгѣ, Петръ Михайлычъ отправлялся въ гостиную и сядяся пить чай съ Настенькой. Разговоръ у отца съ дочерью почти каждое утро шелъ такого рода:

— Вы, Настасья Петровна, опять до утра засидѣлись... Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо... надо давать время занятіямъ, время отдыху и время сну.

— Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повѣсть я ужъ кончила.

— И то дурно: что-жъ мы будемъ сегодня читать? Вотъ вечеромъ и нечего читать.

— Нѣтъ, я вамъ ее дочитаю, я съ удовольствіемъ прочту ее еще разъ; и вообразите себѣ, Валентинъ этотъ вышелъ ужасно какой дурной человѣкъ.

— Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мнѣ лучше прочесть: мнѣ пріятнѣе отъ автора узнать, какъ и что было, — перебивалъ Петръ Михайлычъ, и Настенька не рассказывала.

Послѣ этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила въ садъ гулять. Ни хозяйствомъ, ни рукодѣльемъ она не занималась. Петръ Михайлычъ, въ свою очередь, надѣвалъ форменный вицмундиръ и шелъ въ училище. Въ прихожей обыкновенно встрѣчалъ его сторожъ, отставной солдатъ Гаврилычъ, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо *Теркой*. Надобно было имѣть истинно-христіанское терпѣніе Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча въ продолженіе десяти лѣтъ сторожемъ при училищѣ, потому что инвалидъ, по старости лѣтъ, былъ и глупъ, и лѣнивъ, и грубъ; никогда почти ничего не прибиралъ, не чистилъ, такъ что Петръ Михайлычъ принужденъ былъ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, нанимать на свой счетъ поломоекъ для приведенія зданія училища въ надлежащій порядокъ. Кромѣ того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогрѣтыми щами, которыя онъ обыкновенно и ставилъ съ вечера въ смотрительской комнатѣ въ печку на цѣлую ночь. Петръ Михайлычъ, почти каждый разъ, приходя поутру, говорилъ:

— Ты, гренадеръ, опять щи парилъ. Экую душу напустилъ! смотри-ка: недохнешь!

— Ну да, парилъ, у тебя все парилъ! — возражалъ Гаврилычъ.

— Да какъ же не парилъ! Еще запираешься, лжешь на старости лѣтъ, грѣховодникъ!

— Погляди самъ въ печку, такъ може и увидишь, что тамotka ничего нѣтъ.

— Знаю, что въ печкѣ ничего нѣтъ: съѣлъ! и сало-то еще съ рыла не вытеръ, дуракъ!.. огрызается туда же! Прогоню, такъ и знаешь... шляйся по міру!

— Гони! словно міромъ не живутъ, — отвѣчалъ Терка и уходилъ.

— Дуракъ! — повторялъ ему въ слѣдъ Петръ Михайлычъ.

Впрочемъ, тѣмъ все и кончалось.

Занявшись въ смотрительской составленіемъ отчетовъ и рапортовъ, во время перемѣны классовъ Петръ Михайлычъ обходилъ училище и начиналъ, какъ водится, съ перваго класса, въ которомъ, тоже какъ водится, была пыль столбомъ.

— Ахъ, вы эіопы! татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! — говорилъ старикъ, принимая строгій видъ.

Въ классѣ нѣсколько утихало.

— Зашумите вы у меня еще разъ! всѣхъ переберу — изъ девяти возьму десятого на выдержку! — заключалъ онъ торжественно и уходилъ. Въ корридорѣ прямо летѣлъ на него сорванецъ и чуть не сшибалъ его съ ногъ.

— Что ты? Что ты, братецъ? — говорилъ, разводя руками, Петръ Михайлычъ. — Этакая лошадь степная! Вотъ я на тебя недоуздокъ надѣну, погоди ты у меня!

— Петръ Михайлычъ, меня Модестъ Васильичъ

безъ обѣда оставилъ; я не виноватъ-съ! — говорилъ третьяго класса ученикъ Калашниковъ, парень лѣтъ восемнадцати, дюжій на взглядъ, нечесаный, неумытый и въ чуйкѣ.

— Когда оставилъ, стало ты — это заслужилъ, — возражалъ ему Петръ Михайлычъ.

— Я, ей-богу, ничего не дѣлалъ; спросите всѣхъ. Они на меня, извѣстно, нападаютъ. Мнѣ сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки въ лавкѣ некому сидѣть.

— И лучше, что нельзя, лучше расквѣсься и поймешь, что дурить и грубить не слѣдуетъ, — говорилъ Петръ Михайлычъ и поскорѣе уходилъ.

Калашниковъ его передразнивалъ, такъ что старикъ все слышалъ:

— Грубить и дурить не слѣдуетъ, — ту, ту, ту, тетеревъ! Я и безъ шапки убѣгу; много съ меня возьмешь! — говорилъ онъ и, съ досады, отламывалъ закраину у карты.

Вообще строгость и крутыя мѣры были совершенно не въ характерѣ Петра Михайлыча. Со школьниками онъ еще кое-какъ справлялся и, въ крайней необходимости, даже посѣкалъ ихъ, возлагая это, безъ личнаго присутствія, на Гаврилыча и давая ему каждый разъ приказаніе наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилычъ, питавшій къ школьникамъ какую-то глубокую ненависть, если наказуемый былъ только ему по силѣ, распорядился такъ, что тотъ, выскочивъ изъ смотрительской, часа два отхлিপывался. Но въ совершенное затрудненіе становился старикъ, когда ему нужно было дѣлать замѣчаніе или выговоры учителямъ. Этому,

впрочемъ, подпадалъ одинъ только преподаватель исторіи, Экзархатовъ, который былъ человекъ очень неглупый, изъ университета. Въ продолженіе всего мѣсяца онъ былъ очень тихъ, задумчивъ, старателенъ, очень молчаливъ и предметъ свой зналъ прекрасно; но только-что получалъ жалованье, на другой же день являлся въ классъ развеселый: съ учениками шутить, пойдетъ потомъ гулять по улицѣ — шляпа на боку, въ зубахъ сигара, попѣваетъ, насвистываетъ; пожалуй, гдѣ случай выпадетъ, готовъ и драку сочинить; къ женскому полу получаетъ сильное стремленіе и для этого придетъ къ рѣкѣ, станетъ на берегу около плотовъ, на которыхъ прачки моютъ бѣлье, и любуется... Посуда, окна, домашніе не попадайся: исколотить. А проспится, опять тише его нѣтъ. Еще въ Москвѣ онъ женился на какой-то вдовѣ, Богъ знаетъ — изъ какого званія, съ пятерыми дѣтьми, — женщиной глупой, вздорной, по милости которой онъ, говорятъ, и пить началъ. Во все время, покуда кутить мужъ, Экзархатова убѣгала къ сосѣдямъ; но когда онъ приходилъ въ себя, — принималась его, какъ ржа желѣзо, ѣсть, и достаточно было ему сказать одно слово — она пустить въ него чѣмъ ни попадо, растреплетъ на себѣ волосы, платье, и побѣжитъ къ Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется въ смотрительскую и кричитъ:

— Батюшка, Петръ Михайлычъ, сдѣлайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..

— Что такое случилось? Что вамъ угодно отъ меня? — спрашивалъ Годневъ, хотя очень хорошо зналъ, что такое случилось.

— Извѣстно что: двои сутки пилъ! Что хошь,

то и дѣлайте. Нѣтъ моей сплущки; ни ложки, ни ложки въ домѣ не стало: все перебилъ; сама елжива ушла; третью ночь съ дѣтками въ банѣ ночью.

— Боже мой! Боже мой! — говорилъ Петръ Михайлычъ, пожимая плечами. — Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надѣюсь, что это будетъ въ послѣдній разъ.

— Батюшка, да ты хорошенько съ него спроси; нельзя-ли какъ-нибудь... хонь бы ты посѣкъ его.

— Какъ это можно, сударыня! Вамъ и говорить этого не слѣдуетъ, — возражалъ Петръ Михайлычъ.

— Гаврилычъ! — кричалъ онъ: — подите и попросите ко мнѣ г. Экзархатова.

И Экзархатовъ являлся, немного сутуловатый, въ потертомъ вицмундирѣ, съ лицомъ истощеннымъ, съ синякомъ на лѣвомъ глазу... вообще фигура очень печальная.

— Вы, Николай Ивановичъ, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: «пьянство есть небольшое бѣшенство!» И что за желаніе быть въ полусумасшедшемъ состояніи. Съ вашимъ умомъ, съ вашимъ образованіемъ... нехорошо, право, нехорошо!..

— Виновать, Петръ Михайлычъ, самъ очень хорошо чувствую, — отвѣчалъ Экзархатовъ и еще ниже потуплялъ голову.

— Ты, рожа такая безобразная! — вмѣшивалась Экзархатова, не стѣсняясь присутствіемъ зрителя: — только на словахъ винишься, а на сердцѣ ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребятъ, какой

ты поилецъ и кормилецъ! Не воровать мнѣ, не по міру идти изъ-за тебя!

— Такъ, такъ, — говорилъ Годневъ, качая головой.

— Виноватъ, Петръ Михайлычъ, — повторялъ Экзархатовъ.

— Вѣрю, вѣрю вашему раскаянію, п надѣюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу васъ идти къ вашимъ занятіямъ, — говорилъ Петръ Михайлычъ. — Ну, вотъ, сударыня, — присовокупилъ онъ, когда Экзархатовъ уходилъ: — видите, не помиловалъ; приличное наставленіе сдѣлалъ: теперь вамъ нечего больше огорчаться.

Но Экзархатова не оставалась этимъ довольна.

— А что мнѣ не огорчаться-то? Чтò вы ему сдѣлали?... По головкѣ еще погладили пса этакова? — говорила она.

— Ай, ай, ай! какъ это стыдно дамѣ такія слова говорить! — возражалъ Петръ Михайлычъ: — супруги должны недостатки другъ у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.

— Тьфу мнѣ на его любовь — вотъ онъ, криво-рожай, чего стоитъ! — возражала Экзархатова: — кабы знала, такъ бы не ходила, потатчики этакіе! — присовокупляла она уходя.

Петръ Михайлычъ усмѣхался и говорилъ самъ съ собой:

— Характерная женщина! ахъ, какая характерная! Сгубила совсѣмъ человекъ; а какой малый-то неподобный! Что ты будешь дѣлать?

Проходя изъ училища домой, Петръ Михайлычъ всегда былъ очень радъ, когда встрѣчалъ кого-

нибудь изъ знакомыхъ помѣщиковъ, прїѣхавшихъ на время въ городъ.

— Остановитесь на минуточку! — кричалъ онъ. Помѣщикъ останавливался.

— Надолго-ли? — спрашивалъ Петръ Михайлычъ.

— До завтра.

— А сегодня куда не званы обѣдать?

— Нѣтъ, ни у кого еще не былъ.

— Такъ что же, прїѣзжайте щей откушать; а если нѣтъ, такъ разсержусь, право разсержусь. Съ годъ ужъ мы не видались.

— Благодарю васъ. Буду, если позволите. Сейчасъ только въ судъ заведу.

— Добре, добре, вотъ это по-нашему, по-пріятельски. До свиданья, — говорилъ Петръ Михайлычъ.

Противъ этой его привычки приглашать къ себѣ обѣдать постоянно возставала Пелагея Евграфовна.

— А что, мать-командирша, чтò мы будемъ сегодня обѣдать? — спрашивалъ онъ, приходя домой.

— Будете сыты, не беспокойтесь.

— То-то; я пригласилъ одного человѣка...

— Что это, Петръ Михайлычъ, никогда заблаговременно не скажете, и что у васъ все гости да гости! Не напасешься ничего, да и только.

— Ну, ну, полно, командирша, ворчатъ! Кто не любитъ раздѣлить своей трапезы съ пріятелемъ, тотъ человѣкъ жадный.

Впрочемъ, и Пелагея Евграфовна было не жаль: она не любила только, когда ее заставляли, какъ она выражалась, *непринасенную*. Кромѣ случайныхъ

посвѣтителей, у Петра Михайлыча былъ одинъ каждодневный — родной его братъ, отставной капитанъ Флегонтъ Михайлычъ Годневъ. Капитанъ былъ холостякъ, получалъ 100 рублей серебромъ пенсіона и жилъ на квартирѣ, черезъ домъ отъ Петра Михайлыча, въ двухъ небольшихъ комнатахъ. Въ противоположность разговорчивости и общительности Петра Михайлыча, капитанъ былъ очень молчаливъ, — отвѣчалъ только на вопросы и то весьма односложно. Онъ очень любилъ птицъ, которыхъ держалъ различныхъ породъ до сотни; кромѣ того, онъ былъ охотникъ ходить съ ружьемъ за дичью и удить рыбу; но самымъ важнѣйшимъ предметомъ его привязанности была лягавая собака Діанка. Онъ съ ней спалъ, мылъ ее, никогда съ ней не разлучался и по цѣлымъ часамъ глядѣлъ на нее, когда она лежала подъ столомъ развалившись, а потомъ усмѣхался.

— Чему это, капитанъ, вы смѣтаетесь? — спрашивалъ его Петръ Михайлычъ. Онъ всегда называлъ брата «капитаномъ».

— Да вонъ-съ, Діанка спитъ, — отвѣчалъ тотъ.

Постоянный костюмъ капитана былъ форменный военный вицъ-мундиръ. Курилъ онъ, и курилъ очень-много, крѣпкій турецкій табакъ, который, вмѣстѣ съ пѣнковой, коротенькой трубочкой, носилъ всегда съ собой въ бисерномъ кисетѣ. Кисетъ этотъ вышила ему Настенька и, по желанію его, изобразила на одной сторонѣ казака, убивающаго турка, а на другой — крѣпость Варну. Каждодневно, за полчаса до прихода Петра Михайлыча, капитанъ являлся, раскланивался къ Настенькой, цѣловалъ у ней

ручку и спрашивалъ о ея здоровьѣ, а потомъ садился и молчалъ.

— Что-жь вы не курите? — говорила Настенька, чтобъ занять его чѣмъ-нибудь.

— А вотъ-съ покурю, — отвѣчалъ капитанъ и набивалъ свою коротенькую трубочку, высѣкалъ огонь къ труту собственнаго издѣлія изъ толстой сахарной бумаги, и начиналъ курить.

— Здравствуйте, капитанъ! — говорилъ приходя Петръ Михайлычъ.

Капитанъ вставалъ и почтительно ему кланялся. Изъ одного этого поклона можно было заключить, какое глубокое уваженіе питалъ капитанъ къ брату. За столомъ, если никого не было посторонняго, говорилъ одинъ только Петръ Михайлычъ; Настенька больше молчала и очень мало кушала; капитанъ совершенно молчалъ и очень много ѣлъ; Пелагея Евграфовна безпрестанно вскакивала. Послѣ обѣда между братьями всегда почти происходилъ слѣдующій разговоръ:

— Куда это путь изволите направлять: вѣрно на птицъ своихъ посмотрѣть? — говорилъ Петръ Михайлычъ, когда капитанъ, выкуривъ трубку, брался за фуражку.

— Да-съ, нужно побывать, — отвѣчалъ тотъ.

— Съ Богомъ! Вечеромъ будете?

— Буду-съ, — отвѣчалъ капитанъ и уходилъ, а вечеромъ дѣйствительно являлся къ самому чаю съ своими обычными атрибутами: кисетомъ, трубкой и Діанкой.

Послѣ чаю обыкновенно начиналось чтеніе. Капитанъ попреимуществу любилъ книги историческаго

и военнаго содержанія; впрочемъ, онъ и все прочее слушалъ довольно внимательно; и когда Діанка проскудитъ что-нибудь во снѣ, или сильно начнетъ чесать лапой ухо, или заколотитъ хвостомъ отъ удовольствія, онъ всегда погрозитъ ей пальцемъ и проговоритъ тихимъ холосомъ: «кушъ!»

Въ праздничные дни жизнь Годневыхъ принимала нѣсколько другой характеръ. Петръ Михайлычъ, въ своей вседневной, старой бекешѣ и въ старой фуражкѣ, отправлялся обыкновенно къ заутрени въ свой приходъ, куда также являлся и Флегонтъ Михайлычъ. Послѣ службы братья расходились по домамъ. Къ обѣднѣ Петръ Михайлычъ шелъ уже съ Настенькой и былъ одѣтъ въ новую шинель и шляпу и средній вицъ-мундиръ; капитанъ являлся тоже въ среднемъ вицъ-мундирѣ. Отслушавъ литургію, братья подходили къ кресту, потомъ цѣловались и поздравляли другъ друга съ праздникомъ. Капитанъ, кромѣ того, подходилъ къ Настенькѣ, справлялся, по обыкновенію, о ея здоровьѣ и поздравлялъ ее съ праздникомъ. Изъ церкви вся семья отправлялась домой, гдѣ для нихъ Пелагея Евграфовна приготавливала кофе. По праздникамъ Петръ Михайлычъ былъ еще спокойнѣе, еще веселѣе.

— Не угодно-ли вамъ, возлюбленный нашъ братъ, одолжить намъ вашей трубочки и табачку? — говорилъ онъ, принимаясь за кофе, который пилъ одинъ разъ въ недѣлю и всегда при этомъ выкуривалъ одну трубку табаку.

Эта просьба брата всегда доставляла капитану большое наслажденіе. Онъ старательно выдувалъ свою трубочку, аккуратно набивалъ табакъ и, поло-

живъ зажженного труту, подносилъ Петру Михайлычу, который за это цѣловалъ его.

Извѣстіе объ отставкѣ Годнева удивило весь городъ.

— Вы, Петръ Михайлычъ, въ отставку вышли?— говорили ему.

— Да, сударь, — отвѣчалъ онъ.

— Что же вамъ вздумалось?

— А что же? Будетъ съ меня, послужилъ!

— Да вѣдь вы бы двойной окладъ получали?

— Зачѣмъ мнѣ двойной окладъ? У меня, слава Богу, кусокъ хлѣба есть: проживу какъ-нибудь.

II.

Изъ предыдущей главы читатель имѣлъ полное право заключить, что въ описанной мною семьѣ царствовала тишь, да гладь, да Божья благодать, и всѣ были, по возможности, счастливы. Такъ оно казалось и такъ бы на самомъ дѣлѣ существовало, еслибъ не было замѣшано тутъ молоденькаго существа, моей будущей героини, Настеньки. Та-же исправница, которая такъ невыгодно толковала отношенія Петра Михайлыча къ Пелагеѣ Евграфовнѣ — говорила про нее:

— Господи, Боже мой! можетъ же быть на свѣтѣ такая дурнушка, какъ эта несчастная Настенька Годнева!

— Что-же за особенная дурнушка? Напротивъ, очень милая дѣвушка, — осмѣливался слегка возразить ей мужъ.

— Очень милая, — возражала, въ свою очередь, исправница съ удареніемъ и вся вспыхнувъ, какъ-будто нанесено ей было глубокое оскорбленіе.

— Что-жь такое? — говорилъ больше про себя мужъ.

— Очень милая, — повторяла исправница (въ голосъ ея слышалось шипѣнье): — въ танцахъ мѣшается, а по-французски произносить: же-не-вѣ-па, же-не-пѣ-па!

— Люди небогатые: не на что было гувернантокъ нанимать! — еще разъ рискуетъ замѣтить мужъ.

Исправница нѣсколько минутъ смотритъ ему въ лицо, какъ-бы измѣряя его и обдумывая, что бы такое съ нимъ сдѣлать, а потомъ, видимо сдерживая свой гнѣвъ, говоритъ:

— Зачѣмъ вы ходите сюда въ гостиную? Подите вы вонъ, сидите вы цѣлый день въ вашемъ кабинетѣ и не смѣйте показывать вашего сквернаго носа.

Исправникъ пожимаетъ только плечами и уходитъ.

— Какой мудрецъ-философъ выискался, дуракъ набитый! Смѣетъ еще разсуждать, — говоритъ исправница: — мужичкамъ тоже не на что нанимать гувернантокъ, а все-таки онѣ мужички.

Нужно-ли говорить, что невыгодные отзывы исправницы были совершенно несправедливы. Настенька, напротивъ, была очень недурна собой: небольшого роста, худенькая, совершенная брюнетка, она имѣла густые, черные волосы, большіе, черные, какъ двѣ спѣлыя вишни, глаза, полуприподнятые вверхъ, — что придавало лицу ея нѣсколько

сентиментальное выраженіе; словомъ, головка у ней была прехорошенькая.

Что-жь касается образованія, то я долженъ здѣсь сдѣлать маленькое отступленіе. Настенька была въ полномъ смыслѣ то, что называется *уѣздная барышня*... Но, Бога ради, не подумай, читатель, чтобъ она была уѣздная барышня настоящаго времени. Тутъ есть громадное различіе. Я, напримѣръ, очень еще не старый человекъ и только еще вступаю въ солидный, около сорока-лѣтній возрастъ мужчины; но — увы! при всѣхъ моихъ тщетныхъ поискахъ, болѣе уже пятнадцати лѣтъ пересталъ встрѣчать милыхъ уѣздныхъ барышень, которымъ нѣкогда посвятилъ первую любовь мою, съ которыми, читая «Амалать-Бека», обливался горькими слезами, съ которыми перекидывался фразами изъ «Евгенія Онегина», которымъ писалъ въ альбомъ:

«Я не скажу, я не признаюсь,
Въ чемъ тайна вѣчная моя.»

Въ то мое время почти въ каждомъ городѣ, въ каждомъ околоткѣ рассказывались маленькія исторіи въ родѣ того, что какая-нибудь Анночка Савинова влюбилась безъ ума — о ужасъ! — въ Ананьина, жена-таго человека, такъ что мать принуждена была возить ее въ Москву на воды, чтобъ вылечить отъ этой безразсудной страсти; а Катенька Макарова такъ равнодушна къ карабинерному поручику, что даже на балѣ не въ состояніи была этого скрыть и цѣлый вечеръ не спускала съ него глазъ. У каждой почти барышни тогда — я въ томъ увѣренъ — хранилось въ завѣтномъ ящикѣ комода нѣсколько тетра-

дей стиховъ, переписанныхъ съ грамматическими, конечно, ошибками, но старательно и все собственной рукой. Въ безконечныхъ мазуркахъ барышни обыкновенно говорили съ кавалерами о чувствахъ и до того увлекались, что даже не замѣчали, какъ мазурка кончалась и что всѣ давно ужъ сидѣли за ужиномъ. Ничего этого нѣтъ въ нынѣшнихъ уѣздныхъ барышняхъ. Боже мой, какъ онѣ нынче благообразны и осторожны, какую имѣютъ, сравнительно съ прежними барышнями, большую привычку къ корсету! какъ бойко, хоть не совсѣмъ съ толкомъ, играютъ на фортепiano! какъ правильно говорятъ по-французски! какъ граціозны въ танцахъ! Но за то, не безпокойтесь, онѣ не затанцуются до увлеченія. Если вы съ ними заговорите о чувствахъ (авторъ съ умысломъ это сдѣлалъ), онѣ, повѣрьте, не поддержать разговора или потому, что просто не поймутъ, или найдутъ это неприличнымъ. Если вы нынѣшнюю уѣздную барышню спросите, любитъ ли она музыку, она скажетъ: «да», и сыграетъ вамъ двѣ-три польки; другая, пожалуй, пропоетъ изъ «Нормы»; но если вы попросите спѣть и сыграть какую-нибудь русскую пѣсню или романсъ, не совсѣмъ новый, но который вамъ нравился бы по своей задумчивости, на это вамъ сдѣлаютъ гримасу и встанутъ изъ-за рояля. Авторъ однажды высказалъ въ обществѣ молодыхъ деревенскихъ дѣвицъ, что, по его мнѣнію, если дѣвушка мечтаетъ при лунѣ, такъ это прекрасно рекомендуетъ ее сердце, — всѣ разсмѣялись и сказали въ одинъ голосъ: «какія глупости мечтать!» Нашъ великій Пушкинъ, призванный, кажется, быть вѣчнымъ любимцемъ женщинъ, — Пушкинъ, котораго

барышни моего времени знали всего почти наизусть, котораго Татьяна была для нихъ идеаломъ, — нынѣшнія барышни почти не читали этого Пушкина, но за то поглотили цѣлыя сотни томовъ Дюма и Поля-Феваля, и знаете-ли почему? — потому что тамъ описывается дворъ, великолѣпныя гостинныя героини и торжественныя поѣзды. Если автору случалось въ нынѣшнихъ барышняхъ замѣчать что-то въ родѣ любви, то тутъ же открывалось, что чувство это было направлено именно на человѣка, съ которымъ могла составиться приличная партія; и чѣмъ эта партія была приличнѣе, то есть выгоднѣе, тѣмъ болѣе страсть увеличивалась. Почти положительно можно сказать, что прежнія барышни страдали отъ любви; нынѣшнія — отъ того, что у папеньки денегъ мало. Прежде молодая дѣвушка готова была бѣжать съ бѣднымъ, но благороднымъ Вольдемаромъ; нынче побѣговъ нѣтъ ужь больше, но зато авторъ съ растерзаннымъ сердцемъ видѣлъ десятки примѣровъ, какъ семнадцатилѣтняя дѣвушка употребляла все кокетство, чтобъ поймать богатаго старика. Прежде *завѣтный онъ* казался полубогомъ, а нынче *завѣтный онъ* — будущій генералъ или владѣлецъ пяти-сотъ душъ. Мечтательности, чувствительности, которую нѣкогда такъ хлопоталъ распространить добродушный Карамзинъ, — ничего этого и въ поминъ нѣтъ: тщеславіе и тщеславіе, наружный блескъ и внутренняя пустота заразили юныя сердца. Для кареты на лежачихъ рессорахъ, для бархатной мантильи, обшитой лебяжьимъ пухомъ, для брильянтоваго склаважа готовы нынѣшнія барышни на всевозможную супружескую муку.

Героиня моя была не такова: очень умненькая, добрая, отчасти сентиментальная и чувствительная, она въ то же время сидѣла сгорбившись, не умѣла танцовать вальсъ въ два темпа, не играла совершенно на фортепіано и по-французски произносила: — же-не-вѣ-па, же-не-пѣ-па. Что дѣлать? У нея не было ни гувернантки-француженки, способной передать ей тайну хорошаго произношенія; ее не выпрямляли и не учили присѣдать въ пансіонѣ; при ней даже не было никакой практической тетушки или сестрицы, которая хлопотала бы о ея наружности и набрала бы ее, какъ говоритъ Гоголь, всякимъ бабьемъ.

Лишившись жены, Петръ Михайлычъ не въ состояніи былъ разстаться съ Настенькой и выросилъ ее дома. Ребенкомъ, она была страшная шалунья: цѣлые дни бѣгала въ саду, рылась въ песокъ, загорала, какъ только можетъ загорѣть брүнеточка, прикармливала съ рѣвки гусей и бѣгала даже съ мѣщанскими мальчиками въ лошадки. Ходившая каждый день на дворъ къ Петру Михайлычу нищая, встрѣчая ее, всегда говорила:

— Экая барышня шалунья! Пстой-ка, я ее возьму въ мѣшокъ да унесу.

Настенька краснѣла, но не теряла присутствія духа и смѣло глядѣла въ лицо старухѣ. Педагог Евграфовны она, конечно, нисколько не слушалась и не боялась.

Экономка приходила въ ужасъ, глядя на ея перепачканныя платьеца и изорванные башмачки.

— Вотъ тебѣ и петербургская холстиночка: ходите теперь, въ чемъ хотите... нѣтъ ужъ, Настасья

Петровна, нѣтъ, нажалуюсь на васъ папенькѣ... — говорила она.

— Папаша ничего не скажетъ, — отвѣчала Настенька и сама бѣжала къ отцу.

— Папаша, посмотри, какая я замарашка, — говорила она.

— Славно, славно, дикарочка моя! — отвѣчалъ тотъ. (За рѣзвость и за смуглый цвѣтъ лица Петръ Михайлычъ прозвалъ дочку дикарочкой.)

Настенька прыгала къ нему на колѣни, цѣловала его, потомъ ложилась около него на диванъ и засыпала. Старикъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ не шевелясь, чтобъ не разбудить ее, по цѣлымъ часамъ глядѣлъ на нее, не спуская глазъ, самъ бережно потомъ бралъ ее на руки и переносилъ въ кровать.

«Сколько бы у насъ общей радости было, кабы покойница была жива», — говорилъ онъ самъ съ собою и, съ навернувшимися слезами на глазахъ, уходилъ въ кабинетъ и долго ужъ оттуда не возвращался...

Когда Пелагея Евграфовна замѣчала Петру Михайлычу: «баловникъ ужъ вы, баловникъ, нечего таиться», — онъ обыкновенно возражалъ: «воспрещать ребенку рѣзвиться — значитъ отравлять самыя лучшія минуты жизни и омрачать самую чистую, свѣтлую радость».

Учить Настеньку чистописанію, закону Божію, 1-й и 2-й части ариѳметики и грамматикѣ Петръ Михайлычъ началъ самъ. Дѣвочка была очень понятлива. Съ какимъ восторгомъ онъ показывалъ своимъ знакомымъ написанную ею маленькими рученками, но огромными буквами, извѣстную пропись: «Америка очень богата серебромъ!»



— Калиграфъ у меня, господа, дочка будетъ, право, калиграфъ! — говорилъ онъ. Очень также любилъ проэкзаменовать ее при постороннихъ изъ таблицы и, стараясь какъ бы сбивать, задавалъ такимъ образомъ:

— А сколько, напримѣръ, скажите вы мнѣ, Настасья Петровна, девятью два?

— Восемнадцать, — отвѣчала Настенька и никогда не ошибалась.

Старикъ былъ въ восторгѣ.

Когда Настенькѣ минуло четырнадцать лѣтъ, она перестала бѣгать въ саду, перестала даже играть въ куклы, стыдилась поцѣловать пріѣхавшаго въ отставку дядю-капитана, и когда, по приказанію отца, поцѣловала, то покраснѣла; тотъ, въ свою очередь, тоже вспыхнулъ. Чѣмъ и какъ было Петру Михайлычу занять въ его однообразной жизни свою дикарочку? Не замѣчая самъ того, онъ пріучилъ ее къ своему любимому занятію. Всѣ, я думаю, помнятъ, въ какомъ огромномъ количествѣ въ тридцатыхъ годахъ выходили романы переводные и русскіе, романы всевозможныхъ содержаній: историческіе, нравоописательные, разбойничьи; сборники, альманахи и, наконецъ, журналы. Изъ всего этого каждый вечеръ что-нибудь прочитывалось. Настенька сначала слушала съ бессознательнымъ любопытствомъ ребенка, а потомъ сама стала читать отпу вслухъ и, наконецъ, пристрастилась къ чтенію.

Появленіе ея въ маленькомъ уѣздномъ свѣтѣ было несомнѣнно удачно: ей минуло восемнадцать лѣтъ, когда въ городъ пріѣхала на житье генеральша Шевалова, дама премоудная и прерордая. Прежде она

жила, по лѣтамъ, въ своей усадьбѣ, а по зимамъ въ столицахъ, и теперь переѣхала въ уѣздный городокъ, чтобъ имѣть личное вліяніе на производящейся тамъ значительный процессъ по ея имѣнію. У ней была всего одна дочь, мамзель Полина, дѣвушка, говорятъ, очень умная и образованная, но, къ несчастію, съ какимъ-то болѣзненнымъ цвѣтомъ лица и, какъ ходили слухи, безъ двухъ реберъ въ одномъ боку — недостатокъ, который, впрочемъ, по наружности почти невозможно было замѣтить. Генеральша была очень богата и непмѣрно скупа: выжимая изъ имѣнія, на сколько можно было изъ него выжать, она въ домашнемъ хозяйствѣ заправляла всѣмъ сама и дрожала надъ каждой копѣйкой. Скупость ея, говорятъ, простиралась до того, что не только дворовой прислугѣ, но даже самой себѣ съ дочерью она отказывала въ пищѣ, и къ столу у нихъ, когда никого не было, готовилось въ такой пропорціи, чтобъ только заморить голодъ; но зато для внѣшняго блеска генеральша ничего не жалѣла. Переѣхавъ въ городъ, она наняла лучшую квартиру; мебель была привезена обитая бархатомъ, трипомъ; во всѣхъ комнатахъ развѣшены были картны въ золотыхъ рамахъ и разставлено пропасть бронзовыхъ вещей. По городу она всегда ѣздила въ каретѣ съ форейторомъ, хотя и на сильно сморенной четвернѣ. У ней былъ метр-д'отель, и всѣ лакеи были постоянно одѣты въ ливреи. Въ заключеніе всего, она объявила, что, въ продолженіе всей зимы, у ней будутъ по четвергамъ танцевальныя вечера.

Въ маленькомъ городишѣ все пало ницъ передъ ея величіемъ, тѣмъ болѣе, что генеральша оказалась

въ обращеніи очень горда, и хотя познакомилась со всѣми городскими чиновниками, но ни съ кѣмъ почти не сошлась и отертыто говорила, что она только и отдыхаетъ душой, когда видится съ княземъ Ивановомъ и его милымъ семействомъ (князь Иванъ былъ подгородный, богатый помѣщикъ и дальній ея родственникъ).

Съ Петромъ Михайлычемъ генеральша познакоми-лась болѣе случайно. Она отнеслась къ нему съ просьбою снабжать ее книгами изъ библіотеки уѣзд-наго училища, и когда онъ изъявилъ согласіе, она, какъ-бы въ возмездіе, пригласила его пріѣхать въ первый же четвергъ и непременно съ дочерью. Настенькѣ сдѣлалось немножко страшно, когда Петръ Михайлычъ объявилъ ей, что они поѣдутъ къ ге-неральшѣ на балъ; впрочемъ, ей хотѣлось. Годневъ, при всей своей неопытности къ бальной жизни, по-нималъ, что въ первый разъ въ свѣтѣ надобно по-казать дочь какъ можно наряднѣе одѣтою, и совѣто-вался по этому случаю съ Пелагеей Евграфовной. На совѣщаніи ихъ положено было купить Настенькѣ самаго лучшаго газу на платье и лучшаго атласу на чехоль. Экономка принялась хлопотать до не-вѣроятности и купленную матерію мѣняла разъ семь: то замѣтитъ на газѣ дырочку болѣе обыкновенной, то маленькое пятнышко на атласѣ. Шить сама платье не взялась, а отыскала у казначейши крѣпостную портниху, уговорила ее работать у нихъ на дому, посадила въ свою комнату и слѣдила за каждымъ ея стежкомъ. На шею Настенькѣ она предназначила надѣть повойной жены Петра Михайлыча жемчугъ съ брильянтовымъ фермуаромъ, который перенизывала,

чистила, мыла и вообще приводила въ порядокъ цѣлые полдня. Пелагея Евграфовна, какъ истая нѣмка, бывши мастерицей стряпать, не умѣла одѣвать. Выбранный ею газъ хотя и отличался добротою, но былъ ужь очень грубаго розоваго цвѣта. Крѣпостная портниха тоже перемодничала въ покроѣ платья и чрезвычайно низко пустила мысъ у лифа. Приведенный въ порядокъ жемчугъ, конечно, былъ довольно цѣнный, но имѣлъ какой-то аляповатый купеческій характеръ. Всѣхъ этихъ недостатковъ не замѣчали ни Настенька, которая все еще была подъ влiяніемъ неопредѣленнаго страха, ни сама Пелагея Евграфовна, одѣвавшая свою воспитанницу, насколько доставало у нея пониманья и умѣнья, ни Петръ Михайлычъ конечно, который въ тонкостяхъ женскаго туалета ровно ничего не смыслилъ. Самъ онъ одѣлся въ новый свой вицъ-мундиръ, въ бѣлый съ свѣтлыми форменными пуговицами жилетъ и бѣлый галстухъ— костюмъ, который онъ обыкновенно надѣвалъ, причащаясь и къ обѣднѣ свѣтлаго Христова Воскресенья. Когда Настенька вышла совсѣмъ одѣтая,— онъ воскликнулъ;

— Фу ты, какая королева! бепе!... optime!... Ну-ка, поверни головку... хорошо... право, хорошо... Мать-командирша, вѣдь, Настенька у насъ прехорошенькая!

— Э, перестаньте, не мѣшайте, посторонитесь; только застите; ничего не видно, — отвѣчала отрывисто экономка, заботливо поправляя и отряхивая платье Настеньки.

Въ освѣщенную залу генеральши, гдѣ ужь было нѣсколько человѣкъ гостей, Петръ Михайлычъ во-

шелъ, ведя дочь подъ руку. Грустно, отраднo и отчасти смѣшно было видѣть его въ эти минуты: онъ шелъ гордо, съ явнымъ сознаниемъ, что его Настенька будетъ лучше всѣхъ. По самодовольному и спокойному выраженію лица его можно было судить, какъ далеко онъ былъ отъ мысли, что съ перваго же шагу маленькая, худощавая Настенька была совершенно уничтожена представительною наружностью старшей дочери князя Ивана, дѣвушки лѣтъ восемнадцати и обаятельной красоты, и что, наконецъ, тутъ же сидѣвшая въ залѣ ядовитая исправница сказала своему смиренному супругу, грустно помѣшавшемуся около нея:

— Поздравляю, нынче ужъ тараканы въ клюковномъ морсу стали появляться на модныхъ вечерахъ.

Въ гостиной Петръ Михайлычъ подошелъ къ хозяйкѣ, которая сидѣла въ полулежачемъ положеніи на угловомъ диванѣ.

— Позвольте, ваше превосходительство, представить вамъ дочь мою, — сказалъ онъ расшаркиваясь.

— Charmée, — сказала генеральша, закатывая глаза и слегка кивнувъ головой.

Настенька сѣла на довольно отдаленное кресло. Генеральша лѣниво повернула къ ней голову и нѣсколько минутъ смотрѣла на нее своими мутными, сѣрыми глазами. Настенька думала, что она хочетъ что-нибудь ее спросить, но генеральша ни слова не сказала и, поворотивъ голову въ другую сторону, гдѣ на вытяжкѣ сидѣла задитая въ брилліантахъ откупщица, — проговорила:

— Какъ мнѣ вашъ браслетъ нравится! — *Com-bien l'aves vous payé?*

— Не знаю, ваше превосходительство; это подарокъ мужа, — отвѣчала та, покраснѣвъ отъ удовольствія, что обратили на нее вниманіе.

Вошла m-lle Полина, только-что еще кончившая свой туалетъ; она прямо подошла къ матери, взяла у ней руку и поцѣловала.

— *Qui est cette jeune personne?* — спросила она, взглянувъ прищурившись на Настеньку.

Мать ничего не отвѣчала, а только закрыла глаза и улыбнулась.

Настенька была умна и самолюбива: она все это замѣтила, все очень хорошо поняла — и вспыхнула. Начались танцы. Танцующихъ мужчинъ было немного, и всѣ они танцевали то съ хозяйской дочерью, то съ другими знакомыми дѣвицами. Настеньку никто не ангажировалъ; и это еще ничего — ей угрожала большая неприятность: въ числѣ гостей былъ нѣкто столоначальникъ Медіокритскій, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ исправницы, которая отрекомендовала его генеральшѣ писать бумаги и хлопотать по ея процессу, и потому хозяйка, скрѣпивъ сердце, пускала его на свои вечера, и онъ обыкновенно занимался только тѣмъ, что натягивалъ замшевыя перчатки и обдергивалъ жилетъ. Но въ этотъ вечеръ Медіокритскій, видя, что Годнева все сидитъ и ни съ кѣмъ не танцуетъ, вообразилъ, что это именно ему приличная дама, и, вознамѣрившись съ нею протанцевать, подошелъ къ Настенькѣ, расшаркался и пригласилъ ее на кадрили. Она, конечно, поняла, что одно ужъ приглашеніе подобнаго кавалера было но-

вымъ для нея униженіемъ, но не подала вида и пошла. Съ перваго же шагу оказалось, что Медіокритскій и не думалъ никого приглашать быть своимъ визави; это, впрочемъ, сейчасъ замѣтила и поправила m-lle Полина: она сейчасъ же перешла и стала этимъ визави съ своимъ кавалеромъ, отпускнымъ гусаромъ, сказавъ ему что-то вполголоса. Тотъ пожалъ только плечами и проговорилъ: «о, mon Dieu, mon Dieu!» Далѣе потомъ, молодой столоначальникъ, изучившій французскую кадрили самоучкой и болѣе наглядкой, несомнѣнно твердо зналъ ее и безпрестанно мѣшался, а въ пятой фигурѣ, какъ болѣе трудной, совершенно спутался. Съ дамой своей онъ не говорилъ ни слова и только по временамъ ласково и съ улыбкою на нее взглядывалъ. Когда же кончилась кадрили, онъ вдругъ сказалъ: *на слѣдующую*. У Настеньки потемнѣло въ глазахъ; она готова была расплакаться, но переломила себя и дала слово. Когда они опять стали, по многимъ лицамъ пробѣжала насмѣшливая улыбка. Медіокритскій держалъ себя попрежнему: въ продолженіе всей кадрили онъ молчалъ, а при окончаніи проговорилъ снова: *на слѣдующую*. По незнанію бальныхъ обычаевъ, ему и въ голову не приходило, что танцовать съ одной дамой цѣлый вечеръ не принято въ обществѣ.

Настенька не могла болѣе владѣть собой: ссылаясь на головную боль, она быстро отошла отъ навязчиваго кавалера, подошла къ отцу, который, съ довольнымъ и простодушнымъ видомъ, сидѣлъ около карточного стола; но, взглянувъ на нее, онъ даже испугался — такъ она была блѣдна.

— Что такое съ тобой, душа моя? — спросилъ онъ съ безпокойствомъ.

— Поѣдемте домой: мнѣ дурно, — отвѣчала Настенька.

— Поѣдемъ, поѣдемъ. Ахъ, какая ты слабая! — говорилъ старикъ вставая. — Извините, ваше превосходительство, — проговорилъ онъ, проходя гостиную: — захворала вонъ у меня.

Пріѣхавъ домой, Настенька свой бальный нарядъ не сняла, а сбросила и кинулась на постель. На другой день проснулась она съ распухшими отъ слезъ глазами и дала себѣ слово не ѣздить больше никуда. Чтеніе сдѣлалось единственнымъ ея развлеченіемъ. Она читала все, что только ей попадалось подъ руку. Русскихъ книгъ стало, наконецъ, не доставать. Настенька объявила отцу, что хочетъ учиться французскому языку. Старикъ, хорошо знавшій этотъ языкъ, но дурно произносившій, взялся учить ее. Настенька занималась день и ночь, и въ полгода почти свободно читала. Все это, конечно, очень образовало и развило ее въ умственномъ отношеніи, но вмѣстѣ съ тѣмъ сильно раздражило ея воображеніе. Она начала жить въ какомъ-то особенномъ мірочкѣ, наполненномъ Гомерами, Орасами, Онѣгиными, героями французской революціи. Любовь женщины она представляла себѣ не иначе, какъ чувствомъ, въ основаніи котораго должно было лежать самоотверженіе, жизнь въ обществѣ — мученіемъ, общественный судъ — вздоромъ, на который не стоитъ обращать вниманія. Окружавшая ее среда сдѣлалась для нея невыносимою. Добродушный и всегда довольный Петръ Михайлычъ сталъ ее возмущать, особенно когда кого-ни-

будь хвасталъ изъ городскихъ, или рассказывалъ какія-нибудь пропшества, случавшіяся въ городѣ, и даже когда онъ съ удовольствіемъ объдалъ, словомъ—она начала дѣлаться для себя, для отца и для прочихъ домашнихъ какой-то маленькой тиранкой, и съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе обнаруживать странностей. Вдругъ, напримѣръ, захотѣла ѣздить верхомъ, непременно заставила купить себѣ сѣдло и, не смотря на то, что лошадь была не пріѣзжена и сама она никогда не ѣздила, поѣхала или, лучше сказать, поскакала въ галопъ, такъ что Петръ Михайлычъ чуть не умеръ отъ страху. Однако она возвратилась благополучно, хотя была блѣдна и вся дрожала. Въ другой разъ вздумала идти за тридцать верстъ на богомолье пѣшкомъ—сходила и двѣ недѣли послѣ того была больна.

Всѣ эти капризы и странности Петръ Михайлычъ, все еще видѣвшій въ дочери полуробенка, объяснялъ разстройствомъ нервовъ и твердо былъ увѣренъ, что на слѣдующее же лѣто все пройдетъ отъ купанья, а вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣнно восхищался, замѣчая, что Настенька съ каждымъ днемъ обогащается свѣдѣніями или, какъ онъ выражался, расширяетъ свой умственный кругозоръ.

— Экая ты у меня свѣтлая головка! Еслибъ ты была мальчикъ, изъ тебя бы вышелъ поэтъ, непременно поэтъ, — говорилъ старикъ.

Дочь слушала и краснѣла, потому что она была уже поэтъ и почти каждый день потихоньку отъ всѣхъ писала стихи.

Такъ время шло. Настенькѣ было ужъ за двадцать; жениховъ у нея не было, кромѣ одного, впрочемъ, слу-

чая. Отвратительный Медіокритскій, послѣ бала у генеральши, вдругъ началъ каждое воскресенье являться по вечерамъ съ гитарой къ Петру Михайлычу и, посидѣвъ немного, всякій разъ просилъ позволенія что-нибудь спѣть и сыграть. Старикъ, по своей снисходительности, принималъ его и слушалъ. Медіокритскій всегда почти начиналъ, устремивъ на Настеньку нѣжный взоръ:

Я плыву, и наплыву
Черезъ мглу — на скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.

Все это разрѣшилось тѣмъ, что въ одно утро пріѣхала совершенно неожиданно къ Петру Михайлычу исправница и прямо сдѣлала отъ своего любимца предложеніе Настенькѣ. Петръ Михайлычъ усмѣхнулся.

— Благодаримъ васъ покорно, Марья Ивановна, за ваше безпокойство, а Медіокритскаго за честь, — сказалъ онъ: — только дочь моя еще молода.

У исправницы начало подергивать губу; она вообще очень не любила противорѣчія, а въ этомъ случаѣ даже и не ожидала.

— Это, Петръ Михайлычъ, обыкновенно говорятъ какъ одинъ пустой предлогъ! — возразила она: — я не знаю, а по моему этотъ молодой человекъ очень хорошій женихъ для Настасьи Петровны. Если онъ бѣденъ, такъ бѣдность не порокъ.

Петру Михайлычу стало уже немного досадно.

— Бѣдность точно не порокъ, — возразилъ онъ, въ свою очередь: — и мы не можемъ принять предложенія г. Медіокритскаго не потому, что онъ бѣденъ, а по-

тому, что онъ человѣкъ совершенно-необразованный и, какъ я слышала, съ довольно-дурными нравственными наклонностями.

— Здѣсь, кажется, у всѣхъ одно образованіе, что у жениховъ, что у невѣстъ! — проговорила исправница съ насмѣшкою.

Настенька, бывшая свидѣтельницей этой сцены, не вытерпѣла.

— У васъ, Марья Ивановна, у самихъ дочь невѣста, — сказала она: — если вамъ такъ нравится Медіокритскій, такъ вамъ лучше выдать за него вашу дочь.

— Нѣтъ-съ, онъ не можетъ быть женихомъ моей дочери, — произнесла съ удареніемъ исправница.

— Почему же вы думаете, что онъ можетъ быть моимъ женихомъ? — спросила гордо и вся вспыхнувъ Настенька.

— Ахъ, Боже мой! — воскликнула исправница: — я ничего не думала, а исполнила только безотступную просьбу молодаго человѣка: стало быть, онъ имѣлъ какое нибудь право, и ему была подана какая-нибудь надежда — я этого не знаю!

Настенька вышла изъ себя; на глазахъ ея навернулись слезы.

— Подавалъ ему надежду, вѣроятно, вы, а не я, и я васъ прошу не беспокоиться о моей судьбѣ и избавить меня отъ вашихъ сватаній за кого бы то ни было, — проговорила она взволнованнымъ голосомъ и проворно ушла.

Исправница насмѣшливо посмотрѣла ей въ слѣдъ.

— И вашъ отвѣтъ, Петръ Михайлычъ, будетъ тотъ же? — спросила она.

— Совершенно тотъ же, Марья Ивановна, — отвѣчала Петръ Михайлычъ: — и мнѣ только очень жаль, что вы изволили принять на себя это обидное для насъ порученіе.

— А я, конечно, еще болѣе сожалѣю объ этомъ, потому-что, точно, надобно быть очень осторожной въ этихъ случаяхъ и хорошо знать, съ какими людьми будешь имѣть дѣло, — проговорила исправница, порывисто завязывая ленты своей шляпы и надѣвая подкрашенное боа, и тотчасъ же уѣхала. Петръ Михайлычъ проводилъ ее до лакейской и возвратился къ дочери, которая сидѣла и плакала.

— Это что, Настенька, плакать изволишь?... что это?... какъ тебѣ не стыдно! — что за малодушіе!

— Это, папенька, ужасно! — Она скоро пріѣдетъ лакея своего сватать за меня. Ее бы выгнать надобно!

— Ну, ну, перестань! Какая вспыльчивая! Всякимъ вздоромъ огорчаешься. Давай-ка лучше читать! — говорилъ старикъ.

Но Настенька и читать не могла.

Случай этотъ окончательно разъединилъ ее съ маленькимъ уѣзднымъ міркомъ: никуда не выѣзжая и встрѣчаясь только съ знакомыми въ церкви или на городскомъ валу, гдѣ гуляла иногда въ лѣтніе вечера съ отцомъ, или, наконецъ, у себя въ домѣ, она никогда не позволяла себѣ поклониться первой, и даже на вопросы, которые ей дѣлали, отмалчивалась или отвѣчала односложно и какъ-то неприязненно.

III.

Недѣли черезъ три послѣ состоянія приказа, вечеромъ, Петръ Михайлычъ, къ большому удовольствію капитана, читалъ исторію двѣнадцатаго года Данилевскаго, а Настенька сидѣла у окна и задумчиво глядѣла на поляну, облитую блѣднымъ луннымъ свѣтомъ. Въ прихожую пришелъ Гаврилычъ и началъ что-то бунчать съ сидѣвшей тутъ горничной.

— Что ты, гренадеръ, за чѣмъ пришелъ?—крикнулъ Петръ Михайловичъ.

— Къ вама-тка, — отвѣчалъ Терка, выставивъ свою рябую рожу въ полурастворенную дверь: — смотритель новый пріѣхалъ, ачителей завтра къ себѣ въ сборъ на фатеру требуетъ въ девятомъ часу, чтобъ безпримѣнно въ мундерахъ были.

— Эге, вотъ какъ! Малый, должно быть, распорядительный! — Это ужъ, капитанъ, хоть бы по вашему, по-военному; такъ ли — а? — произнесъ Петръ Михайлычъ, обращаясь къ брату.

— Да-съ, точно, — отвѣчалъ тотъ глубокомысленно.

— Гдѣ же господи́нь новый · смотритель остано-
вился? — продолжалъ Петръ Михайлычъ.

— На постояломъ, у Аеоньки-безпалаго, — отвѣчалъ съ какой-то досадой Терка.

— Да ты самъ у него былъ?

— Нѣту, не былъ; миѣ по-што! Хозяйка Аеоньки, слышь, прибѣгала, чтобъ завтра въ девятомъ часу въ мундерахъ бизпримѣнно — вотъ что!

— Такъ поди обвѣсти!

— Сегодня, нѣту, не пойду: не достучишься...
поздно; завтра обвѣщу.

— И то, пожалуй; только, смотри, пораньше; и скажи господамъ учителямъ, чтобъ одѣлись почище въ мундиры и ко мнѣ зашли бы: вмѣстѣ пойдёмъ. Да ужь и самъ побрѣйся, сапоги валеные тоженими, а главное — щи твои, — смотри ты у меня!

— Ну-ко, заладилъ щи да щи! только и рѣчей у тебя! — проговорилъ инвалидъ и, хлопнувъ сердито дверь, ушелъ.

Петръ Михайлычъ усмѣхнулся ему въ слѣдъ.

Впрочемъ, Гаврилычъ на этотъ разъ исполнилъ возложенное на него порученіе съ не совѣмъ свойственною ему расторопностью, и еще до-свѣта обошелъ учителей, которые, въ свою очередь, собрались къ Петру Михайлычу часу въ седьмомъ. Всѣ они были, болѣе или менѣе, подъ вліяніемъ нѣкотораго чувства страха и безпокойства. Комплектъ ихъ былъ, однако, неполный. Знакомый намъ учитель исторіи, Экзархатовъ. Учитель математики, Лебедевъ, мужчина вершковъ одиннадцати ростомъ, всегда почти нечесанный, рѣдко бритый и говорившій всегда сильно густымъ басомъ. Дикообразной его наружности какъ нельзя больше въ немъ соотвѣтствовала непреоборимая страсть къ звѣроловству. Онъ былъ, конечно, въ цѣлой губерніи первый стрѣлокъ и замѣчательнѣйшій охотникъ на медвѣдей, которыхъ собственными руками на своемъ вѣку уложилъ болѣе тридцати штукъ. Съ капитаномъ Лебедевъ находился, по случаю охоты, въ тѣснѣйшей дружбѣ. Третій учитель былъ преподаватель словесности, Румянцевъ. Въ противоположность Лебедеву, это былъ маленькій, худенькій молодой человекъ, весьма робкаго и, вслѣдствіе этого, склоннаго поподличать характера; вмѣстѣ съ тѣмъ

большой говорунъ и съ сильной замашкой пофрантить: вѣчно съ завитымъ а-ла-кокомъ и висками. Онъ было и въ настоящемъ случаѣ прилетѣлъ въ своемъ, по его мнѣнью, очень модномъ пальто и въ цвѣтномъ шарфѣ, завязанномъ огромнымъ бантомъ, но, по совѣту Петра Михайлыча, тотчасъ же проворно сбѣгаль домой и переодѣлся въ мундиръ.

Петръ Михайлычъ тоже одѣлся въ полную форму.

— Ну, вотъ мы и въ парадъ. Что-жь? народъ хоть куда!—говорилъ онъ, осматривая себя и другихъ. — Напрасно только вы, Владиміръ Антоновичъ, не постриглись: больно у васъ волосы торчатъ! — отнесся онъ къ учителю математики.

— Чортъ ихъ знаетъ, проклятые, неимовѣрно, шибко растутъ; понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться, въ шалашѣ за тетеревами просидѣлъ, постричься-то ужъ и не успѣлъ, — отвѣчалъ Лебедевъ, приглаживая голову.

— Да, да, вотъ такъ, хорошо, — ободрялъ его Петръ Михайлычъ и обратился къ Румянцеву.

— Ну, а ты, голубчикъ, Иванъ Петровичъ, что?

— Ничего-съ! маменька только наказывала: «ты, говоритъ, Ванюшка, не разговаривай много съ новымъ начальникомъ: какъ еще это, не знавъ тебя, ему понравится; неравно слово выпадетъ, послѣ и не воротитъ его», — простодушно объяснилъ преподаватель словесности.

— Конечно, конечно, — подтвердилъ Петръ Михайлычъ и потомъ, пропѣвъ полусушутливымъ тономъ: «Ударилъ часъ и намъ разстаться...» — продолжалъ нѣсколько-растроганнымъ голосомъ: — Всѣмъ вамъ, господа, душевно желаю, чтобъ начальникъ васъ полю-

билъ; а я, съ своей стороны, былъ очень вами доволенъ и отрекомендую васъ всѣхъ съ отличной стороны.

— Мы бы вѣкъ, Петръ Михайлычъ, желали служить съ вами, — проговорилъ Лебедевъ.

— Именно вѣкъ. Я вотъ и по недавнему моему служенію, а всѣмъ говорю, что, пріѣхавъ сюда, не имѣлъ ни съ извозчикомъ чѣмъ раздѣлаться, ни платья на себѣ приличнаго, и все вашими благодѣяніями сдѣлалось... — отрапортовалъ Румянцевъ, поднявъ глаза кверху.

Экзархатовъ ничего не проговорилъ, а только тяжело вздохнулъ.

Всѣ эти отзывы учителей видимо были очень пріятны старыку.

— Благодарю васъ, если вы такъ меня понимаете, — возразилъ онъ. — Впрочемъ, и я тоже иногда шумѣлъ и распевалъ; можетъ-быть, кого-нибудь и безъ вины обидѣлъ: не помяните лихомъ!

— Кромѣ добра, намъ васъ нечѣмъ поминать, — сказала Лебедевъ.

— Отъ васъ это были только родительскія наставленія, — подхватилъ Румянцевъ.

Петръ Михайлычъ совсѣмъ расчувствовался.

— Очень, очень вамъ благодаренъ, друзья мои, и повѣрьте, что теперь выразить не могу, а вполнѣ все чувствую. Дай Богъ, чтобъ и при новомъ начальникѣ вашемъ все шло складно да ладно.

Говоря это, онъ старался смигнуть наворачнувшіяся на глазахъ слезы.

Экзархатовъ, все ниже и ниже потуплявшій голову, вдругъ зарыдалъ на весь домъ и убѣжалъ въ уголъ.

— Полноте, полноте! Что это? Не стыдно ли вамъ? Добро мнѣ, старому человѣку, простиительно... Перестаньте, — сказалъ Петръ Михайлычъ, едва удерживаясь отъ рыданій. — Грядемъ лучше съ миромъ! — заключилъ онъ торжественно и пошелъ впереди своихъ подчиненныхъ.

На дворѣ у Аеоньки-безпалаго наши ученые мужи встрѣтили саму хозяйку, здоровеннѣйшую бабу въ ситцевомъ сарафанѣ. Она тащила, ухвативъ за уши, огромную доханку съ помоями, которую, однако, тотчасъ же оставила и повлонила, проговоря:

— Здравствуйте, сударики, здравствуйте.

— Нельзя ли, моя милая, доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представиться, — сказалъ ей Петръ Михайлычъ.

— Сейчасъ, сударики, сейчасъ пошлю паренька моего къ нему, а вы подьте пока въ горенку, обождите: онъ говорилъ, чтобъ въ горенкѣ обождать.

Петръ Михайлычъ и учителя вошли въ горенку, въ которой нашли дверь въ сосѣдную комнату очень плотно притворенною. Ожидали они около четверти часа; наконецъ дверь отворилась, Калиновичъ показался. Это былъ высокій молодой человѣкъ, очень худощавый, съ лицомъ умнымъ, изжелта-блѣднымъ. Онъ былъ тоже въ новомъ, съ иголочки, хоть и не изъ весьма-тонкаго сукна мундирѣ, въ пикѣ безукоризненной бѣлпзны жилетѣ, при шпагѣ и съ маленькой треугольной шляпой въ рукахъ.

Петръ Михайлычъ началъ:

— Рекомендую себя: предмѣстникъ вашъ, коллежскій ассесоръ Годневъ.

Калинычъ подалъ ему вонечъ руки.

— Позвольте мнѣ представить господъ учителей, — добавилъ старикъ.

Калиновичъ слегка нагнулъ голову.

— Господинъ Экзархатовъ, преподаватель исторіи, — продолжалъ Петръ Михайлычъ.

— Изъ какого заведенія? — спросилъ Калиновичъ.

— Съ словеснаго факультета московскаго университета, — отвѣчалъ своимъ печальнымъ голосомъ Экзархатовъ.

— Кончили курсъ?

— Со втораго курса.

— Превосходно знаютъ свой предметъ; профессорской кафедры по своимъ познаніямъ достойны, — вмѣшался Годневъ: — можетъ-быть, даже вы знакомы по университету? Судя по лѣтамъ, должно быть одного времени.

— Насъ тамъ много! — возразилъ Калиновичъ.

Экзархатовъ поднялъ на него немного глаза и снова потупился. Онъ очень-хорошо зналъ Калиновича по университету, потому что они были одного курса и два года сидѣли на одной лавкѣ: но тотъ, видно, нашелъ болѣе удобнымъ отказаться отъ знакомства съ старымъ товарищемъ.

— Господинъ Лебедевъ, учитель математики, — продолжалъ Годневъ.

— Изъ какого заведенія? — повторилъ опять Калиновичъ.

— Изъ вольнопрактикующихъ землемѣровъ, — отвѣчалъ лаконически Лебедевъ.

Калиновичъ обратилъ глаза на Румянцева, который, не дождавшись вопроса и приложивъ руки по швамъ, — проговорилъ безъ остановки:

— Воспитанникъ Московскаго Воспитательнаго Дома, выпущенъ первоначально въ качествѣ домашняго учителя музыки; но, такъ-какъ имѣю семейство, пожелалъ поступить въ коронную службу.

— Всѣ здѣшніе господа учителя отличаются познаніями, добронравственностью и усердіемъ... — вмѣшался Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ слегка улыбнулся; — у старика не свернулось это съ глазу.

— Я говорю такимъ манеромъ, — продолжалъ онъ: — не относя къ себѣ ничего; моя пѣсня пропѣта: я не искатель фортуны; и говорю собственно для нихъ, чтобъ вы ихъ снискали вашимъ покровительствомъ. Вы теперь человекъ новый: ваша рекомендація передъ начальствомъ будетъ для нихъ очень важна.

— Я почту для себя пріятнымъ долгомъ... — проговорилъ Калиновичъ и потомъ прибавилъ, обращаясь къ Петру Михайлычу: — не угодно-ли садиться? — а учителямъ поклонился тѣмъ поклономъ, которымъ обыкновенно начальники даютъ знать подчиненнымъ: «можете убираться»; но тѣ сначала не поняли и не тронулись съ мѣста.

— Я васъ, господа, не задерживаю, — проговорилъ Калиновичъ.

Экзархатовъ первый пошелъ, а за нимъ и прочіе. Румянцевъ, впрочемъ, пріостановился въ дверяхъ и отдалъ самый низкій поклонъ. Петръ Михайлычъ нахмурился: ему было очень непріятно, что его преемникъ не только не обласкалъ, но даже не посадилъ учителей. Онъ и самъ было хотѣлъ

уйти, но Калиновичъ повторилъ свою просьбу садиться и самъ даже пододвинулъ ему стулъ.

— Очень, очень все это хорошіе люди, — началъ опять усѣвшисъ старикъ.

Калиновичъ какъ-будто бы не слышалъ этого и, помолчавъ немного, спросилъ:

— А что, здѣсь хорошее общество?

— Хорошее-съ... Здѣсь чиновники отличные, живутъ между собою согласно; у насъ ни ссоръ, ни дразгъ нѣтъ; здѣшній городъ изстари славится дружелюбіемъ.

— И весело живутъ?

— Какъ же-съ! Съѣзжаются иногда другъ къ другу, веселятся.

— Не можете ли вы мнѣ назвать нѣкоторыхъ лицъ?

— Отчего-жь не могу! Только кого именно вамъ угодно?

— Городничій есть?

— Есть: Θεофилактъ Семеновичъ Кучеровъ, ветеранъ двѣнадцатаго года, старикъ предпочтенный.

— Семейный?

— Даже очень большое имѣетъ семейство.

— Потомъ?

— Потомъ-съ, пожалуй, исправникъ съ супругой; стряпчій, молодой человекъ, холостой еще, но скоро женится на этой, вотъ, городнической дочери.

— А почтмейстеръ?

— Какъ же-съ, и почтмейстеръ есть, но только нашъ братъ, старикъ ужъ, домосѣдъ большой.

— Это все чиновники; а помѣщики? — спросилъ Калиновичъ.

— Помѣщиковъ здѣсь постоянно живущихъ всего только одна генеральша Шевалова.

— Богатая?

— Съ состояніемъ: по слухамъ, милліонерка и, надобно сказать, настоящая генеральша: ее здѣсь такъ губернаторшей и зовутъ.

— Молодая еще женщина?

— Нѣтъ, старушка-съ, имѣетъ дочь на возрастѣ— дѣвицу.

— А скажите, пожалуйста, — сказалъ Калиновичъ, послѣ минутнаго молчанія: — здѣсь есть извозчики?

— Вы, вѣроятно, говорите про городскихъ извозчиковъ, такъ этакихъ совершенно нѣтъ, — отвѣчалъ Петръ Михайловичъ, — не для кого; а потому, въ силу правила политической экономіи, которое и вы, вѣроятно, знаете: нѣтъ потребителей, нѣтъ и производителей.

Калиновичъ призадумался.

— Это немного-досадно: я думалъ сегодня сдѣлать нѣсколько визитовъ, — проговорилъ онъ.

— А если думалъ, такъ о чемъ же вамъ и беспокоиться? — возразилъ Петръ Михайловичъ: — позвольте мнѣ, для перваго знакомства, предложить мою колесницу. Лошадь у меня прекрасная, дрожки тоже, хоть и не моднаго фасона, но хорошія. У меня здѣсь многіе помѣщики, пріѣзжая въ городъ, берутъ.

— Вы меня много обяжете; но мнѣ совѣстно...

— Что тутъ за совѣсть? Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

— Благодарю васъ.

— А я васъ благодарю, только тутъ, милости-

вый государь, у меня есть одно маленькое условіе: кто моего коня беретъ, тотъ долженъ у меня хлѣба-соли отгушать, обѣдать: это плата за провозъ.

— Самая пріятная плата, — отвѣчалъ съ улыбкою Калиновичъ: — только я боюсь, чтобъ мнѣ не задержать васъ.

— Располагайте вашимъ временемъ, какъ вамъ угодно, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ вставая. — До пріятнаго свиданья, — прибавилъ онъ расшаркиваясь.

Калиновичъ подалъ ему всю руку и вѣжливо проводилъ до самыхъ дверей.

Всю дорогу старикъ шелъ задумчивѣе обыкновеннаго и повременамъ восклицалъ:

— Эхъ-ма, молодежь, молодежь! Ума у васъ, можетъ-быть, и больше противъ насъ, стариковъ, да сердца мало! — прибавилъ онъ, входя на крыльцо, и тотчасъ, по обыкновенію, предувѣдомилъ о гостѣ къ обѣду Пелагею Евграфовну.

— Знаю ужъ, — проговорила она и побѣжала на погребъ.

Переодѣвшись и распорядившись, чтобъ ѣхала къ Калиновичу лошадь, Петръ Михайлычъ пошелъ въ гостиную къ дочери, поцѣловалъ ее, сѣлъ и опять задумался.

— Что, папенька, видѣли новаго зрителя? — спросила Настенька.

— Видѣлъ, милушка, имѣлъ счастье познакомиться, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ съ полуулыбкой.

— Молодой?

— Молодой!.. Франтъ!.. и человекъ, видно,

умный!.. только, кажется, горденекъ немного. Нашихъ молодцовъ точно губернаторъ принялъ: свысока... Нехорошо... на первый разъ ему не дѣлаетъ это чести.

— Что-жь такое, если это въ немъ сознание собственнаго достоинства? Учителя ваши точно добрые люди — но и только! — возразила Настенька.

— Какіе бы они ни были люди, — возразилъ, въ свою очередь, Петръ Михайлычъ: — а все-таки ему не слѣдовало поднимать носа. Гордость есть двухъ родовъ: одна благородная — это желаніе быть лучшимъ, желаніе совершенствоваться; такая гордость — принадлежность великихъ людей: она подкрѣпляетъ ихъ въ трудахъ, даетъ имъ силу побороть препятствія и достигать своей цѣли. А эта гордость — тѣфу! плевать я на нее хочу; зачѣмъ она? Это гордость глупая, смѣшная.

— Зачѣмъ-же вы звали его обѣдать, если онъ гордецъ? — спросила Настенька.

— А за тѣмъ, что хочу съ нимъ объ учителяхъ поговорить. Надобно ему внушить, чтобъ онъ понималъ ихъ настоящимъ манеромъ, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ, желая нѣсколько замаскировать въ себѣ простое чувство гостепріимства, вслѣдствіе котораго онъ всѣхъ и cadaго готовъ былъ къ себѣ позвать обѣдать, Богъ-знаетъ зачѣмъ и для чего.

— По-крайней-мѣрѣ я бы лошадь не послала: пускай бы пришелъ пѣшкомъ, — замѣтила Настенька.

— Перестань пустяки говорить! — перебилъ ужъ съ досадою Петръ Михайлычъ: что лошади сдѣ-

дается! не убудеть ея. Онъ хочетъ визиты дѣлать: не пѣшкомъ же ему по городу бѣгать.

— Визиты дѣлать! Вчера пріѣхалъ, а сегодня хочетъ визиты дѣлать! — воскликнула съ насмѣшкой Настенька.

— Что-же тутъ удивительнаго? Это хорошо.

— Передъ учителями важничаетъ, а передъ другими, не успѣлъ пріѣхать, бѣжить кланяться; онъ просто глупъ послѣ этого!

— Богъ тебѣ и разъ! Экая ты, Настенька, смѣлая на приговоры! Я не вижу тутъ ничего глупаго. Онъ будетъ жить въ городѣ и хочетъ познакомиться со всѣми.

— Стоитъ, если только онъ умный человѣкъ!

— Отчего-жь не стоитъ? Здѣсь люди все почтенные... Вотъ это въ тебѣ, душенька, очень нехорошо и мнѣ весьма не нравится, — говорилъ Петръ Михайлычъ, колотя пальцемъ по столу: — что это за нелюбовь такая къ людямъ! За что? Что они тебѣ сдѣлали?

— Въ моей любви, я думаю, никто не нуждается.

— Въ любви нуждается Богъ и собственное сердце человѣка. Безъ любви къ себѣ подобнымъ жить на свѣтѣ тяжело и грѣшно! — произнесъ внушительно старикъ.

Настенька отвѣчала ему полупрезрительной улыбкой.

На эту тему Петръ Михайлычъ часто и горячо спорилъ съ дочерью.

IV.

Въ двѣнадцать часовъ Калиновичъ, переодѣвшись изъ мундира въ черный фракъ, въ черный атласный шарфъ и черный бархатный жилетъ и надѣвъ сверхъ всего новое пальто, вышелъ, чтобъ отправиться дѣлать визиты; но, увидѣвъ присланный ему экипажъ, попятился назадъ: лошадь, о которой Петръ Михайлычъ такъ лестно отзывался, конечно, была, благодаря неусыпному вниманію Пелагеи Евграфовны, очень раскормленная; но огромная, жирная голова, отвислыя уши, толстыя, мохнатыя ноги ясно свидѣтельствовали о ея солидномъ возрастѣ, сырой комплекціи и вроткомъ нравѣ. Сбруя, купленная тоже собственными руками экономки, отличалась болѣе прочностью, чѣмъ изяществомъ. Дрожки на огромныхъ колесахъ, высочайшихъ рессорахъ и съ неуклюжими козлами, принадлежали къ разряду тѣхъ экипажей, которые называются адамовскими. И въ заключеніе всего, кучеромъ сидѣлъ уродливый Гаврилычъ, закутанный въ сѣрый решменскій, съ огромнаго мужика, армякъ, въ нахлобученной, сѣрой поярковой, круглой шляпѣ, изъ-подъ которой торчала только небольшая часть его морды и щетинистые усы. При появленіи Калиновича, Терка снялъ шляпу и поклонился.

— Ты вѣрно лакей? — спросилъ Калиновичъ.

— Салдаты, ваше благородіе, отставной салдаты, — отвѣчалъ Терка и опять поклонился.

— Зачѣмъ же ты стриженный, когда въ кучера нанимаешься?

— Пять, ваше благородіе, я не въ кучерахъ: я ачилище стерегу. Палагея Евграфовна меня послала—парень ихній хвораеть: «поди,—говорить, Гаврилычъ, съѣзди» — вотъ что, ваше благородіе,—отрапортоваль инвалидъ и въ третій разъ поклонился. Онъ видимо подличалъ передъ новымъ начальникомъ.

Молодой смогритель находился нѣкоторое время въ раздумьѣ: ѣхать-ли ему въ такомъ экипажѣ, или нѣтъ? Но дѣлать нечего,—другаго взять было негдѣ. Онъ сдѣлалъ насмѣшливую гримасу и съѣлъ, велѣвъ себя везти къ городничему, который жилъ въ присутственныхъ мѣстахъ.

Войдя въ первую комнату, Калиновичъ увидѣлъ чрезъ растворенную дверь даму, съ распущенными волосами, въ одной кофѣ и юпкѣ; при его появленіи, дама воскликнула:

— Что это, баюшки, что это все шлаются!.. И, какъ пава, поплыла въ дальнія комнаты.

Калиновичъ остался одинъ; — онъ началъ слегка стучать ногами. Явилась толстая горничная дѣвка въ домотканомъ платьѣ и босикомъ.

— Пошто вы? — спросила она.

— Принимаютъ? — сказалъ Калиновичъ.

Дѣвка выпучила на него глаза.

— Ольгунька!.. пострѣдь!.. съ кѣмъ ты тугъ болтаешь? — слышался голосъ городничаго.

Дѣвка ушла къ барину.

— Пришелъ какой-то, не знаю, — отвѣчала она.

— Да кто такой?

— Не видывала, баринъ, не знаю.

— Поди, скажи, коли что нужно, въ полицію бы пришелъ; а теперь некогда,—рѣшилъ городничій.

— Подьте, теперь некогда, уже въ полицію велѣтъ придти, — повторила дѣвка возвратившись.

Калиновичъ усмѣхнулся.

— Потрудись отдать карточку, — сказалъ онъ, подавая два билетика съ загнутыми углами.

— Барину, что-ли? — спросила дѣвка.

— Барину, — отвѣчалъ Калиновичъ и ушелъ.

«Это звѣри, а не люди!» — проговорилъ онъ, сядя на дрожки, и рѣшивъ было не знакомиться ни съ кѣмъ болѣе изъ чиновниковъ; но, разсудивъ, что для параднаго визита къ генеральшѣ было еще довольно рано, и увидѣвъ на ближайшемъ домѣ почтовую вывѣску, велѣлъ подвезти себя къ выходившему на улицу крылечку. Почтмейстеръ, видно, жилъ крѣпко: дверь у него одного въ цѣломъ городѣ была заперта, и придѣланъ былъ къ ней колокольчикъ. Калиновичъ, покрайней-мѣрѣ, разъ пять позвонилъ; наконецъ, на дѣстниці слышались медленные шаги, задвижка щелкнула, и въ дверяхъ показался высокій, худой старикъ, съ испытымъ лицомъ, въ бѣломъ вязаномъ колпакѣ, въ круглыхъ очкахъ и въ длинномъ, сильно-поношенномъ сѣромъ сюртукѣ.

— У себя господинъ почтмейстеръ? — спросилъ Калиновичъ.

— Я самый, сударь, почтмейстеръ. Чѣмъ могу служить? — отвѣчалъ старикъ протяжнымъ, ровнымъ и сиповатымъ голосомъ.

Калиновичъ объяснилъ, что пріѣхалъ съ визитомъ.

— А!.. очень вамъ, сударь, благодаренъ. Милости прошу, — сказалъ почтмейстеръ и повелъ своего

гостя черезъ длинную и холодную залу, на стѣнахъ которой висѣли огромныя масляной работы картины, до того тускляя и мрачныя, что на первый взглядъ невозможно было опредѣлить ихъ содержанія. На всѣхъ почти окнахъ стоялъ густо-разросшійся герань, отъ котораго распространялся сильный, удушливый запахъ. Въ слѣдующей комнатѣ, куда привелъ хозяинъ гостя своего, тоже висѣло нѣсколько картинъ такого же колорита; во весь почти передній уголъ стояла кивота съ образами; на дубовомъ, некрашенномъ столѣ лежала раскрытая и повернутая корешкомъ вверхъ книга, въ пергаментномъ переплетѣ; передъ столомъ у стѣны висѣло очень хорошей работы косяное распятіе; стулья были некрашенные, дубовые, высокіе, съ жесткими кожаными подушками. Посадивъ Калиновича, почтмейстеръ уставилъ на него сквозь очки глаза и молчалъ. Калиновичъ тоже не заговаривалъ.

— Вы изволили, стало быть, поступить на мѣсто господина Годнева? — спросилъ наконецъ хозяинъ.

— Да-съ, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Тагъ, сударь, такъ; мѣсто ваше хорошее: предмѣстникъ вашъ велъ жизнь роскошную и состоянье еще пріобрѣлъ... Хорошее мѣсто!.. — заключилъ онъ протяжно.

Калиновичъ сдѣлалъ гримасу.

— А напередъ сего какую службу имѣли? — спросилъ помолчавъ хозяинъ.

— Я всего два года вышелъ изъ московскаго университета и не служилъ еще.

— Изъ московскаго университета изволили выдти? Знаю, сударь, знаю: заведеніе ученое; тамъ многіе

ученые мужи получили свое воспитаніе. О Господи помилуй, Господи помилуй! — проговорилъ почтмейстеръ, поднявъ глаза кверху.

Нѣкоторое время опять продолжалось молчаніе.

— А изъ Москвы давно-ли изволили отбыть? — снова заговорилъ онъ.

— Я прямо оттуда пріѣхалъ.

— Табъ, сударь, такъ; это выходитъ очень недавнее время. Желательно бы мнѣ знать, какія идутъ тамъ сужденія, такъ какъ пишутъ, что на горизонтѣ будетъ проходить комета.

— Что-жь? это очень обыкновенное явленіе; путь ея исчисленъ заранѣе.

— Знаю, сударь, знаю; великіе наши астрономы ясно читаютъ звѣздную книгу и аки бы пророчествуютъ. О Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! — сказалъ опять старикъ, приподнявъ глаза кверху, и продолжалъ какъ-бы самъ съ собою: — знаменія небесныя всегда предшествуютъ великимъ событіямъ; только сколь ни быстръ разумъ человѣка, но не можетъ проникнуть этой тайны, хотя уже и многія другія мы имѣемъ указанія.

— Какія же указанія и на что именно? — спросилъ Калиновичъ, котораго хозяинъ началъ интересоваться.

— Многія имѣемъ указанія, — повторилъ тотъ, уклоняясь отъ прямого отвѣта: — оттапываются поглощенные землей города, аки бы свидѣтели тлѣнности земной. Читалъ я, сударь въ нынѣшнемъ году, въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что англійскіе миссіонеры проникли ужь въ эіопскія степи..

— Можетъ быть, — сказалъ Калиновичъ.

— Да, сударь, проникли, — повторилъ почтмейстеръ. — Сказывалъ мнѣ одинъ достойный вѣроятія человекъ, что въ Америкѣ родился уродливый ребенокъ. О Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Многое, сударь, намъ свидѣтельствуеть, очень многое, а паче всего уменьшеніе любви! — продолжалъ онъ.

Калиновичъ сталъ смотрѣть на старика еще съ бѣльшимъ любопытствомъ.

— Вы много читаете? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, сударь, немного; мало нынче книгъ хорошихъ попадается, да и здоровьемъ очень слабъ: седьмой годъ страдаю водяною въ груди. Горе меня, сударь, убило: родной сынъ подалъ на меня прошеніе, аки-бы я утаилъ и похитилъ состояніе его матери. О Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! — заключилъ почтмейстеръ и глубоко задумался.

Калиновичъ всталъ и началъ раскланываться.

— Прощайте, сударь, — проговорилъ хозяинъ, тоже вставая: — очень вамъ благодаренъ. Предмѣстникъ вашъ снабжалъ меня книжками серьезнаго содержанія: не оставьте и вы, — продолжалъ онъ кланяясь. — Тамъ заведено платить по десяти рублей въ годъ; состояніе я на это не имѣю, а ужь если будетъ благосклонность ваша обязать меня, убогаго человека, безвозмездно...

Калиновичъ изъявилъ полную готовность и пошелъ.

— Прощайте, сударь, прощайте; очень вамъ благодаренъ, — говорилъ старикъ, провожая его и захлопывая дверь, которую тотчасъ же и заперъ задвижкой.

Квартира генеральши, какъ я уже замѣтилъ, была первая въ городѣ. Кругомъ всего дома былъ сдѣланъ изъ дикаго камня троттуаръ, который въ продолженіе всей зимы расчищался отъ снѣга и засыпался пескомъ въ тѣхъ видахъ, что, за неимѣніемъ въ городѣ приличнаго мѣста для зимнихъ прогулокъ, генеральша съ дочерью гуляла на немъ между двумя и четырьмя часами. На окнахъ висѣли огромныя полосатыя маркизы. Внутреннее убранство соответствовало наружному. Изъ большихъ сѣней шла широкая, выкрашенная подъ дубъ лѣстница, устланная ковромъ и уставленная по бокамъ цвѣтами. При входѣ Калиновича, лакей, глуповатый изъ лица, но въ ливреѣ съ галунами, вытянулся въ дежурную позу и на вопросъ: «принимаютъ?» бойко отрѣзалъ: «пожалуйте-съ» и побѣжалъ вверхъ съ докладомъ. Калиновичъ между тѣмъ пріостановился передъ зеркаломъ, поправилъ волосы, воротнички, застегнулъ на лишнюю пуговицу фракъ и пошелъ.

Генеральша сидѣла, по обыкновенію, на наугольномъ диванѣ, въ полулежачемъ положеніи.

Мамзель Полина сидѣла невдалекѣ и рисовала карандашомъ дѣтскую головку. Калиновичъ представился на французскомъ языкѣ. Генеральша довольно пристально осмотрѣла его своими мутными глазами и, повидимому, осталась довольна его наружностью, потому что съ любезною улыбкою спросила:

— Вы помѣщикъ здѣшній?

— Нѣтъ-съ, — отвѣчалъ Калиновичъ, взглянувъ вскользь на Полину, которая поразила его своимъ болѣзненнымъ лицомъ и странностью своей фигуры.

— Вѣрно по какимъ-нибудь дѣламъ сюда пріѣхали?— продолжала генеральша. Она сочла Калиновича за пріѣхавшаго изъ Петербурга чиновника, котораго ждали въ то время въ городѣ.

— Нѣтъ, я здѣсь буду служить, — отвѣчалъ тотъ.

— Служить! — сказала генеральша тономъ удивленія. — Какую же вы здѣсь службу имѣете?— прибавила она.

— Я опредѣленъ смотрителемъ уѣзднаго училища.

Мать и дочь переглянулись.

— Что жь это за служба?— сказала первая.

— Это, вѣрно, на мѣсто этого старичка...— замѣтила Полина.

— Да-съ, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Мать и дочь опять переглянулись. Генеральша потупилась.

Полина совсѣмъ почти прищурила глаза и начала рисовать. Калиновичъ догадался, что объявленіемъ своей службы онъ уронилъ себя въ мнѣніи своихъ новыхъ знакомыхъ и, понявъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, рѣшился поправить это.

— Миѣ еще въ первый разъ приходится жить въ уѣздномъ городѣ, и я совсѣмъ не знаю провинціальной жизни, — сказалъ онъ.

— Скучно здѣсь, — проговорила генеральша какъ бы нехотя.

— Общество здѣсь, кажется, немногочисленно?

— Кажется.

— Оно состоитъ только изъ однихъ чиновниковъ?

— Право, не знаю.

— Но ваше превосходительство изволите постоянно жить здѣсь?— замѣтилъ Калиновичъ.

— Я живу здѣсь по мовѣмъ дѣламъ и по моей болѣзни, чтобъ имѣть доктора подъ руками. Здѣсь, въ увѣдѣ, мое имѣніе, много родныхъ, хорошихъ знакомыхъ, съ которыми я и выдаюсь,—проговорила генеральша и вдругъ остановилась, какъ-бы въ испугъ, что не мною-ли лишнихъ словъ произнесла и не утратила-ли тѣмъ своего достоинства.

— Я съ большимъ сожалѣніемъ оставилъ Москву,—заговорилъ опять Калиновичъ. — Нынѣшній годъ, какъ нарочно, въ ней было такъ много хорошаго. Не говоря уже о живыхъ картинахъ, которыя прекрасно выполняются, было много замѣчательныхъ концертовъ, былъ, наконецъ, Рубини.

— Онъ тамъ очень недолго былъ, два или три концерта далъ,—замѣтила Полина.

— И какіе же это концерты? обрывки какіе-нибудь!.. Москву всегда потчуютъ остаточками... Мы его слышали въ Петербургъ въ полной оперѣ,—сказала генеральша.

— Онъ пѣлъ лучшія свои аріи, и Москва была въ восторгѣ,—возразилъ Калиновичъ.

— Что жъ Москва? Москва всегда и всѣмъ готова восхищаться.

— Точно такъ же, какъ и Петербургъ. Москва еще, мнѣ кажется, разумнѣе въ этомъ случаѣ.

— Какъ можно сравнить: Петербургъ и Москва!.. Петербургъ — чудо какъ хорошъ, а Москвы... я рѣшительно не люблю; мы тамъ жили нѣсколько зимъ и ужасно скучали.

— Это личное мнѣніе вашего превосходительства, противъ котораго я и не смѣю спорить, — сказала Калиновичъ.

— Нѣтъ, это не мое личное мнѣніе, — возразила спокойнымъ голосомъ генеральша: — покойный мужъ мой былъ въ столицахъ всей Европы и всегда говорилъ — ты, я думаю, Полина, помнишь — что лучше Петербурга онъ не видалъ.

— А вы сами жили въ Петербургѣ? — отнеслась Полина къ Калиновичу.

— Я даже не бывалъ тамъ, — отвѣчалъ тотъ.

Мать и дочь усмѣхнулись.

— Какъ же вы его знаете, когда не бывали? Я этого не понимаю, — замѣтила Полина.

— И я тоже, — подтвердила мать.

Калиновичъ ничего на это не возражалъ.

Генеральша и дочь постоянно высказывали большую симпатію къ Петербургу и нелюбовь къ Москвѣ. Все тутъ дѣло заключалось въ томъ, что имъ дѣйствительно ужасно нравились въ Петербургѣ модные магазины, торцевая мостовая, прекрасные тротуары и газовое освѣщеніе, чего, какъ извѣстно, нѣтъ въ Москвѣ; но, кромѣ того, живя въ ней двѣ зимы, генеральша, съ извѣстною цѣлью, давала нѣсколько баловъ, ѣздила почти каждый разъ съ дочерью въ собраніе, причемъ рядила ее до невозможности; но ни туалетъ, ни таланты мамзель Полины не произвели ожидаемаго впечатлѣнія: къ ней даже никто не присватался.

Въ остальную часть визита мать и дочь заговорили между собой о какой-то кузинѣ, отъ которой слѣдовало получить письмо, но письма не было. Ка-

днювчѣ никакимъ образомъ не могъ пристать къ этому семейному разговору и уѣхалъ.

— Кто это такой? — сказала генеральша.

— Смотритель, мамаша! — отвѣчала Полина.

— Какая дерзость: вдругъ является, знакомится... Очень мнѣ нужно!

— Онъ недурно произноситъ по-французски, — замѣтила дочь.

— Кто жъ нынче не говоритъ по-французски? По этому нельзя судить, кто онъ и что онъ за человекъ. Онъ бы долженъ былъ попросить кого-нибудь представить себя; по крайней мѣрѣ я знала бы, кто его рекомендуетъ. А все наши люди!.. Когда я ихъ причу къ порядку! — проговорила генеральша и дернула за сонетку.

Вошелъ худощавый дворецкій.

— Кто сегодня дежурный? — спросила госпожа.

— Семень, ваше превосходительство, — отвѣчалъ тотъ.

— Позови ко мнѣ Семена.

Семень явился.

— Ты, Семенушка, всегда въ своемъ дежурствѣ надълаешь глупостей. Если ты такъ несообразителенъ, то старайся больше думать. Принимаешь всѣхъ, кто только явится. Сегодня пустилъ, Богъ знаетъ, какого-то господина, совершенно незнакомаго.

— Вашему превосходительству... — заговорилъ было лакей.

— Пожалуйста, не оправдывайся. У меня очень много твоихъ вѣнъ записано, и ты принудишь меня принять противъ тебя рѣшительныя мѣры. Ступай и будь уминый. <http://rcin.org.pl>

При словахъ «рѣшительныя мѣры», лакей весь вспыхнулъ.

Генеральша при всѣхъ своихъ личныхъ объясненіяхъ съ людьми, говорила всегда тихо и ласково; но когда произносила фразу: *рѣшительныя мѣры*, то рѣдко не приводила ихъ въ исполненіе.

V.

Пелагея Евграфовна что-то болѣе обыкновеннаго хлопотала для пріема новаго гостя и, кажется, была намѣрена показать свое хозяйство во всемъ его блескѣ. Она вынула лучшее столовое бѣлье, вымытое, конечно, бѣлье снѣга и выкатанное такъ, хотъ сейчасъ вези на выставку; вынула, наконецъ, граненый хрусталь, принесенный еще въ приданое покойною женою Петра Михайлыча, но хрусталь еще очень хорошій, который употреблялся только два раза въ годъ: въ именины Петра Михайлыча и Настенькины, который во все остальное время экономка хранила въ своей собственной комнатѣ, въ особомъ шкафу, и пальцемъ никому не позволяла до него дотронуться. Обѣдъ тоже, повидимому, приготовлялся несовсѣмъ заурядный. Приготовленные большая вилка и лопаточка изъ кленоваго дерева заставляли сильно подозрѣвать, что врядъ-ли не готовилась разварная стерлядь. Настенькѣ Пелагея Евграфовна страшно надоѣла, приступая къ ней цѣлое утро, чтобъ она надѣла, вмѣсто своего всѣдневнаго холстинковаго платья, черное шелковое; и какъ та ни сердилась, экономка поставила на своемъ. Во всемъ этомъ старая дѣвпца имѣла довольно отдаленную цѣль: Петръ Ми-

хайлычъ, когда вышло его увольненіе, проговорилъ съ ней: «Вотъ на мое мѣсто опредѣленъ молодой смотритель: Богъ дастъ, пріѣдетъ да на Настеньку и женится».

— Охъ, какъ бы это хорошо! какъ бы это было хорошо!— отвѣчала экономка.

Она питала сильное желаніе выдать Настеньку поскорѣй замужъ, и тѣмъ болѣе за смотрителя, потому что, судя по Петру Михайлычу, она твердо была убѣждена, что если ужъ смотритель, такъ непременно долженъ быть хорошей человѣкъ.

Въ два часа капитанъ состоялъ на-лицо и сидѣлъ, какъ водится, молча въ гостиной; Настенька перелистывала «Огчественныя Записки»; Петръ Михайлычъ ходилъ взадъ и впередъ по залъ, посматривая съ удовольствіемъ на богато-убранный столъ и взглядывая повременамъ въ окно.

— Что жъ, папенька, вашъ смотритель не ѣдетъ? Скучно его ждагъ! — сказала Настенька.

— Погоди, душенька, подѣдетъ; засидѣлся вѣрно гдѣ-нибудь,— отвѣчалъ Петръ Михайлычъ.— Ъдетъ! — проговорилъ онъ наконецъ.

Настенька, по невольному любопытству, взглянула въ окно; капитанъ тоже привсталъ и посмотрѣлъ. Терка, желая на остаткахъ потѣшить своего начальника, нахлесталъ лошадь, которая, не привыкнувъ бѣгать рысью, заскакала уродливымъ галопомъ; дрожки забренчали, засвистѣли, и все это такъ расходилось, что возница едва справилъ и попалъ въ ворота. Калиновичъ, все еще подъ вліяніемъ неприятнаго впечатлѣнія, которое вынесъ изъ дома гене-

ральши, принявшей его, какъ вѣдлы, свысока, вошелъ нахмуренный.

— Милости просимъ, милости просимъ, Яковъ Васильевичъ, — говорилъ Петръ Михайлычъ, встрѣчая гостя и вводя его въ гостиную.

— Это вотъ съ мой родной братъ, капитанъ арміи въ отставкѣ, а это дочь моя Анастасія, — прибавилъ онъ.

Капитанъ расшаркался... Настенька слегка привстала; Калиновичъ отдалъ имъ вѣжливый, но холодный поклонъ.

— Не угодно-ли вамъ водочки выпить? — продолжалъ Петръ Михайлычъ, указывая на закуску: это вотъ запеканка, это домашній настой; а тутъ вотъ грибки да рыжички; а это вотъ архангельскія сеledки, небольшія, но, рекомендую, превкусныя.

— Позвольте мнѣ лучше покурить, — проговорилъ Калиновичъ.

— Сдѣлайте милость! Господинъ капитанъ, ваша очередь угощать. Самъ я мало курю; а вотъ у меня великій любитель и мастеръ по табачной части! — Капитанъ началъ было выдуть свою коротенькую трубку.

— Благодарю васъ: у меня есть съ собой, — возразилъ Калиновичъ, вынимая папироску изъ портсигаръ.

Капитанъ отложилъ трубку, но присѣкъ огня къ тругу собственнаго производства и, подавъ его на кремѣ гостю, началъ съ большимъ вниманіемъ осматривать портсигаръ.

— Хорошая вещь; вѣроятно, кожаная, — проговорилъ онъ.

— Нѣтъ, *parier maché*, — отвѣчалъ Калиновичъ. Капитанъ совершенно не понялъ этого слова, однако не показалъ того.

— А! вѣроятно англійскаго изобрѣтенія! — произнесъ онъ глубокомысленно.

— Не знаю, право.

— Англійская, — рѣшилъ капитанъ.

До всѣхъ табачныхъ принадлежностей онъ былъ большой охотникъ и считалъ себя въ этомъ отношеніи большимъ знатокомъ.

— Гдѣ же вы изволили побывать?... Кого увидѣли? Съ кѣмъ познакомились? — началъ Петръ Михайлычъ.

— Я былъ не у многихъ, но... и о томъ сожалѣю! — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Это какъ? — спросилъ Петръ Михайлычъ съ удивленіемъ.

Настенька посмотрѣла на молодаго человѣка довольно пристально; капитанъ тоже взглянулъ на него.

— Во-первыхъ, городничій вамъ, — продолжалъ Калиновичъ: — меня совсѣмъ не пустилъ къ себѣ и велѣлъ уже вечеромъ придти въ полицію.

— Ха, ха, ха! — засмѣялся Петръ Михайлычъ добродушнѣйшимъ смѣхомъ: — этакой смѣшной ветеранъ! Онъ что-нибудь не понялъ. Что дѣлать?.. Самъ-то вотъ занятъ больше службой; да и бѣдность къ тому: въ нашемъ городкѣ, не какъ въ другихъ мѣстахъ, городничій не за жирѣть: почти сидитъ на одномъ жалованьѣ, да откупщикъ развѣ поможетъ какой-нибудь сотней-другой.

При этихъ словахъ на лицѣ Калиновича выразилась презрительная улыбка.

— А семейство тоже большое, — продолжалъ Петръ Михайлычъ, ничего этого не замѣтившій: — вонъ двое мальчишекъ ко мнѣ въ училище бѣгаютъ, такъ и смотрѣть жалко: ошипано, оборвано, на дворянскихъ-то дѣтей не похожи. Супруга, по несчастію, родивши послѣдняго ребенка, не побереглась, видно, и тамъ молоко, что-ли, въ голову кинулось — теперь не въ полномъ разсудкѣ: говорятъ, не умывается, не чешется, и только, какъ привидѣніе, ходитъ по дому и на всѣхъ ворчитъ... ужасно жалкое положеніе! — заключилъ Петръ Михайлычъ печальнымъ голосомъ.

Но молодой смотритель выслушалъ все это совершенно равнодушно.

— У этого городничаго очень хорошенькая дочка, слыветъ здѣсь красавицей, — полунасмѣшливо замѣтила ему Настенька.

Калиновичъ опять ничего не отвѣчалъ и только взглянулъ на нее.

— Что жъ?... дѣйствительно хорошенькая! — подхватилъ Петръ Михайлычъ. — У кого же еще изволили быть? — прибавилъ онъ, обращаясь къ Калиновичу.

— Еще я былъ у почтмейстера, — это чудакъ какой-то!

— Именно чудакъ, — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — не глупый бы старикъ, богомольный, а все преставленія свѣта боится... Я часто съ нимъ прежде споривалъ: грѣхъ, говорю, искушать судьбы Божіи, надобно жить честно и праведно, а тутъ буди Его святая воля...

— Онъ ужасный скупецъ, — замѣтила Настенька.

— Почему ты, душа моя, знаешь? — возразилъ Петръ Михайлычъ: — а если и дѣйствительно скупецъ, такъ, по-моему, дѣлаетъ больше всѣхъ зла себѣ, живя въ постоянныхъ лишеніяхъ.

— Да какъ же, папенька, только себѣ дѣлаетъ зло, когда деньги въ ростъ отдаетъ? ростовщикъ! А исторія его съ сыномъ? — перебила Настенька.

— Что-жъ исторія его съ сыномъ?... Кто можетъ отца съ дѣтми судить? Никто, кромѣ Бога, — произнесъ Петръ Михайлычъ, и лицо его приняло нѣсколько строгое и недовольное выраженіе. Настенька перемѣнила разговоръ:

— У генеральши вы были? — отнеслась она къ Калиновичу.

— Былъ-съ, — отвѣчалъ онъ.

— Это здѣшній большой свѣтъ!

— Кажется.

— А дочь ея видѣли?

— Не знаю, видѣлъ какую-то дѣвицу или даму кривобокую или кривошейку — не разберешь.

— Совершенно безъ боку — ужасно! — подтвердила Настенька: — и, вообразите, у нихъ бываютъ балы, на которыхъ и я имѣла счастье быть одинъ разъ; и она съ такою наружностью и въ бальномъ платьѣ — невозможно видѣть равнодушно.

— Господа! молодые люди! — воскликнулъ Петръ Михайлычъ: — не смѣйтесь надъ тѣлесными недостатками; это все равно, что смѣяться надъ больными — грѣхъ!

— Мы и не смѣемъ, — возразилъ съ усмѣшкою Калиновичъ: — а напротивъ. она произвела на меня

такое тяжелое и грустное впечатлѣніе, отъ котораго я до сихъ поръ не могу освободиться.

— Кушать готово! — перебилъ Петръ Михайлычъ, увидѣвъ, что на столъ уже поставлена миска. — А вы и передъ обѣдомъ водочки не выпьете? — отнесся онъ къ Калиновичу.

— Нѣтъ, благодарю, — отвѣчалъ тотъ.

— Какъ угодно-съ! А мы съ капитаномъ выпьемъ. Ваше высокоблагородіе, адмиральскій часъ давно пробилъ—не прикажете-ли?... Принимите! — говорилъ старикъ, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только-что тотъ хотѣлъ взять, онъ не далъ ему и самъ выпилъ. Капитанъ улыбнулся... Петръ Михайлычъ каждодневно дѣлалъ съ нимъ эту штуку.

— Ну, а ужъ теперь не обману, — продолжалъ онъ, наливая другую рюмку.

— Знаю-съ, — отвѣчалъ капитанъ и залпомъ выпилъ свою порцію. Всѣ вышли въ залу, гдѣ Петръ Михайлычъ отрекомендовалъ новому знакомому Пелагею Евграфовну. Калиновичъ слегка поклонился ей; экономка сдѣлала ему жеманный книксенъ.

— Насъ, кажется, сегодня хотять угостить потрохами, — говорилъ Петръ Михайлычъ, садясь за столъ и втягивая въ себя запахъ горячаго. — Любите ли вы потроха?— отнесся онъ къ Калиновичу.

— Да, ѣмъ, — отвѣчалъ тотъ съ нѣсколькими насмѣшливой улыбкой, но попробовавъ, началъ ѣсть съ большимъ аппетитомъ. — Это очень хорошо, — проговорилъ онъ: — прекрасно приготовлено!

— Художественно-съ! — подхватилъ Петръ Михайлычъ. — Пелагея Евграфовна, честь эта принад-

лежить вамъ; кланяемся и благодаримъ отъ всей честной компаніи!

Экономка тупилась, модничала и, повидимому, отложила свое обыкновеніе вставать изъ-за стола. За горячимъ дѣйствительно слѣдовала стерлядь, которой Калпновичъ оказалъ достоюжное вниманіе. Соусъ изъ рябчиковъ съ приговленною къ нему подливкою онъ тоже похвалилъ; но болѣе всего ему понравилась наливка, которой, выпивъ двѣ рюмки, попросилъ еще третью, говоря, что это гораздо лучше всякихъ ликеровъ.

У Пелагеи Евграфовны отъ удовольствія обѣ щеки горѣли яркимъ румянцемъ.

Послѣ обѣда всѣ снова возвратились въ гостиную.

— Скажите-ка мнѣ, Яковъ Васильичъ, — началъ Петръ Михайлычъ: — что-нибудь о московскомъ университетѣ: тамъ, я слышалъ, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?

— Юристъ.

— Прекрасный факультетъ-съ!... Я самъ воспитывался въ московскомъ университетѣ, по словесному факультету, и въ мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляковъ. Человѣкъ былъ съ свѣтлой головой. Бывало, начнетъ разбирать Державина построчно, каждое слово: «вотъ такой-то, говоритъ, стихъ, хорошъ, а такой-то посредственный; вотъ бы, говоритъ, какъ слѣдовало сказать», да и начнетъ импровизировать стихами. Мы только слушаемъ, и еслибъ тогда записывать его импровизаціи, предестныя бы вышли стихотво-

ренія, — говорилъ Петръ Михайлычъ. — Любопытно мнѣ знать, — продолжалъ онъ подумавъ: — вспоминаютъ ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважаютъ ли его, какъ слѣдуетъ.

— Очень, — отвѣчалъ Калиновичъ: — особенно какъ профессора.

— Это дѣлаетъ честь молодому поколѣнію: такихъ людей забывать не слѣдуетъ! — заключилъ старикъ и вздохнулъ. Нѣсколько рюмокъ наливки, выпитыхъ за столомъ, сдѣлали его еще разговорчивѣе и настроили въ какое-то пріятно-грустное расположение духа. — Вотъ мнѣ теперь, на старости лѣтъ, — снова началъ онъ какъ бы самъ съ собою: — очень бы хотѣлось побывать въ Москвѣ; деньгами только никакъ не могу сбиться, а посмотрѣлъ бы на бѣлокаменную, въ университетъ бы сходилъ... Пустятъ, я думаю, стараго студента на стѣны посмотрѣть. Многие товарищи мои теперь извѣстные литераторы, ученые; въ студентахъ я съ ними друженъ бывалъ, оспаривалъ иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, такъ полагаю, что еслибъ я пришелъ къ нимъ, они бы не пренебрегли мною.

Калиновичъ слушалъ Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывалъ на Настеньку, которая сидѣла съ выраженіемъ скуки и досады въ лицѣ. Петръ Михайлычъ, по крайней мѣрѣ, въ милліонный разъ рассказывалъ при ней о Мерзляковѣ и о своемъ желаніи побывать въ Москвѣ. Стараясь, впрочемъ, скрыть это, она то начинала смотрѣть въ окно, то опускала черные глаза на развернутыя передъ ней «Отечественныя

Записки» и, надобно сказать, въ эти минуты была прехорошенькая.

— Вы что-то такое читаете? — отнесся къ ней Калиновичъ.

— Нѣтъ, такъ, покуда перелпстываю, — отвѣчала она.

— А вы любите читать?

— Очень; это единственное для меня развлеченіе. Нынче я еще меньше читаю; а прежде рѣшительно до обморока зачитывалась.

— Что жъ вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературѣ.

— Больше журналы... — отвѣчала Настенька.

— Послѣдніе годы, — вмѣшался Петръ Михайлычъ, — только журналы и читаемъ... Разнообразно они стали нынче издаваться... хорошо; все тутъ есть: и для пріятнаго чтенія, и полезныя свѣдѣнія, исторія политическая и натуральная, критика... хорошо-съ.

Калиновичъ слегка улыбнулся.

— Вы нѣсколько пристрастны къ нашимъ журналамъ, — сказалъ онъ: — они и сами, я думаю, не предполагаютъ въ себѣ тѣхъ достоинствъ, которыя вы въ нихъ открыли.

— Не знаю-съ, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ: — я говорю, какъ понимаю. Вотъ какъ перебранка мнѣ ихъ не нравится, такъ не нравится! Помилуйте, что это такое? вмѣсто того чтобъ разсуждать о какомъ-нибудь вопросѣ, они ставятъ другъ другу шпильки и стараются, какъ борцы какіе-нибудь, подшибить другъ друга подъ-ногу.

— Въ дѣльномъ и честномъ журналѣ, если-бъ

только онъ существовалъ, — началъ Калиновичъ: — непременно должно существовать сильное и энергическое противодѣйствіе прочимъ нашимъ журналамъ, которые или не имѣютъ никакого направленія, или имѣютъ, но фальшивое.

— Такъ, такъ! — подтвердилъ Петръ Михайлычъ, видимо не понявшій, что именно говорилъ Калиновичъ: — и вообще, — продолжалъ онъ съ глубокомысленнымъ выраженіемъ въ лицѣ: — не знаю, какъ вы, Яковъ Васильчъ, понимаете, а я сужу такъ, что нынче вообще упадаетъ литература.

Калиновичъ ничего не отвѣчалъ, а только вопросительно посмотрѣлъ на старика.

— Прежде, — продолжалъ Петръ Михайлычъ, для поэзіи брали предметы какъ-то возвышеннѣе: Державинъ, на примѣръ, писалъ оду «Богъ», восхвалялъ императрицу, героевъ, ихъ подвиги, а нынче дались эти женскіе глазки да ножи... Помилуйте, что это такое?

Легкій оттѣнокъ насмѣшки пробѣжалъ по лицу Калиновича.

— За нынѣшней литературой останется большая заслуга: прежде риторически лгали, а нынче безъ риторики начинаютъ понемногу говорить правду, — проговорилъ онъ и мелькомъ взглянулъ на Настеньку, которая отвѣтила ему одобрительной улыбкой.

— Я этихъ одъ рѣшительно читать не могу, — начала она. — Или, вотъ папенька восхищается этимъ Озеровымъ. Вообразите себѣ: Ксенія, русская княжна, которыхъ держали взаперти, ѣдетъ въ лагерь къ Донскому, — какъ это правдоподобно!

Калиновичъ только усмѣхнулся. Петръ Михайлычъ началъ колебаться.

— Я моего мнѣнія за авторитетъ и не выдаю, — началъ онъ: — и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишутъ въ чувствамъ, къ жизни нашей ближе, поучаютъ больше въ формѣ сатирической повѣсти — это въ своемъ родѣ хорошо.

— Даже, полагаю, очень хорошо: гораздо честнѣе отстаивать слабыхъ, чѣмъ хвалить сильныхъ, — сказалъ Калиновичъ.

— Именно такъ! — подтвердила Настенька съ сияющимъ въ глазахъ удовольствіемъ.

— Да коли съ этой дѣлю, такъ конечно: кто съ этимъ будетъ спорить? — согласился и Петръ Михайлычъ, окончательно разбитый со всѣхъ сторонъ.

— Нынче есть великіе писатели, — начала Настенька, — эти трое: Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, о которыхъ Бѣлинскій такъ много теперь пишетъ въ «Отечественныхъ Запискахъ».

— А вы и критику читаете? — спросилъ ее Калиновичъ.

— Да, — отвѣчала она съ нѣкоторою гордостью.

— Горячая и умная голова этотъ господинъ-критикъ Бѣлинскій! — замѣтилъ Петръ Михайлычъ.

— Вы согласны съ его взглядомъ? — спросила Настенька.

— Почти, — отвѣчалъ Калиновичъ: — но дѣло въ томъ, что Пушкина нѣтъ ужъ въ живыхъ, — продолжалъ онъ съ разстановкой: — хотя, судя по силѣ его таланта и по тому направленію, которое принялъ онъ въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ онъ бы долженъ былъ сдѣлать многое.

— Многое бы, сударь, онъ сдѣлалъ! Вдохновенный былъ поэтъ!.. Самъ Державинъ наименовалъ его своимъ преемникомъ! — подхватилъ Петръ Михайлычъ какимъ-то торжественнымъ тономъ.

— Вотъ какъ Гоголь... — сталь-было онъ продолжать, но вдругъ и приостановился.

— Что-жь Гоголь?.. — возразила ему дочь.

— Гоголя, по-моему, черезчуръ ужъ захвалили, — отвѣчалъ старикъ рѣшительно. — Конечно, кто у него можетъ это отнять: превеселый писатель! Все это у него выходитъ живо, точно, видишь передъ собой, все это отъ души смѣшно и въ то же время правдоподобно; но...

Калиновичъ слегка усмѣхнулся этому простодушному опредѣленію Гоголя.

— Гоголь громадный талантъ, — началъ онъ: — но куда съ приличною ему силою является только какъ сатирикъ, а потому раскрываетъ одну сторону русской жизни, и раскроетъ ли ее вполнѣ, какъ общаетъ въ «Мертвыхъ душахъ», и проведетъ-ли славянскую дѣву и доблестнаго мужа — это еще сомнительно.

— Неужели вамъ Лермонтовъ не нравится? — спросила Настенька.

— Лермонтовъ тоже умеръ, — отвѣчалъ Калиновичъ: — но еслибъ былъ и живъ, я не знаю, что бы было. Въ томъ, что онъ написалъ, видно только, что онъ безусловно подражалъ Пушкину, проводилъ байронизмъ нѣсколько на военный ладъ и наконецъ цѣликомъ заимствовалъ у Шиллера въ одухотвореніяхъ стихій.

— Нѣтъ, неправда; Лермонтовъ для меня чудо какъ хорошъ! — сказала Настенька.

— Да,— продолжалъ Калиновичъ подумавъ:— онъ былъ очень умный человѣкъ и съ неподдѣльно-страстной натурой, но только въ известной колѣѣ. Въ томъ, что онъ писалъ, онъ былъ очень силенъ, за то ужъ дальше этого ничего не видѣлъ.

Настенька отрицательно покачала головой; она была съ этимъ рѣшительно несогласна.

— Кромѣ этихъ трехъ писателей, мнѣ и другіе очень нравятся, — проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Кто же именно? — спросилъ Калиновичъ.

— Напримѣръ, Загоскинъ, Лажечниковъ, котораго «Ледяной домъ» я разъ пять прочитала, графъ Соллогубъ: его «Аптекарьша» и «Большой свѣтъ» мнѣ ужасно нравятся; теперь Кукольникъ, Вельтманъ, Даль, Основьяненко.

При этомъ перечнѣ лицо Петра Михайлыча сіяло удовольствіемъ оттого, что дочь обнаруживала такое знакомство съ литературой; но Калиновичъ слушалъ ее съ такимъ выраженіемъ, по которому не трудно было догадаться, что называемые ею авторы не пользовались его большимъ уваженіемъ.

— Много; всѣхъ не перечтешь! — произнесъ онъ.

— О, да какой вы, должно быть, строгій и тонкій судья! — воскликнулъ Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ ничего не отвѣчалъ и только потупилъ глаза въ землю.

— А сами вы не пишете ничего? — спросила его вдругъ Настенька.

— Почему же вы думаете, что я пишу? — спро-

силъ онъ, въ свою очередь, какъ бы нѣсколько сконфуженный этимъ вопросомъ.

— Такъ, мнѣ кажется, что вы непременно сами пишете.

— Можетъ быть, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Петръ Михайлычъ захопалъ въ ладони.

— А-га! ай да Настенька! молодецъ у меня: сейчасъ попала въ цѣль! — говорилъ онъ. — Ну что-жь! дай Богъ! дай Богъ! человекъ вы умный, молодой, образованный... отчего вамъ не быть писателемъ?

— Что же вы пишете? — спросила опять Настенька.

Но Калиновичъ не отвѣчалъ.

— Это, сударыня, авторская тайна, — замѣтилъ Петръ Михайлычъ: — которую мы не смѣемъ вскрывать, покуда не захочетъ того самъ сочинитель; а Богъ дастъ, можетъ быть, настанетъ и та пора, когда Яковъ Васильичъ придетъ и самъ прочтетъ намъ: тогда мы узнаемъ, потолкуемъ и посудимъ... Однако, — продолжалъ онъ, позвнувъ и обращаясь къ брату: — какъ вы, капитанъ, думаете: отправиться на свои зимнія квартиры, или нѣтъ?

— Нѣтъ, я посижу-съ, — отвѣчалъ тотъ.

Въ продолженіе года капитанъ не уходилъ послѣ обѣда домой въ свое пернатое царство не болѣе четырехъ или пяти разъ, но и то по какимъ-нибудь весьма экстреннымъ случаямъ. Видимо, что новый гость значительно его заинтересовалъ. Это, впрочемъ, замѣтно даже было изъ того, что ко всѣмъ словамъ Калиновича онъ чрезвычайно внимательно прислушивался.

— Ну, и дѣбре; а я такъ прошу у нашего почтеннаго гостя позволенія отдохнуть: привычка! — говорилъ Петръ Михайлычъ, вставая.

— Сдѣвайте одолженіе, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Васъ, впрочемъ, я не пушу домой, что вамъ сидѣть одному въ номеръ? Вотъ вамъ два собесѣдника: старый капитанъ и молодая дѣвица, толкуйте съ ней!.. Она у меня большая охотница говорить о литературѣ, — заключилъ старикъ и, шаркнувъ правой ногой, присѣлъ, сдѣлавъ ручкой и ушелъ. Чрезъ нѣсколько минутъ въ гостиной очень чувствительно слышалось его храпѣнье. Настеньку это сконфузило.

— Не хотите ли въ садъ погулять? — сказала она, воспользовавшись тѣмъ, что Калиновичъ часто брался за голову.

— Очень бы желалъ освѣжиться, — отвѣчалъ тотъ:—ваши наливки безподобны, но ужь очень скоро ведутъ къ цѣли.

Всѣ вышли.

Садъ Годневыхъ, купленный вмѣстѣ съ домомъ у бывшаго когда-то предводителемъ богатаго холостяка и большаго садовода, отличался нѣкогда большими запотроями. Пелагея Евграфовна постоянно обнаруживала сильное поползновеніе разбить въ немъ всюду огородныя плантаціи. «Вонъ лѣсъ-то растеть, а моркови негдѣ сѣять», брюзжала она, хотя очень хорошо знала, что морковь было бы гдѣ сѣять, еслибъ она не пустила двѣ лишнія гряды подъ капусту; но Петръ Михайлычъ, отчасти по собственному желанію, отчасти по настоянію Настеньки,

оставался твердъ и оставлялъ большую часть сада въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ, возражая экономкѣ:

— Не все, мать, хлопотать о полезномъ; позаботимся и о приятномъ. Въ жизни надо мѣшать *utile cum dulce*.

Выходъ въ садъ былъ прямо пзъ гостиной съ небольшого балкончика, отъ котораго прямо начиналась густо-разросшаяся липовая аллея, расходившаяся въ широкую площадку, гдѣ, посрединѣ, стояла полуразвалившаяся китайская бесѣдка. Отъ этой бесѣдки, въ различныхъ разстояніяхъ, возвышались деревянные статуи олимпійскихъ боговъ, какія, можетъ быть, читателямъ случилось видать въ нѣкогда существовавшемъ саду Осташевскаго, который служилъ прототипомъ для многихъ помѣщичьихъ садовъ. Изъ числа этихъ олимпійскихъ боговъ осталась Минерва безъ правой руки, Венера съ отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а отъ прочихъ уцѣлѣли одни только пьедесталы. Всѣ эти остатки боговъ и богинь были выкрашены яркими красками. Мѣсто это Петръ Михайлычъ называлъ разрушеннымъ Олимпомъ.

— Надобно бы мнѣ мой Олимпъ реставрировать; мастеровъ только здѣсь не найдешь! — часто говорилъ онъ, ходя около статуй.

За газономъ слѣдовалъ довольно крутой скатъ къ рѣкѣ, съ замѣтными слѣдами двухъ или трехъ фонтановъ и съ сбѣгающими въ разныхъ направленихъ дорожками. Кромѣ того, по всему этому склону, росли, въ наклоненномъ положеніи, огромные кедры, въ тѣни которыхъ стояла не то часовня, не то хи-

жина, гдѣ, по словамъ старожиловъ, спасался будто-бы нѣкогда какой-то старецъ; но другіе объясняли проще, говоря, что прежній владѣлецъ — большой, между прочимъ, шутникъ и забавникъ — нарочно старался придать этой хижинѣ дикій видъ и посадилъ деревянную куклу, изображающую пустынножителя, которая, когда кто входилъ въ хижину, имѣла свойство вставать и кланяться, чѣмъ пугала нѣкоторыхъ дамъ до обморока, доставляя тѣмъ хозяину неимовѣрное удовольствіе. Противоположный, низовый берегъ рѣки возвышался отлогою покатою и сплошь былъ покрытъ какъ-бы подстриженнымъ мелкимъ ельникомъ. Съ горизонтомъ сливался онъ въ полукруглой рамѣ, надъ которой не возвышалось ни деревца, ни облака, и только посрединѣ прорѣзывалась высокая дальняго села колокольня. День былъ, какъ это часто бываетъ въ началѣ сентября, ясный, теплый; съ рѣки гладкой, какъ стекло, начиналъ подыматься легкій туманъ. Все это, освѣщенное довольно ужъ низко спустившимся солнцемъ, которое то прорѣзывалось мѣстами въ аллеѣ и обозначалось свѣтлыми на дорогѣ пятнами, то придавало всему какой-то фантастическій видъ, освѣщая съ одной стороны безглавую Венеру и бездланную Минерву — все это, говорю я, вмѣстѣ съ миньятюрной Настенькой, въ ея черномъ платьѣ, съ ея разбившимися волосами, вмѣстѣ съ усѣвшимся на ступеньки бесѣдки капитаномъ съ кбротенькой трубкой въ рукахъ, у котораго на вычищенныхъ пуговицахъ вицмундира тоже играло солнце, — все это, кажется, понравилось Калиновичу, и онъ проговорилъ:

— Какъ здѣсь хорошо! Какое прекрасное мѣсто-положеніе!

— Для прїѣзжающихъ!—подхватила Настенька. — Впрочемъ, это единственное мѣсто, гдѣ мнѣ легче живется, — прибавила она и попросила у Калиновича папирску, которую и закурила въ трубкѣ у дяди.

Капитанъ покачалъ ей головой и проговорилъ:

— Смотрите, папаша увидить.

Настенька очень любила курить, но дѣлала это потихоньку отъ отца: Петръ Михайлычъ, балуя и не отказывая дочери ни въ чемъ, выходилъ всегда изъ себя, когда видѣлъ ее съ папирской.

— Гусаръ, сударь, Настасья Петровна, гусаръ! Послѣ этого дамамъ остается только водку пить, — говорилъ онъ.

Но капитанъ покровительствовалъ въ этомъ случаѣ племянницѣ и, съ большимъ секретомъ отъ Петра Михайлыча, дѣлалъ иногда для нея изъ слабаго турецкаго табаку папирсы, въ производствѣ которыхъ желая усовершенствоваться, съ большимъ вниманіемъ разсматривалъ у всѣхъ гостей папирсы, наблюдая, изъ какой онѣ были сдѣланы бумаги и какого сорта вставленъ былъ картонъ въ нихъ.

— Вы видѣли портретъ Жоржъ Зандъ?—спросила Настенька, ходя по аллеѣ съ Калиновичемъ.

— Видѣлъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Хороша она собой? молода?

— Нѣтъ, не очень молода, но хороша еще.

— А правда-ли, что она ходитъ въ мужскомъ платьѣ?

— Не думаю, на портретѣ она въ амазонкѣ.

— Какъ бы я желала имѣть ея портретъ! Я ужасно люблю ея романы.

— А который вы изъ нихъ предпочитаете?

— Всѣ чудо какъ хороши! «Индіану», я и не знаю, сколько разъ прочитала.

— И, конечно, плакали надъ ея участью,—сказалъ Калиновичъ. Въ голосѣ его слышалась скрытая насмѣшка.

— Что-жъ плакать надъ участью Индіаны? — возразила Настенька:— она, по-моему, вовсе не жалка, какъ другимъ, можетъ быть, кажется; она по крайней мѣрѣ жила и любила.

Калиновичъ слегка улыбнулся и молчалъ.

— Неужели-же,—продолжала Настенька:— она была бы счастливѣе, еслибъ свое сердце, свою нѣжность, свои горячія чувства, свои, наконецъ, мечты, все бы задушила въ себѣ и всю бы жизнь свою принесла въ жертву мужу, человѣку, который никогда ее не любилъ, никогда не хотѣлъ и не могъ ее понять? Будь она пошлая, обыкновенная женщина, ей бы еще была возможность ужиться въ ея положеніи: здѣсь есть дамы, которыя говорятъ открыто, что онѣ терпѣть не могутъ своихъ мужей и живутъ съ ними потому, что у нихъ нѣтъ состоянія.

— Причина довольно уважительная! — замѣтилъ Калиновичъ.

— Только не для Индіаны. По ея натурѣ она должна была или умереть, или сдѣлать выходъ. Она ошиблась въ своей любви — что-жъ изъ этого? Для нея все-таки существовали минуты, когда она была любима, вѣрила и была счастлива.

— Ей-бы слѣдовало полюбить Ральфа,—возразилъ

Калиновичъ: — весь романъ написанъ на ту тему, что женщины часто любятъ недостойныхъ, а людямъ достойнымъ узнаютъ цѣну довольно поздно. Въ послѣднихъ сценахъ Ральфъ является настоящимъ героемъ.

— Ральфъ герой? Никогда! — воскликнула Настенька:—я не вѣрю его любви; онъ, какъ англичанинъ, чудакъ, занимался Индіаной отъ нечего дѣлать, чтобъ разогнать, можетъ быть, свой сплинъ. Адвокатъ гораздо больше его герой: тотъ живой человѣкъ; онъ влюбляется, страдаетъ... Индіана должна была полюбить его, потому что онъ лучше Ральфа.

— Чѣмъ же онъ лучше? Онъ эгоистъ.

— Нѣтъ, онъ мужчина, а мужчины всѣ честолюбивы; но Ральфъ—оп! это—тряпка! Индіана не могла быть съ нимъ счастлива: она попала изъ огня въ воду.

Все это Настенька говорила съ большимъ одушевленіемъ; глаза у ней разгорѣлись, щеки зарумянились, такъ что Калиновичъ, взглянувъ на нее, невольно подумалъ самъ съ собой: «бѣсенокъ какой!» Въ концѣ этого разговора къ нимъ подошелъ капитанъ и началъ ходить вмѣстѣ съ ними.

— Вонъ дяденькѣ такъ очень нравится Ральфъ, — продолжала Настенька, указывая на дядю, и потомъ отнеслась къ нему:

— Дяденька, вамъ нравится Ральфъ, — помните, этотъ англичанинъ... третьяго дня читали?

— Правится.

— Чѣмъ же?

— Человѣкъ солидный-съ, — отвѣчалъ капитанъ.

Слушая «Индіану», капитанъ, дѣйствительно, очень

заинтересовался молчаливымъ англичаниномъ, и въ послѣдней сценѣ, когда Ральфъ началъ высказывать свои чувства къ Индіанѣ, онъ вдругъ, какъ бы невольно проговорилъ: «а... а!...»

— Что, капитанъ, не ожидали вы этого? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Да-съ, не предполагалъ, — отвѣчалъ капитанъ.

Такимъ образомъ молодые люди гуляли въ саду до позднихъ сумерекъ. Разговоръ между ними не умолкалъ. Калиновичъ, впрочемъ, больше спрашивалъ и держалъ себя въ положеніи наблюдателя; зато Настенька разговаривалась непмовѣрно. Она откровенно высказала, какъ удивилась, услышавъ, что Калиновичъ поѣхалъ дѣлать визиты, и потомъ описала въ каррикатурѣ всю уѣздную аристократію. Очень мило и въ самомъ смѣшномъ видѣ рассказала она, не щадя самое себя, единственную свой выѣздъ на балъ, какъ она была тамъ хуже всѣхъ, какъ заинтересовался ею самый ничтожный человѣкъ, столоначальникъ Медіовритскій; наконецъ представила, какъ генеральша сидитъ, какъ повертывается съ медленной важностью головою и какъ трудно, смывая языкъ, говорить.

Капитанъ, слушая ее, только покачивалъ головою.

«Бѣсенокъ!» опять подумалъ про-себя Калиновичъ.

Между тѣмъ Петръ Михайлычъ проснулся, умылся, прифрантился и сидѣлъ ужъ въ гостиной, попивая клюквенный морсъ, который Пелагея Евграфовна для него приготовляла и подавала всегда собственноручно. Въ настоящую минуту онъ гово-

рилъ съ нею вполголоса на счетъ молодаго зрителя.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! Лучше бы этого человѣка желать не надобно для Настеньки, — говорила Пелагея Евграфовна.

Калиновичъ очень понравился ей опрятностью въ одеждѣ, деликатностью своею, а болѣе всего тѣмъ, что оказалъ должное вниманіе приготовленнымъ ею кушаньямъ.

— Все въ руцѣ Божіей! — замѣчалъ Петръ Михайлычъ.

Когда молодые люди вернулись, экономка сейчасъ же скрылась, а Настенька, по обыкновенію, сѣла разливать чай.

— Чѣмъ же мы вечеръ займемся? — началъ Петръ Михайлычъ. — Не любите ли вы, Яковъ Васильевичъ, въ карточки поиграть? Не тряхнуть ли намъ въ преферансъ?

Это предложеніе почему-то сконфузило Калиновича.

— Если вамъ угодно... впрочемъ, я по большой не играю, — отвѣтилъ онъ.

— У насъ огромная игра: по копѣйкѣ.

— Извольте.

— Господинъ капитанъ, — обратился Петръ Михайлычъ къ брату: — распорядитесь о столѣ!

Капитанъ съ замѣтнымъ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу: онъ своими руками раскрылъ столъ, вычистилъ его, отыскалъ и положилъ на приличныхъ мѣстахъ игранныя карты, мѣлки и даже поставилъ стулья. Онъ очень любилъ сыграть пульку и двѣ въ карты.

Настенька, никогда прежде неигравшая, сказала, что и она будет играть. Таким образом усѣлись всѣ четверо. Хотя игра эта была почти шалостью, но и въ ней нѣкоторымъ образомъ выказались характеры участвующихъ. Капитанъ игралъ внимательно и въ высшей степени осторожно, съ большимъ вниманіемъ обдумывая каждый ходъ; Петръ Михайлычъ, напротивъ, горячился, объявлялъ рискованныя игры, сердился, бранилъ Настеньку за ошибки, дѣлая самъ ихъ безпрестанно, и грозилъ капитану пальцемъ, укоряя его: «не чисто, ваше благородіе... подсеживаете!» Настенька, повидимому, была занята совѣмъ другимъ: она то пропускала игры, то объявляла ни съ чѣмъ и, всякій разъ, когда Калиновичъ сдавалъ и не игралъ, обращалась къ нему съ просьбой поучить ее. Что касается послѣдняго, то онъ игралъ довольно внимательно и рассчитывалъ, кажется, чтобъ не проиграть — и не проигралъ. Выигралъ одинъ только капитанъ у брата и племянницы. Затѣмъ послѣдовалъ ужинъ и, при прощаньѣ, Настенька спросила Калиновича, любитъ ли онъ читать вслухъ.

— Да, читаю, — отвѣчалъ онъ.

— Когда будете опять у насъ, мы попросимъ васъ прочесть что-нибудь.

— Если вамъ угодно, — проговорилъ Калиновичъ и началъ откланиваться.

— Непремѣнно, мы васъ будемъ ждать, — повторила Настенька еще разъ, когда Калиновичъ былъ уже въ передней.

— Славный малый, славный! — сказалъ Петръ Михайлычъ по уходѣ его.

— Онъ очень умный человекъ, — присовокудила Настенька.

— Да, голова здоровая, — продолжалъ старикъ. — Хорошо нынче учать въ университетахъ: годъ отъ году лучше.

— Вы завтра, папенька, позовете его къ намъ обѣдать? — спросила Настенька.

— Позову; гдѣ ему теперь покуда пріютиться, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ и потомъ, подумавъ, прибавилъ: — меня теперь заботитъ: у кого ему квартиру пріискать.

— Противъ насъ квартира отдается, — замѣтила Настенька.

Петръ Михайлычъ подмигнулъ брату.

— Ого! — воскликнулъ онъ: — какова у насъ Настасья Петровна, капитанъ — а?... Молодого смотрителя хочетъ противъ своего окошечка помѣстить.

— Да-съ, — отвѣчалъ капитанъ.

Настенька слегка покраснѣла.

— Надо спросить у приказничихи: у ней постояльцы съѣхали, — рѣшила Пелагея Евграфовна, прибиравшая карты, мѣлки и уставлявшая на свои мѣста карточный столъ и стулья.

— Дѣло, дѣло! квартира хорошая! — подхватилъ Петръ Михайлычъ. — Сходи-ка завтра къ ней, командирша, да поторгуйся хорошенько.

— Сбѣгаю, — отвѣчала экономка.

— Только вотъ что, — продолжалъ Петръ Михайлычъ: — если онъ тутъ найметъ, такъ ему мебели надобно дать, а то здѣсь вдругъ не найдетъ.

— Наберемъ... дадимъ... — отозвалась ужь съ нѣкоторою досадою Пелагея Евграфовна и ушла.

Петръ Михайлычъ говорилъ о томъ, что она давно и гораздо лучше его обдумала.

Послѣ этого разговора начали всѣ расходиться по своимъ мѣстамъ.

Настенька первая встала и, сказавъ, что очень устала, подошла къ отцу, который, по обыкновенію, перекрестилъ ее, поцѣловалъ и отпустилъ поживать съ Богомъ; но она не поживала: въ комнатѣ ея еще долго свѣтился огонекъ. Она писала новое стихотвореніе, которое начиналось такимъ образомъ:

Кто-бъ ни былъ ты, о гордый человекъ!..

IV.

Какъ Пелагея Евграфовна предположила, такъ и сдѣлалось: Калиновичъ нанялъ квартиру у приказничихи. Избранная такимъ образомъ хозяйка ему была маленькая, толстая женщина, страшная охотница до пироговъ, кофе, чаю, а, пожалуй, небольшимъ дѣломъ, и до водочки. Вдовствуя неизвѣстное число лѣтъ послѣ своего мужа — приказнаго, она пропитывала себя отдачею своего небольшого домишка въ наемъ, и съ Пелагеей Евграфовной находилась въ тѣснѣйшей дружбѣ, то есть, прибѣгала къ ней раза три въ недѣлю попить и поѣсть, оплачивая ей за то принесеніемъ всевозможныхъ городскихъ новостей; а если таковыхъ не случалось, такъ и отъ себя выдумывала. Дальновидная экономка рассчитала поставить къ ней Калиновича, во-первыхъ, за тѣмъ, чтобъ

у пріятельницы квартира не стояла пустая, во-вторыхъ, она знала, что та разузнаетъ и донесетъ ей о молодомъ человѣкѣ все, до малѣйшихъ подробностей. И дѣйствительно, приказничиха начала, какъ зайца, выслѣживать постояльца своего и на первое время была въ совершенномъ отъ него восторгѣ.

— Матери мои! — говорила она, растопыривая обѣ руки: — что это за человѣкъ! умница, свромница... прелесть, прелесть мужчина!

А потомъ, когда Калининъ принялъ предложенную Петромъ Михайлычемъ мебель и разставилъ ее у себя, она пришла въ какое-то почти изступленіе: прибѣжала къ Пелагеѣ Евграфовнѣ, лицо ея пылало, глаза горѣли.

— Мать ты моя, Пелагея Евграфовна! — начала она рапортовать: не узнаю я моей квартиры, не мой домъ, не мои комнаты, хоть вонъ выходи. Что-что у меня до этого дворянинъ помѣщикъ стоялъ — насорилъ, начернилъ во всѣхъ углахъ; а у этого, у моего красавчика, красота, чистота... прелесть, прелесть мужчина!

Всѣ эти рассказы еще болѣе возвышали въ глазахъ Пелагеи Евграфовны новаго зрителя, который, въ свою очередь, послѣ его не совсѣмъ удачныхъ визитовъ по чиновникамъ, рѣшился, кажется, лучше присмотрѣться къ самому городу и познакомиться съ его окрестностями. Онъ ходилъ для этой цѣли по улицамъ, разсматривалъ въ соборѣ церковныя древности, выходилъ иногда въ сосѣднія поля и луга, глядѣлъ по нѣскольکو часовъ на рѣку и, бродивши въ базарный день по рынку, нарочно толкался между бабами и мужиками, чтобъ прислушаться къ

ихъ нарѣчію и всмотрѣтся въ ихъ перемѣшанные типы лицъ. Но все это — увы! — очень скоро изучилось и приглядѣлось. День на день сталъ походить, какъ ворона на ворону. Часовъ въ шесть, напримѣръ, лѣтнаго утра, солнце поднялось уже довольно-высоко. Въ маленькихъ мѣщанскихъ домишкахъ начинали просыпаться. Сталъ показываться изъ трубъ дымъ, и по улицамъ распространился чувствительный запахъ рыбы и лука — признакъ, что хозяйки начали стряпать. Изъ слободы сошли къ берегу два запоздалые рыбака и, помолившись на соборъ, спустили лодки. Изъ воротъ, повременамъ, выходятъ съ коромыслами на плечахъ, и переваливаясь съ ноги на ногу, проворно идутъ за водой краснощекія и совсѣмъ уже безъ талин, но съ толстыми задами, мѣщанскія дѣвки, между тѣмъ, какъ матери ихъ тонкими, звонкими голосами перебраниваются съ такими же звонкоголосыми сосѣдками. На каждомъ почти дворѣ клопочутъ безъ умолку проголодавшіяся куры. Заблаговѣстили къ ранней. Около собора появилась неопикуемая, въ родѣ крытыхъ дрожекъ, колесница, запряженная въ одну лошадь. Въ ней прибыла, еще до прихода отца-протопопа, старая дѣвица-помѣщица, которая, чтобъ быть ближе къ храму Божию, переселилась изъ своей усадьбы въ городъ съ двумя толсторожими дѣвками, очень скоро составившими предметъ соблазна для молодыхъ и холостыхъ приказныхъ. По деревянному, провалившемуся во многихъ мѣстахъ троттуару идетъ молодой человекъ, изъ дворянъ, недоросль Кадниковъ, недавно записавшійся, для составленія себѣ карьеры, въ канцелярію предводителя. Онъ былъ въ перчаткахъ, но безъ гал-

стуха и безъ фуражки, которую держалъ въ рукахъ. Голова у него была мокрая. Онъ сейчасъ только выкупался и былъ страстный охотникъ до этого удовольствія. Не смотря на седьмой часъ утра, онъ успѣлъ уже въ третій разъ покупаться... Обѣдня отошла. Купцы въ лавкахъ принялись пить чай съ калачами. Въ открытыхъ окнахъ присутственныхъ мѣстъ стали видны широкія, немного опухлыя лица столоначальниковъ и ненадолго высовываться завитыя и напомаженные головы писцовъ. У подъѣзда начали останавливаться сначала дрожки казначея, потомъ исправника, судьи и т. д. Провѣхалъ лекаръ по визитамъ. Этотъ часъ врядъ-ли не самый одушевленный; но потомъ часу во второмъ, около присутственныхъ мѣстъ не видно уже ни одной лошади. Окна всё спущены; приказчики въ лавкахъ, отъ нечего дѣлать, подманиваютъ гуляющихъ на площади голубей, извѣстнымъ звукомъ: «гуля, гуля». Тѣ слупа подходятъ, думая сначала, что имъ корму дадутъ, а вмѣсто того тамъ ладятъ кого-нибудь изъ нихъ за хвостъ поймать; но они вспархиваютъ и улетаютъ, и вслѣдъ за ними ударяется бѣжать, Богъ знаетъ откуда появившійся, щенокъ, доставляя тѣмъ безконечное удовольствіе всѣмъ, кто только видитъ эту сцену. Въ домахъ купчихи и мѣщанки, которыя побогаче, выпивъ по порядочному стаканчику домашней настойки и весьма плотно пообѣдавъ, спятъ за ситцевыми занавѣсками на своихъ высочайшихъ приданныхъ перинахъ. Мужья ихъ, когда не въ отлучкѣ, дѣлаютъ то же, и спятъ или въ холодникахъ, или въ сараѣ. Чиновники обѣдаютъ и тоже прибираются спать, если только, тотчасъ же послѣ обѣда, не раз-

бранятся съ женами. Послѣ этого на улицѣ почти не бываетъ видно живаго существа; развѣ пройдетъ молодой Кадниковъ покупаться... Въ четыре часа съ половиной ударятъ къ вечернѣ. Все начинаетъ мало-по-малу оживать. Выспавшіяся мѣщанки съ изнатыми лицами идутъ къ колодцу умываться. Изъ уѣзднаго и духовнаго училища высынаютъ школьники, и если встрѣтятся, такъ и подерутся. Лакеи генеральши, отправивъ парадный на серебрѣ столъ, но въ сущности состоящій изъ жареной печени, пшкарей и кофейной яичницы, лакеи эти, заморивъ собственный свой голодъ пустыми щами, усаживаются въ своихъ ливрейныхъ фракахъ на скамеечкѣ у воротъ и начинаютъ травить пуделемъ всѣхъ пробогающихъ мимо собакъ, а пожалуй, и коровъ, когда тѣхъ гонять съ поля. На валу появляются гуляющія группы, причемъ молодыя дамы и дѣвицы блестятъ на солницѣ своими яркоцвѣтными платьями и своими тоже яркими шляпками. Глядя на эти группы, невольно подумаешь, отчего бы имъ не сойтись въ этой деревянной на валу бесѣдкѣ и не затѣять тутъ же танцевъ — кстати же черезъ городъ проѣзжаетъ жидъ съ цимбалами и этого, я увѣренъ, очень хочется сыну судьи, семиклассному гимназисту, и пятнадцатилѣтней дочери непремѣннаго члена, которые двѣ недѣли безъ памяти влюблены другъ въ друга и не имѣютъ возможности сказать двухъ словъ между собою. Но нѣтъ и нѣтъ этого! Группы, встрѣчаясь, кланяются, мѣняются нѣсколькими фразами и расходятся. Между тѣмъ по улицѣ, обративъ на себя все общее вниманіе, проносится, въ бѣговыхъ дрожкахъ, на ворономъ рысакѣ, молодой сынъ головы, страст-

ный охотникъ до лошадей и, какъ говорится, бабкины слезы, потому что сильно любить кутнуть, и все съ дворянами.

Солнце садится. Воздухъ свѣжѣетъ; гуляющіе расходятся по домамъ; въ окнахъ замелькали огоньки. Вонъ, съ одной свѣчкой, босоногая Ольгунька накрываетъ у городничаго столъ, и онъ садится съ своей многочленной семьей ужинать. Вонъ, исправница ходитъ по залѣ съ молодымъ офицеромъ и замѣтно съ нимъ любезничаетъ. Вонъ, въ маленькомъ домикѣ, честолюбивый псеецъ магистрата, изъ студентовъ семинаріи, чтобъ угодить назавтра секретарю, отхватываетъ вечеромъ седьмой листъ четкимъ почеркомъ, какъ-будто даже не чувствуетъ усталости, но, пріостановясь на минутку, вытянетъ разомъ стоящую около него трубку съ нѣженскими корешками, плюнетъ потомъ на пальцы, помотаетъ рукой, чтобъ разбить прилипшую кровь, и опять начинаетъ строчить. Вонъ, въ домѣ первопильдейнаго купца, въ наугольной комнатѣ, примачивается старуха-мать поправить лампаду, горящую передъ богатой божницей, сердито посматривая на лежанку, гдѣ заснула молодая ея невѣстка, только-что привезенная изъ Москвы. На постояломъ дворѣ, съ жирнымъ шивороткомъ и въ красной ситцевой рубашкѣ, сидитъ хозяинъ за столомъ и разсчитываетъ извозчика, медленно побрасывая толстыми, опухлыми пальцами косточки на счетахъ. Извозчикъ стоитъ передъ нимъ въ изорванномъ полушубкѣ и какъ бы говоритъ своей печальной физиономіей: «Эка, паря, какъ обдираетъ».

Такова была почти вся съ улицы видимая жизнь

маленькаго городка, куда попалъ герой мой; но что касается простосердечія, добродушія и дружелюбія, о которыхъ объяснялъ Петръ Михайлычъ, то все это, можетъ быть, когда-нибудь бывало встарину, а нынче всѣмъ и каждому, я думаю, было извѣстно, что окружный начальникъ ежегодно дѣлаетъ на исправника доносъ на стѣснительные наѣзды того на казенныя имѣнія. Стряпчій, молодой еще мальчишкѣ, придирается и ставитъ крючки уѣздному суду на каждомъ протоколѣ, хоть сколько-нибудь выгодномъ для интереса. Даже старичишка-городничій, при всей своей добротѣ, былъ съ лекаремъ на ножахъ, по случаю общихъ распоряженій больничными суммами. Два брата Масляниковы, довольно богатые купцы, не дальше, какъ на-дняхъ, дѣлившіи отцовское наслѣдство, на площади, при всемъ народѣ, дрались и таскали другъ друга за волосы изъ-за вытертой батькиной енотовой шубы. Гдѣ-жь тутъ дружелюбіе? Скорѣе ненависть, злоба и зависть здѣсь царствовали, и только; сверхъ того, надъ всѣмъ этимъ парила какая-то мертвенность и скука, такъ что даже отерпѣвшіеся старожилы-чиновники и тѣ скучали. Срывки нынче по службѣ тоже пошли выпадать все маленькіе, ничтожныя, а потому карточная игра посерьезнѣе совершенно прекратилась; только и осталось одно развлеченіе, что придетъ иногда засѣдатель уѣзднаго суда къ непремѣнному члену, большому своему пріятелю, поздоровается съ нимъ... и оба зѣвнутъ.

— Что, Семень Григорьевичъ, нѣтъ ли чего новенькаго? — спроситъ одинъ.

— Нѣтъ, не слыхалъ, — отвѣтитъ другой, и опять оба зѣвнутъ.

— А что, — спроситъ первый, — вы пѣшкомъ, или на лошади?

— А что-же? — спроситъ, въ свою очередь, второй.

— Да такъ; не хотите ли къ Семенову зайти. Мнѣ винца столоваго надо посмотрѣть.

— Хорошо; зайдемте.

Зайдутъ къ Семенову, и тутъ кстати раскупорятъ да и разопьютъ бутылочки двѣ мадеры и домой ужъ возвратятся гораздо-повеселѣе, тщательно скрывая отъ женъ, гдѣ были и что дѣлали; но тѣ всегда догадываются по глазамъ и дѣлаютъ по этому случаю строгіе выговоры, сопровождаемые иногда слезами. Чтобъ осушить эти слезы, мужья даютъ обѣщаніе не заходить никогда къ Семенову; но имъ весьма основательно не вѣрятъ, потому что обѣщанія эти нарушаются много-много черезъ недѣлю.

Герой мой былъ слишкомъ еще молодъ и слишкомъ благовоспитанъ, чтобы сразу втянуться въ подобнаго рода развлеченіе; да, кажется, и по характеру своему, былъ совершенно несклоненъ къ тому. Соскучившись развлекаться изученіемъ города, онъ почти каждый день обѣдалъ у Годневыхъ и оставался обыкновенно тамъ до поздней ночи, какъ въ единственномъ уголку, гдѣ радушно его приняли и гдѣ все-таки онъ видѣлъ человѣчески-развитыхъ людей; а, можетъ быть, къ тому стала привлекать его и другая, болѣе существенная причина; но, во всякомъ случаѣ, проводя такимъ образомъ вечера, молодой человѣкъ отдалъ приличное вниманіе и службѣ; каждое утро онъ проводилъ въ училищѣ, гдѣ, какъ выра-

жался математикъ Лебедевъ, успѣлъ ужь показать *когти*: — первымъ его распоряженіемъ было — уволить Терку, и на мѣсто его былъ нанятъ молодцоватый вахмистръ. Въ четвергъ, который былъ торговымъ днемъ въ недѣль, многіе изъ учениковъ, мѣщанскихъ дѣтей, не приходили въ классъ и присутствовали на базарѣ: кто торговалъ въ давкѣ за батьку, а кто и такъ зѣвалъ. Калиновичъ, узнавъ объ этомъ, призвалъ отцовъ и объявилъ, что если они станутъ удерживать по торговымъ днямъ дѣтей, то онъ выключитъ ихъ. Тѣ думали, что новый смотритель подарочка хочетъ, сложились и общими силами купили двѣ головки сахару и фунтика два чаю и принесли все это ему на поклонъ, но были, конечно, выгнаны позорнымъ образомъ, и потомъ, когда, въ слѣдующій четвергъ снова нѣкоторые мальчики не явились, Калиновичъ на другой же день всѣхъ ихъ выключилъ — и ни просьбы, ни поклоны отцовъ не заставили его измѣнить своего рѣшенія. Въ продолженіе классовъ онъ сидѣлъ то у того, то у другаго изъ учителей, съ явною цѣлью слѣдить за способами ихъ преподаванія. Лебедевъ, толкуя таблицу извлеченія корней, не то чтобъ спутался, а позамялся немного и тотчасъ же послѣ класса позванъ былъ въ смотрительскую, гдѣ ему съ холодною вѣжливостью замѣчено, что учитель съ преподаваемою имъ наукою долженъ быть совершенно знакомъ, и что, при недостаткѣ свѣдѣній, лучше избрать какую-нибудь другаго рода службу. Звѣроловъ цѣлый мѣсяцъ не ходилъ за охотой и все повторялъ:

— Вотъ, — говорилъ онъ, потрясая своей могучей, совершенно-нечесаной головой! — долги зады! Какъ-бы

взять тебя, молокососа, да изъ хорошей винтовки шаркнуть пулей, такъ забылъ бы важничать!

— Румянцевъ до невѣроятности поддѣлывался къ новому начальнику. Онъ бѣгалъ каждое воскресенье поздравлять его съ праздникомъ, кланялся ему всегда въ поясъ, когда тотъ приходилъ въ классъ, и наконецъ, будто-бы даже, какъ замѣтили нѣкоторые школьники, проходилъ мимо смотрительской квартиры безъ шапки. Но всѣ эти исканія не достигали желаемой цѣли: Калиновичъ оставался съ нимъ сухъ и непривѣтливъ.

Впрочемъ, больше всѣхъ гроза разразилась надъ Экзархатовымъ, который крѣпился было мѣсяца четыре, но, получивъ январское жалованье, не вытерпѣлъ и выпилъ; домой пришелъ, однако, тихій и спокойный; но жена, по обыкновенію, все-таки начала его бранить и страшать, что пойдетъ къ новому смотрителю жаловаться.

— А! Яшка Калиновичъ, — воскликнулъ онъ, сжимая кулакъ и потрясая имъ, какъ трагическій актёръ: — боюсь я какого-нибудь Яшки Калиновича! Вретъ онъ! Онъ не узналъ меня: ему стыдно было поклониться Экзархатову — такъ знай же, что я презираю его еще больше — подлець! Я въ ноги поклонюсь Петру Михайлычу, а передъ нимъ на полвершка не согну головы!.. Онъ отрекся отъ стараго товарища — подлець! Ступай къ нему, змѣя подколодная, иди подъ крыло и покровительство тебѣ подобнаго Калиновича! — продолжалъ онъ, приближаясь къ женѣ; но та стала ужъ въ оборонительное положеніе и, вооружившись кочергою, кричала, въ свою очередь:

— Только тронь! только тронь! Такъ вотъ крюкомъ оба глаза и выворочу!

Двѣ младшія дѣвчонки, испугавшись за мать, начали ревѣть. На крикъ этотъ, пришелъ домовый хозяинъ, мѣщанинъ, и сталь-было унимать Экзархатова; но тотъ, принявъ грозный видъ, закричалъ на него:

— Плебей, иди вонъ!

Но плебей не шелъ. Экзархатовъ схватилъ его за шиворотъ и приподнял на воздухъ; но въ это время ему самому жена вцѣпилась въ галстухъ; дѣвчонки еще громче заревѣли... словомъ, произошла довольно-непріятная домашняя сцена, вслѣдствіе которой Эрзархатова, подхвативъ съ собой домохозяйина, отправилась съ жалобой къ смотрителю, все-про-все рассказала ему о своемъ озорникѣ и, чтобъ доказать, сколько онъ человекъ буйный, не скрыла и того, какія онъ про него, своего начальника, говорилъ поносныя слова. Это же самое подтвердилъ и хозяинъ дома. Калиновичъ выслушалъ ихъ очень внимательно и спокойно.

— Очень хорошо, распорядусь, — сказалъ онъ и велѣлъ имъ идти домой, а самъ тотчасъ же написалъ городничему отношеніе о производствѣ слѣдствія о буйныхъ и неприличныхъ поступкахъ учителя Экзархатова и, кромѣ того, донесъ, съ первою же почтою, объ этомъ директору. Когда это узналось, и когда глупой Экзархатовой растолковали, какой отвѣтственности подвергается ея мужъ, она опять побѣжала къ смотрителю, просила, кланялась ему въ ноги.

— Батюшка, http://mir.org.ru/пусти по міру! Мало

ли что у мужа съ женой бываетъ — не всѣ въ согласіи живутъ. У насъ съ нимъ эти побоища нерѣдко бывали—все сходило... Помилуй, отецъ мой!

Пришелъ и хозяинъ дома съ этой же просьбой.

— Я, сударь, говоритъ, не ищу; вотъ-тѣ Царица Небесная, не ищу; тѣмъ, что онъ человекъ добрый и далъ только тебѣ за извѣтъ, а ничего не ищу.

На всѣ эти просьбы Калиновичъ отвѣчалъ:

— Я ничего теперь больше не могу сдѣлать съ своей стороны,—и не сталъ больше слушать.

Экзархатова бросилась послѣ этого къ Петру Михайлычу и рассказала ему все, какъ было.

— Дура вы, сударыня, хоть и дама! Кутить да мутить только умѣете! — отвѣчалъ онъ ей.

— Батюшка, Петръ Михайлычъ, — если бы я это знала! Принимаючи отъ насъ просьбу, хоть бы вспыхнулъ: тихо да ласково выслушалъ, а самъ кровь хочеть пить—аспидъ этакой!

— То-то и есть, а меня такъ потатчикомъ называли, — проговорилъ Петръ Михайлычъ и пошелъ къ Калиновичу.

— Яковъ Васильичъ, отецъ и командиры! — говорилъ онъ входя:— что это вы затѣяли съ Экзархатовымъ? Плюньте, бросьте! Онъ ужь, ручаюсь вамъ, больше никогда не будетъ... Съ нимъ это, можетъ быть, черезъ десять лѣтъ случается... — солгалъ старикъ въ заключеніе.

— Я ничего не могу теперь сдѣлать, — отвѣчалъ Калиновичъ и объяснилъ, что онъ донесъ уже директору.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой!—говорилъ Петръ Михайлычъ: — какой вы молодой народъ вспылчи-

вый! Не разобравъ дѣла, бабы слушать — нехорошо... нехорошо... — повторилъ онъ съ досадою, и ушелъ домой, гдѣ цѣлый вечеръ сочинялъ въ директору письмо, въ которомъ, какъ прежній начальникъ, испрашивалъ милосердія Экзархатову и влялся, что тотъ ужь никогда не сдѣлаетъ въ другой разъ подобнаго проступка.

Ходатайство его было, по-возможности, успѣшно: Экзархатову сдѣлали строгій выговоръ и перевели въ другой городъ. Когда тотъ пришелъ прощаться, старикъ, кажется, приготовлялся было сдѣлать ему строгое внушеніе, но, увидѣвъ печальную фигуру своего любимца, вмѣсто всякаго наставленія, спросилъ, есть ли у него деньги на дорогу. Экзархатовъ покраснѣлъ и ничего не отвѣчалъ. Петръ Михайлычъ потихоньку и очень проворно сунулъ ему въ руку десять руб. серебромъ. Экзархатовъ, вмѣсто отвѣта хотѣлъ было поймать у него руку и поцѣловать, но Годневъ остерегся. Изъ перваго же города бѣднякъ прислалъ письмо, которое все было испещрено пятнами отъ слезъ. Читая его, Петръ Михайлычъ расчувствовался и самъ прослезился. Когда Настенька спросила его, что такое съ нимъ, онъ отвѣчалъ:

— Въ гробъ съ собой возьму это письмо! Царь Небесный проститъ мнѣ за него хоть одинъ изъ моихъ грѣховъ.

Вскорѣ пришелъ Калиновичъ и, замѣтивъ, что Петръ Михайлычъ въ волненіи, тоже спросилъ, что такое случилось. Настенька рассказала.

— Въ гробъ, сударь, возьму съ собой это письмо! — повторилъ и ему Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ въ отвѣтъ на это только переглянулся съ Настенькой, и оба слегка улыбнулись.

Вообще между старикомъ и молодыми людьми стали постоянно возникать споры по поводу всевозможныхъ житейскихъ случаевъ: исключали ли изъ службы какого-нибудь маленькаго чиновника, Петръ Михайлычъ обыкновенно говорилъ: «жаль, право жаль!» а Калиновичу, напротивъ, доставляло это даже какое-то удовольствіе.

— Съ нимъ не то бы еще надобно было сдѣлать, — замѣчалъ онъ.

— Эхъ, Яковъ Васильичъ! — возражалъ Петръ Михайлычъ: — семьянинъ, сударь! Чѣмъ теперь станетъ питаться съ семьей?

— Онъ дѣлалъ зло тысячамъ, такъ имъ однимъ съ его семьей можно пожертвовать для общей пользы, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Знаю-съ, — восклицалъ Петръ Михайлычъ: — да пострадать бы сначала, такъ, можетъ быть, и исправился бы!

Затѣвалась ли въ городѣ свадьба, или кто весело справлялъ именины, Петръ Михайлычъ всегда съ удовольствіемъ рассказывалъ объ этомъ: «люблю, какъ люди женятся и веселятся», — заключалъ онъ; а Калиновичъ съ Настенькой начнутъ обыкновенно пересмѣивать и доказывать, что все это очень пошло и глупо, такъ что старикъ выходилъ наконецъ изъ себя и даже прикрикивалъ, особенно на дочь, которая, въ свою очередь, не скрываясь и довольно дерзко, противорѣчила всѣмъ его мягкимъ и жизненнымъ убѣжденіямъ, но зато Калиновича слушала, какъ оракула, и соглашалась съ нимъ безусловно во всемъ

Когда Петръ Михайлычъ началъ въ своей семьѣ оуждать рѣзкія распоряженія молодатаго смотрителя по училищу, она горячо заступалась и говорила:

— Не можетъ же благородно-мыслящій человѣкъ терпѣть это спокойно!

Фразу эту она буквально заимствовала у Калиновича.

— Зло есть во всѣхъ,—возражалъ ей запальчиво Петръ Михайлычъ: — только мы у другихъ видимъ сучокъ въ глазу, а у себя бревна не замѣчаемъ.

— Что жь, папенька, неужели же Калиновичъ хуже всѣхъ этихъ господъ? — спрашивала Настенька съ насмѣшкой.

— Я не говорю этого, — отвѣчалъ уклончиво старикъ: — человѣкъ онъ умный, образованный, съ поведениемъ... Я его очень люблю; но сужу такъ, что молодъ еще, заносчивъ.

Не смотря на споры, Петръ Михайлычъ дѣйстви-тельно полюбилъ Калиновича, звалъ его каждый день обѣдать, и когда тотъ не приходилъ, онъ или посылалъ къ нему, или самъ отправлялся навѣдаться, не прихворнулъ-ли юноша.

На счетъ дальнѣйшихъ видовъ Пелагеи Евграфовны старикъ былъ тоже не прочь и, замѣчая, что Калиновичъ нравится Настенькѣ, любилъ по этому случаю потрунить.

— Кого ты ждешь, по комъ тоскуешь? — говорилъ онъ ей комическимъ голосомъ, когда она сидѣла у окна и прилежно смотрѣла въ ту сторону, откуда долженъ былъ придти молодой смотритель.

Настенькѣ было это досадно. Провожая однажды, вмѣстѣ съ капитаномъ, Калиновича, она долго еще

съ нимъ гуляла, и когда воротилась домой, Петръ Михайлычъ запѣлъ ей навстрѣчу:

«Какъ вчера своего милаго
Провожала далеко!»

Настенька вспыхнула.

— Что это, папенька, за шутки? Это обидно! — проговорила она и ушла въ свою комнату.

Черезъ полчаса къ ней явился-было капитанъ:

— Братецъ очень огорченъ, что вы сердитесь на нихъ. Подите помиритесь и попросите у нихъ прощенія, — проговорилъ онъ.

Но Настенька не пошла и самому капитану сказала, чтобъ онъ оставилъ ее въ покоѣ. Тотъ посмотрѣлъ на нее съ грустною улыбкою и ушелъ.

Вообще Флегонтъ Михайлычъ въ послѣднее время началъ держать себя какъ-то странно. Онъ ни на шагъ обыкновенно не оставлялъ племянницы, когда у нихъ бывалъ Калиновичъ: если Настенька сидѣла съ тѣмъ въ гостиной — и онъ былъ тутъ-же; переходили молодые люди въ залу — и онъ, ни слова не говоря, а только покуривая свою трубку, слѣдовалъ за ними; но болѣе того ничего не выражалъ и не высказывалъ.

Частыя посѣщенія молодаго зрителя къ Годневымъ, конечно, были замѣчены въ городѣ и, какъ водится, перетолкованы. Первая объ этомъ пустила ноту приказничиха, которая совершенно перемѣнила мнѣнiе о своемъ постояльцѣ — и произошло это вслѣдствiе того, что она принялась было дѣлать къ нему вѣждодневные набѣги, съ цѣлью получить приличное угощенiе; но, къ удивленiю ея, Калиновичъ не только

не угощалъ ее, но даже не сажалъ и очень холодно спрашивалъ: «что вамъ угодно?»

— Подлинно, матери мой, человекъ не узнаешь, пока пудъ соли не съѣшь,—говорила она:—толи ужъ мнѣ на первыхъ порахъ не нравился мой постоялецъ, а вышелъ прескупой-скупой мужчина. Кусочка, матери мой, не уволить дома съѣсть, бѣлаго хлѣбца къ чайку не купить. Все пустымъ брандыхлыстомъ брюхо наливаетъ; а коли дома теперь сидитъ—какъ собака голодный, такъ безъ ужина и ляжетъ. Только и кормится, что у Годневыхъ: ну а тѣ, тоже знаемъ, изъ чего прикармливаютъ. Дѣвка-то, говорятъ, на стѣну лѣзетъ—такъ ей за этого жениха желается, и дай Богъ ей, конечно: кто того изъ женщинъ не желаетъ?

Всѣ эти слухи глубоко поразили сердце все еще влюбленнаго Медіокритскаго. Ровно трои сутки молодой столоначальникъ пилъ съ горя въ трактирѣ съ пріятелемъ своимъ, писцомъ казначейства, Звѣздкинымъ, который былъ при немъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника: повѣренный во всѣхъ его сердечныхъ тайнахъ, онъ обыкновенно курилъ на его счетъ табакъ и жуировалъ въ трактирахъ, когда у Медіокритскаго случались деньги. Разговоръ между пріятелями былъ, какъ видно, на этотъ разъ задушевный. Медіокритскій держалъ въ рукахъ гитару. Потрынькивая на ней въ раздумьѣ, онъ частъ-отъ-часу становился мрачнѣй и начиналъ ужъ, какъ говорится, «погасать».

— Саша!.. другъ!.. сыграй что-нибудь, отведи мою душу! — началъ Звѣздкинъ, тоже сильно выпившій.

Медіокритскій, вмѣсто отвѣта, взялъ въ прищипку на гитарѣ аккордъ и запѣлъ пѣсню собственнаго сочиненія:

«Знаешь дѣвушку или нѣтъ,
Черноглазу, черноброву?
Ахъ, гдѣ, гдѣ, гдѣ?
Во Дворянской слободѣ.

•Какъ та дѣвушка живетъ,
Съ кѣмъ любовь свою ведетъ?
Ахъ, гдѣ, гдѣ, гдѣ?
Во Дворянской слободѣ.

«Ходить къ ней, знать, молодець,
Не бояринъ, не купецъ.
Ахъ, гдѣ, гдѣ, гдѣ?
Во Дворянской слободѣ».

— А прочее сами понимайте и на усъ мотайте!— заключилъ онъ и, взъерошивъ себѣ еще больше волосы, спросилъ двѣ пары пива.

— Слушай, Саша! Я тебя люблю и все знаю, и понимаю,— продолжалъ Звѣздкинъ.

— погоди, постой! — началъ Медіокритскій, ударивъ себя въ грудь:— когда такъ, правду говорить: она и со мной амурничала.

— Знаю, — подтвердилъ Звѣздкинъ.

— Постой! — перебилъ Медіокритскій, поднявъ руку кверху:— голова моя отчаянная, въ передѣлкахъ я бывалъ!.. погоди! Я ее оконфужу!.. передъ публикой оконфужу!— И затѣмъ что-то шепнулъ другу на ухо.

— Важно, Саша! Слушай! Ты меня тоже знаешь: валяй, братъ!.. Коли я тебѣ это говорю, ну, и баста! — подтвердилъ Звѣздкинъ.

— И баста! — подтвердилъ Медіокритскій, совершенно ужь потухающимъ голосомъ.

VII.

Невдолгъ послѣ описанныхъ мною сценъ, Калиновичу принесли съ почты объявленіе о страховомъ письмѣ и о посылкѣ на его имя. Всегда спокойный и ровный во всѣхъ своихъ поступкахъ, онъ пришелъ на этотъ разъ въ сильное волненіе: тотчасъ же пошелъ скорыми шагами на почту и началъ, что есть силы, звонить въ колокольчикъ. Почтмейстеръ отворилъ, по обыкновенію, двери самъ; но, увидѣвъ молодаго смотрителя, очень сухо спросилъ своимъ мрачнымъ голосомъ:

— Что вамъ угодно?

Калиновичъ сталъ просить выдать ему письмо.

— Не могу, сударь, не могу: сегодня день почтовый, — возразилъ спокойно почтмейстеръ, идя въ залу, куда за нимъ слѣдовалъ, почти насильно врываясь, Калиновичъ.

— Не могу, сударь, не могу! — повторялъ почтмейстеръ: — вы вотъ сами отказали мнѣ въ книжкахъ, аки бы не приняли еще бібліотеки, и я не могу: законъ не обязываетъ меня производить сегодня выдачу.

Калиновичъ извинялся и увѣрялъ, что онъ сейчасъ же пойдетъ въ училище и пришлетъ какихъ только угодно ему книгъ.

— Дорога, сударь, милостыня въ минуту скудости, — возражалъ почтмейстеръ: — вы меня, боль-

наго человѣка, въ минуту душевной и тѣлесной скорби, не утѣшили единственнымъ моимъ развлеченіемъ.

Калиновичъ продолжалъ извиняться и просить съ совершенно несвойственнымъ ему тономъ униженія, такъ что старикъ уставилъ на него пристальный взглядъ и нѣсколько минутъ какъ-бы пыталъ его глазами.

— Что же васъ такъ интересуеть это письмо? — заговорилъ онъ: — завтра вы будете имѣть его въ рукахъ вашихъ. Къ чему такое домогательство?

— Это письмо, — отвѣчалъ Калиновичъ: — отъ матери моей; она больна и извѣщаетъ, можетъ быть, о своихъ послѣднихъ минутахъ... Вы сами отецъ и сами можете судить, какъ тяжело умирать, когда единственный сынъ не хочетъ закрыть глазъ. Я, вѣроятно, сейчасъ же долженъ буду ѣхать.

Послѣднія слова смягчили почтмейстера.

— Если такъ, то, конечно... въ наше время, когда возстаетъ сынъ на отца, братъ на брата, дщери на матерей, проявленіе въ васъ сыновней преданности можно назвать искрой небесной!... О, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Не смѣю, сударь, отказывать вамъ. Пожалуйте! — проговорилъ онъ и повелъ Калиновича въ контору.

— Какой ваша матушка имѣетъ прекрасный почеркъ! — сказалъ онъ, осматривая внимательно конвертъ и посылку.

— Это одинъ родственникъ надписывалъ, — отвѣчалъ Калиновичъ, торопливо беря то и другое и кланяваясь.

— Книжечками не забудьте меня за мою послугу!— говорилъ ему вслѣдъ почтмейстеръ.

Калиновичъ что-то пробормоталъ ему въ отвѣтъ и, сойдя проворно съ лѣстницы, началъ читать письмо на ходу, но, не кончивъ еще первой страницы, судорожно его смялъ и положилъ въ карманъ.

Возвратившись домой, онъ прямо прошелъ въ свой кабинетъ и сѣлъ въ какомъ-то изнеможеніи. Жалко было видѣть его въ эти минуты: обычно сповойное и нѣсколько холодное лицо его исказилось выраженіемъ полнаго отчаянія, пульсовыя жилы на вискахъ напряглись — точно вся кровь прилила къ головѣ. Видимо, что это былъ для моего героя одинъ изъ тѣхъ жизненныхъ щелчковъ, которые сразу рушатъ и ломаютъ у молодости дорогія надежды, отнимаютъ силу воли, силу къ дѣятельности, вѣру въ самого себя и дѣлаютъ потомъ человѣка *тряпкою*, *дряню*, который видитъ впереди только необходимость жить, а зачѣмъ и для чего, самъ не знаетъ. Въ продолженіе всего этого дня Калиновичъ не пошелъ къ Годневымъ, хотя и приходилъ-было оттуда кучеръ звать его пить чай. Весь вечеръ и большую часть дня онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатамъ и пилъ безпрестанно воду, а поутру, придя въ училище, такъ посмотрѣлъ на стоявшаго въ прихожей сторожа, что у того колѣни задрожали и руки вытянулись по швамъ.

У Румянцева, какъ нарочно, произошелъ въ этотъ день большой беспорядокъ въ классѣ. Извѣстный ужъ намъ Калашниковъ, сидѣвшій въ третьемъ классѣ третій годъ, вдругъ изобрѣлъ прозвать пре-

подавателя словесности *красноглазымъ зайцемъ* и предложилъ классу потравить его: «а коли кто, говоритъ, не хочетъ, такъ сказывайся, я тому сейчасъ ребра перелому», и всѣ, конечно, согласились. Румянцевъ пришелъ, по обыкновенію, напомаженный, причесанный, и, жеманясь, сѣлъ за свой столикъ, какъ вдругъ Калашниковъ, наклонивъ голову подъ карту, прокричалъ басомъ:

— Ату его!

Румянцевъ взглянулъ въ его сторону.

— Ату его! ату его! — слышались дисканты на другомъ концѣ.

Словесникъ вскочилъ:

— Господа! что это значить? — проговорилъ онъ.

— Ату его! ату его! — отвѣчала ему вся первая скамейка и наконецъ всѣ:

— Ату его! ату его!

Румянцевъ выбѣжалъ и бросился съ жалобой къ смотрителю. Калиновичъ пришелъ: пересѣкъ весь классъ, причемъ Калашникову дано было такихъ двѣсти розогъ, что тотъ, не смотря на крѣпкое тѣло-сложеніе, нѣсколько разъ просилъ во время операціи холодной воды, а потомъ, прямо изъ училища, не заходя домой, убѣжалъ куда-то совсѣмъ изъ города. Наставникъ тоже не спасся. Калиновичъ позвалъ его въ смотрительскую и цѣлый часъ пудрилъ ему голову, очень основательно доказывая, что, если ученики общей массой дурятъ, стало быть, учитель и глупъ, и безхарактеренъ. Робкій словесникъ, возвратясь домой, проплакалъ, вмѣстѣ съ матерью, цѣлую ночь, не зная, что потомъ будетъ съ его бѣдной головой.

Между тѣмъ, у Годневыхъ ожидали Калиновича съ нетерпѣніемъ и нѣкоторымъ безпокойствомъ. Въ урочный часъ ужь капитанъ явился и, по обыкновенію, поздоровавшись съ братомъ, усѣлся на всегдашнее свое мѣсто и закурилъ трубку.

— Настя! а Настя!— крикнулъ Петръ Михайлычъ.

— Что, папаша?— отозвалась та.

— Поди сюда, другъ мой.

Настенька вышла въ новомъ платьѣ и въ завитыхъ локонахъ. Съ нѣкотораго времени она стала очень заниматься своимъ туалетомъ.

— Да что Калиновичъ придетъ къ намъ сегодня, или нѣтъ? Здоровъ ли онъ? Не послать ли къ нему?— сказалъ Петръ Михайлычъ.

— Я посылала къ нему, папаша: придетъ, я думаю,— отвѣчала Настенька и сѣла у окна, изъ котораго видно было зданіе училища.

Съ нѣкотораго времени всякій разъ, когда Петръ Михайлычъ собирался послать къ Калиновичу, оказывалось, что Настенька ужь посылала.

Часа въ два молодой смотритель явился, наконецъ, мрачный. Онъ небрежно кивнулъ головой капитану, поклонился Петру Михайлычу и дружески пожалъ руку Настенькѣ.

— Что вы такіе сегодня?— сказала она, когда Калиновичъ сѣлъ около нея и задумался.

— Мальчишки вѣрно разсердили!— подхватилъ Петръ Михайлычъ.— Они меня часто выводили изъ терпѣнія; разстроятъ, бывало, хуже большихъ. Выпейте-ка водочки, Яковъ Васильичъ: это успокоитъ

вась. Эй, Пелагея Евграфовна, пожалуйста намъ хмѣльнаго!

Водка была подана, но Калиновичъ отказался.

— Отчего вы не хотите сказать, что такое съ вами? Это странно съ вашей стороны, — сказала ему Настенька.

— Что-жь вамъ такъ любопытно? Очень обыкновенный случай: новая неудача! — проговорилъ онъ какъ-бы нехотя.

— Что такое? — спросила Настенька съ безпокойствомъ, но Калиновичъ вздохнулъ и опять на нѣкоторое время замолчалъ.

— Хотъ бы одинъ разъ во всю жизнь судьба потѣшила! — началъ онъ: — даже изъ дѣтства, о которомъ, я думаю, у всѣхъ остаются пріятныя и свѣтлыя воспоминанія, я вынесъ только самыя грустныя, самыя тяжелыя впечатлѣнія.

Калиновичъ прежде никогда ничего не говорилъ о себѣ, кромѣ того, что онъ отца и матери лишился еще въ дѣтствѣ.

— Сколько я себя ни помню, — продолжалъ онъ, обращаясь больше къ Настенькѣ: — я живу на чужихъ хлѣбахъ у *благодѣтеля* (на послѣднемъ словѣ Калиновичъ сдѣлалъ удареніе), у *благодѣтеля*, — повторилъ онъ съ гримасою, — который разорилъ моего отца, и когда тотъ умеръ съ горя, такъ онъ, по великодушію своему, призрѣлъ меня, сироту, а въ сущности приставилъ пѣстуномъ къ своимъ двумъ сыновьямъ, болванамъ, какихъ когда-либо свѣтъ создавалъ.

— А! скажите пожалуйста! — произнесъ Петръ Михайлычъ.

— И между-тѣмъ, — продолжалъ Калиновичъ,

опять обращаясь болѣе къ Настенькѣ:—я жилъ по-
среди роскоши, въ товариществѣ съ этими глупыми
мальчишками, которыхъ окружала любовь, для удо-
вольствія которыхъ изобрѣтали всевозможныя сред-
ства... которымъ на сто рублей въ одинъ разъ по-
купали игрушки, и я обязанъ былъ смотрѣть, какъ
они играютъ этими игрушками, не смѣя дотро-
нуться ни до одной изъ нихъ. Мною они обыкно-
венно располагали, какъ вещью: они закладывали
меня въ тележку, которую я долженъ былъ возить,
и когда у меня не хватало силы, они меня щелкали;
и если я не вытерпывалъ и осмѣливался заплакать,
меня же сажали въ темную комнату, чтобъ отучить
отъ капризовъ. Лакеи, и тѣ находили какое-то осо-
бенное удовольствіе обносить меня за столомъ ку-
шаньями и не чистить мнѣ ни сапоговъ, ни платья.

— Это ужасно! — проговорила Настенька.

— Господи помилуй! — воскликнулъ Петръ Ми-
хайлычъ.

— Интереснѣе всего было, — продолжалъ Кали-
новичъ помолчавъ: — когда мы начали подростать и
насъ стали учить: дурни эти мальчишки ничего не
дѣлали, ничего не понимали. Я за нихъ переводилъ,
рѣшалъ ариѳметическія задачи и въ то время, когда
гости и родители восхищались ихъ успѣхами, обо
мнѣ обыкновенно рассказывалось, что я учусь тоже
недурно, но больше беру прилежаніемъ.. Словомъ,
постоянное нравственное униженіе!

Петръ Михайлычъ только разводилъ руками. На-
стенька задумалась. Капитанъ не такъ мрачно смо-
трѣлъ на Калиновича. Вообще онъ возбудилъ сво-
имъ рассказомъ къ себѣ живое участіе.

— Я, по-крайней-мѣрѣ, Яковъ Васильичъ, радуюсь,— заговорилъ Петръ Михайлычъ,— что Богъ привелъ васъ кончить курсъ въ университетѣ.

Калиновичъ горько улыбнулся.

— Курсъ кончить! — произнесъ онъ: — надобно спросить, чего это мнѣ стоило. Какъ нарочно все случилось: этотъ благодѣтель мой, здоровый какъ быкъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, помираетъ, и пока еще онъ былъ живъ, хоть скудно, но все-таки совѣсть заставляла его оплачивать мой столъ и квартиру, а тутъ и того не стало: за какой-нибудь полтинникъ долженъ былъ я бѣгать на уроки съ одного конца Москвы на другой и то, слава Богу, когда еще было подъ-руками; но проходили мѣсяцы, когда сидѣлъ я безъ обѣда, въ холодной комнатѣ, брался переписывать по гривеннику съ листа, чтобъ имѣть возможность купить двѣ, три булги въ день.

— Ужасно! — повторила Настенька.

— Именно ужасно! — подхватилъ Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ вздохнулъ и продолжалъ:

— Отстрадалъ, наконецъ, четыре года. Вотъ, думаю, теперь вышелъ кандидатомъ, дорога всюду открыта... Но... чтобъ успѣвать въ жизни, видно, надобно не кандидатство, а искательство и подличанье, на которое, къ несчастью, я неспособенъ. Моихъ же товарищей, идіотовъ почти, послали и за границу, и понадѣлили Богъ-знаетъ чѣмъ, потому что они забѣгали къ профессорамъ съ задняго крыльца и цѣловали ручки у ихъ супругъ, нѣмецкихъ кухарокъ; а мнѣ выпало на долю это смотри-

тельство, въ которомъ я окончательно долженъ погрязнуть и задохнуться.

— Да, да, какое ужь это для васъ мѣсто! — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — сколько я сужу, оно вамъ не по характеру, да и мало по вашимъ способностямъ.

— Грустно и тошно становится! — почти воскликнулъ Калиновичъ, ударивъ себя въ грудь. — Наконецъ злора беретъ, когда оглянешься на свое прошлое: хоть бы одна осуществившаяся надежда! Неблагодарные труды и вѣчныя лишеныя — вотъ все, что дала мнѣ жизнь!.. Какъ хотите, съ какимъ бы человѣкъ ни былъ рожденъ овечьимъ характеромъ, невольно начнетъ ожесточаться!.. И вы, Петръ Михайлычъ, еще часто меня укоряете за безсердечіе! Но, Боже мой! какъ же я стану питать къ людямъ сожалѣніе, когда большая часть изъ нихъ страдаютъ или потому, что безнравственны, или потому, что дѣлали глупости, наконецъ лѣнивы, небрежны къ себѣ. Я ни въ чемъ этомъ не виноватъ и все-таки страдаю... я хочу и буду вымещать на порочныхъ людяхъ то, что самъ несу безвинно.

При послѣднихъ словахъ лицо молодаго человѣка приняло какое-то ожесточенное выраженіе.

— Вы совершенно правы въ вашихъ чувствахъ, — сказала Настенька.

— Я, сударь, не осуждаю васъ, а желаю только, чтобъ Господь Богъ умирилъ ваше сердце — только! — проговорилъ Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, ни слова не говоря. Хозяева тоже молчали, какъ-бы боясь прервать его размышленія.

— Что-жь васъ такъ сегодня именно встревожило? — проговорила Настенька голосомъ, полнымъ участія.

— То, что я не говорилъ вамъ, но, думая хоть какимъ-нибудь путемъ выбиться, — написалъ повѣсть и послалъ ее въ Петербургъ, въ одну редакцію, гдѣ она провалялась около года, и теперь получилъ назадъ при этомъ письмѣ. Не хотите ли полюбопытствовать и прочесть? — проговорилъ Калиновичъ и бросилъ изъ кармана на столъ письмо, которое Петръ Михайлычъ взялъ и сталъ-было читать про себя.

— Читайте, папенька, вслухъ! — проговорила съ досадою Настенька.

Петръ Михайлычъ началъ:

«Любезный другъ.

«Ты, я думаю, проклинаешь меня за мое молчаніе, хоть я и не виноватъ: повѣсть твою я сейчасъ же снесъ по назначенію, но отвѣтъ получилъ только на дняхъ. Мнѣ возвратили ее съ такимъ приговоромъ, что редакція запасена матеріаломъ ужь на дѣлный годъ. Не огорчайся этой неудачей: романъ твой, по моему, очень хорошъ; но вся штука въ томъ, что редакціи у насъ въ родѣ какихъ-то святилищъ, въ которыя доступъ простымъ смертнымъ невозможенъ, или проще сказать—у редактора есть свой кружокъ пріятелей, съ которыми онъ имѣетъ свои, конечно, очень выгодные для него денежные счеты. Они наполняютъ у него всѣ рубрики журнала, производя каждый изъ среды себя, посредствомъ взаимнаго куренія, въ гени; изъ этого ты можешь понять, что

пускать имъ новыхъ людей не для чего; кто бы ни былъ, посылая свою статью, смѣло можетъ быть увѣренъ, что ее не прочтутъ, и она проваляется съ старымъ хламомъ, какъ случилось и съ твоимъ романомъ.»

Старикъ не въ состояніи былъ читать далѣе и бросилъ письмо.

— Какъ же редакторъ можетъ не прочесть? — воскликнулъ онъ съ запальчивостью: — въ этомъ его прямое назначеніе и обязанность.

— Его назначеніе и обязанность набивать свой карманъ, — сказалъ Калиновичъ.

— Именно! — повторилъ Петръ Михайлычъ. — Послѣ этого они не проводники образованія, а алтынники; послѣ этого имъ бы въ лавкѣ сидѣть, а не словесностью заниматься!... Возбранять ходъ новымъ дарованіямъ — тѣфу!

Калиновичъ продолжалъ ходить взадъ и впередъ.

— Послушайте, вы прочтете намъ вашъ романъ? — сказала Настенька.

— Пожалуй, какъ-нибудь выберемъ время, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Чего тутъ выбирать!... — откладывать нечего: извольте сегодня же намъ прочесть. Я вотъ немного сосну, а вы, между-тѣмъ, достаньте вашу тетрадку, — подхватилъ Петръ Михайлычъ.

— Я за тетрадю, папенька, пошлю Катю, — сказала Настенька: — а сами вы не должны ходить, безъ васъ найдутъ, — прибавила она Калиновичу.

— Хорошо, — отвѣчалъ тотъ.

Послѣ обѣда Петръ Михайлычъ тотчасъ от-

правился въ свой кабинетъ, а Настенька сѣла рядомъ и довольно близко около Калиновича.

— Вы давно написали вашъ романъ? — сказала она.

— Года полтора, — отвѣчалъ тотъ.

— А нынче вы пишете что-нибудь?

— Пишу и нынче, — отвѣчалъ Калиновичъ съ разстановкой.

— Что-жь вы нынче пишете?

— Знакомое вамъ.

— Знакомое мнѣ? — повторила Настенька потупившись:—вы и это должны намъ прочесть: это для меня еще интереснѣе, — прибавила она.

— Оно еще не кончено.

— Отчего?

— Оттого, что не отъ меня зависитъ: я не знаю, чѣмъ еще кончится.

— А я думаю, что вы должны знать.

— Нѣтъ, не знаю... — отвѣчалъ Калиновичъ.

Такими намеками молодые люди говорили, вслѣдствіе присутствія капитана, который и не думалъ идти къ своимъ птицамъ, а преспокойно усѣлся тутъ же, въ гостиной, развернулъ книгу и будто-бы читалъ, закуривая, по-крайней-мѣрѣ, шестую трубку. Настенька начала съ досадою отмахивать отъ себя дымъ.

— Вашъ стражъ не оставляетъ васъ, — сказалъ Калиновичъ по-французски.

— Несносный! — отвѣчала она тихо и съ маленькой гримасой, а потомъ, обратившись къ дядѣ, сказала:

— Что вы, дяденька, за охотой не ходите! Мнѣ

очень хочется дичи... хоть бы сходили и убили что-нибудь.

— Ружье въ починку отдалъ... попортилось... — отвѣчалъ капитанъ.

— Возьмите у Лебедева.

— Ихъ дома, кажется, нѣтъ-съ: — они верстъ за тридцать на облаву пошли.

— Нѣтъ, онъ дома: сегодня былъ въ училищѣ, — возразилъ Калиновичъ.

Капитанъ покраснѣлъ.

— Къ ихнимъ ружьямъ я не привыкъ-съ, мнѣ изъ нихъ ничего не убить-съ! — отвѣчалъ онъ заикаясь.

Понятно, что капитанъ безбожно лгалъ. Настенька сдѣлала нетерпѣливое движеніе, и когда подошла къ ней Діанка и, положивъ, въ изъявленіе своей ласки, на колѣни ей морду, занесла-было туда же и лапу, она вдругъ, чего прежде никогда не бывало, ударила ее довольно-сильно по головѣ, — проговоря:

— Ваша собака, дяденька, вѣчно измараешь мнѣ платье.

— Венез-иси! — сказалъ капитанъ.

Діанка посмотрѣла съ удивленіемъ на Настеньку, какъ-бы не понимая, за что ее треснули, и подошла къ своему патрону.

— Иси, кушъ! — повторилъ строго капитанъ, и Діанка смиренно улеглась у его ногъ.

Напрасно, въ продолженіе получаса, молодые люди молчали, напрасно заговаривали о предметахъ, совершенно чуждыхъ для капитана: онъ не трогался съ мѣста и продолжалъ смотрѣть въ книгу.

— Есть съ вами папиросы? — сказала наконецъ Настенька Калиновичу.

— Есть, — отвѣчалъ онъ.

— Дайте мнѣ.

Калиновичъ подалъ.

— А сами хотите курить?

— Недурно.

— Пойдемте, я вамъ достану огня въ моей комнатѣ, — сказала она и пошла. Калиновичъ послѣдовалъ за ней.

Войдя въ свою комнату, Настенька какъ-бы случайно притворила дверь.

Капитанъ, оставшись одинъ, сидѣлъ нѣкоторое время на прежнемъ мѣстѣ, потомъ вдругъ всталъ и на цыпочкахъ, точно подкрадываясь къ чуткой дичи, подошелъ къ дверямъ племянницыной комнаты и приложилъ глазъ къ замочной скважинѣ. Онъ увидѣлъ, что Калиновичъ сидѣлъ около маленькаго столика, потупя голову, и курилъ; Настенька помѣщалась напротивъ него и пристально смотрѣла ему въ лицо.

— Вы не можете говорить, что у васъ нѣтъ ничего въ жизни! — говорила она вполголоса.

— Что-жь у меня есть? — спросилъ Калиновичъ.

— А любовь, — отвѣчала Настенька: — воторая, вы сами говорите, дороже для васъ всего на свѣтѣ. Неужели она не можетъ васъ сдѣлать счастливымъ безъ всего... одна... сама собою?

— По моему характеру и по моимъ обстоятельствамъ надобно, чтобъ меня любили слишкомъ много и даже слишкомъ безразсудно! — отвѣчалъ Калиновичъ и вздохнулъ.

Настенька покачала головой.

— Такъ неужели еще мало васъ любить? Не грѣхъ ли вамъ, Калиновичъ, это говорить, когда нѣтъ минуты, чтобъ не думали о васъ; когда всѣ радости, все счастье въ томъ, чтобъ видѣть васъ, когда хотѣли бы быть первой красавицейъ въ мірѣ, чтобъ нравиться вамъ — а все-еще васъ мало любятъ! Неблагодарный вы человѣкъ послѣ этого!

Капитанъ покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и сталъ еще внимательнѣе слушать.

— Любовь доказывается жертвами, — сказалъ Калиновичъ, не перемѣняя своего задумчиваго положенія.

— А развѣ вамъ не готовы принести жертву, какую вы только потребуете? Еслибъ для вашего счастья нужна была жизнь, я сейчасъ отдала бы ее съ радостью и благословила бы судьбу свою... — возразила Настенька.

Калиновичъ улыбнулся.

— Это говорятъ всѣ женщины, куда дѣло не дойдетъ до первой жертвы, — проговорилъ онъ.

— Зачѣмъ же говорить, когда не чувствуешь? Съ какою цѣлью? — спросила Настенька.

— Изъ кокетства...

— Нѣтъ, Калиновичъ, не говорите тутъ о кокетствѣ! Вы вспомните, какъ васъ полюбили? Въ первый же день какъ васъ увидѣли; а черезъ недѣлю вы ужъ знали объ этомъ... Это скорѣй сумашествіе, но никакъ не кокетство.

Проговоря это, Настенька отвернулась; на глазахъ ея показались слезы.

— Помиримтесь! — сказалъ Калиновичъ, беря и

цѣлуя ея руки. Я знаю, что я, можетъ-быть, неправъ, неблагодаренъ, — продолжалъ онъ, не выпуская ея руки:—но не обвиняйте меня много: одна любовь не можетъ наполнять сердце мужчины, а тѣмъ болѣе моего сердца, потому-что я честолюбивъ, страшно-честолюбивъ, и знаю, что честолюбіе не безразсудное во мнѣ чувство. У меня есть умъ, есть знаніе, есть, наконецъ, сила воли, какая немногимъ дается, и еслибы хоть разъ шагнуть удачно впередъ, я ушелъ бы далеко.

— Вы должны быть литераторомъ и будете имъ!— проговорила Настенька.

— Не знаю... врядъ-ли! Между людьми есть счастливыя и несчастныя. Посмотрите вы въ жизни: одинъ и глупъ, и бездаренъ, и лѣнивъ, а между-тѣмъ ему плыветъ счастье въ руки, тогда-какъ другой каждый ничтожный шагъ къ успѣху, каждый кусокъ хлѣба долженъ завоевывать самымъ усиленнымъ трудомъ: и я, кажется, принадлежу къ послѣднимъ. — Сказавъ это, Калиновичъ взялъ себя за голову, облокотился на столъ и снова задумался.

— Послушайте, Калиновичъ, что-жъ вы такъ хандрите? Это мнѣ грустно! — проговорила Настенька вставая. — Не извольте хмуриться — слышите? Я вамъ приказываю! — продолжала она, подходя къ нему и кладя обѣ руки на его плечи: извольте на меня смотрѣть весело. Смотрите же на меня: я хочу видѣть ваше лицо.

Калиновичъ взглянулъ на нее, взялъ тихонько ее за талію, привлекъ къ себѣ и поцѣловалъ въ голову.

Съ лица капитана капалъ крупными каплями

потъ: руки дѣлали какія-то судорожныя движенія и наконецъ голова затекла, такъ что онъ принужденъ былъ приподняться на нѣсколько минутъ, и когда, потомъ, взглянулъ въ скважину, Калиновичъ, обнявъ Настеньку, цѣловалъ ей лицо и шею...

— Анастаси... — говорилъ онъ страстнымъ шопотомъ, и дальше — увы! тщетно капитанъ старался прислушиваться: — Калиновичъ заговорилъ по-французски.

— Зачѣмъ?.. — отвѣчала Настенька, скрывая на груди его свое пылавшее лицо.

— Но, другъ мой... — продолжалъ Калиновичъ, и опять заговорилъ по-французски.

— Нѣтъ, это невозможно! — отвѣчала Настенька выпрямившись.

— Отчего же?

— Такъ... — отвѣчала Настенька, снова обнявъ Калиновича и снова прижимаясь къ его груди: — я тебя боюсь, — шептала она: — ты меня погубишь.

— Ангелъ мой! сокровище мое! — говорилъ Калиновичъ, цѣлуя ее, и продолжалъ по-французски... Настенька слушала его внимательно.

— Нѣтъ, — сказала она, и вдругъ отошла и сѣла на прежнее свое мѣсто.

Лицо Калиновича въ минуту измѣнилось и приняло строгое выраженіе. Онъ началъ опять говорить по-французски и говорилъ долго.

— Нѣтъ! — повторила Настенька и пошла къ дверямъ, такъ что капитанъ едва успѣлъ отскочить отъ нихъ и уйти въ гостиную, гдѣ уже сидѣлъ Петръ Михайлычъ. Настенька вошла вслѣдъ за нимъ: лицо ея горѣло, глаза блистали.

— Гдѣ же нашъ литераторъ? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Онъ, я думаю, сейчасъ придетъ, — отвѣчала Настенька, сѣла къ окну и открыла его.

— Полно, душа моя! Чтѣ это ты дѣлаешь? Холодно, — замѣтилъ ей Петръ Михайлычъ.

— Нѣтъ, папаша, ничего, позвольте... мнѣ душно... — отвѣчала Настенька.

Вошелъ Калиновичъ.

— Милости просимъ! — портфель вашъ здѣсь, принесенъ. Извольте садиться и читать, а мы будемъ слушать, — сказалъ Петръ Михайлычъ.

— Нѣтъ, Петръ Михайлычъ, извините меня: я сегодня не могу читать, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Это что такое? Отчего не можете? — спросилъ съ удивленіемъ Петръ Михайлычъ.

— Что-то нездоровится; въ другое время какъ-нибудь.

— Полноте, что за вздоръ! Неужели васъ эти редакторы такъ опечалили? Врутъ они: мы заставимъ ихъ напечатать! — говорилъ старикъ. — Настенька! — обратился онъ къ дочери: — уговори хоть ты какъ-нибудь Якова Васильича; чтѣ это такое?

Настенька ничего не сказала и только посмотрѣла на Калиновича.

— Рѣшительно сегодня не могу читать, — отвѣчалъ тотъ и, взявъ портфель, шляпу и, поклонившись всеѣмъ общимъ поклономъ, ушелъ.

— Вотъ тебѣ и разъ! — проговорилъ Петръ Михайлычъ: — что съ нимъ сдѣлалось! Настенька, не знаешь ли ты, отчего онъ не хотѣлъ читать!

— Онъ на меня, папенька, разсердился: я ска-

зада ему, что онъ не можетъ быть литераторомъ, — отвѣчала Настенька.

При этомъ отвѣтѣ ея, капитанъ какъ-то странно откашлянулся.

— Экая ты, душа моя! зачѣмъ это? Онъ и такъ разстроены, а ты его больше сердишь!

— Очень нужно! Пускай сердится! Я сама на него сердита, — сказала Настенька и, напивъ всѣхъ торопливо чаемъ, сейчасъ же ушла къ себѣ въ комнату.

Два брата, оставшись вдвоемъ, долго сидѣли молча. Петръ Михайлычъ, отъ скуки, читалъ въ старыхъ газетахъ извѣстія о пріѣхавшихъ и уѣхавшихъ изъ столицы.

— Гдѣ Настенька? — спросилъ онъ наконецъ.

Капитанъ молча всталъ, вышелъ и тотчасъ же возвратился.

— У себя въ спальнѣ, — проговорилъ онъ.

— Что-жъ она тамъ дѣлаетъ? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Лежатъ внизъ лицомъ въ постелькѣ, — отвѣчалъ капитанъ.

Петръ Михайлычъ покачалъ головой.

— Разсорились, видно. Эхъ, молодость, молодость! — проговорилъ онъ.

Капитанъ, въ продолженіе всего вечера, переменилъ языкъ, какъ бы намѣреваясь что-то такое сказать, и ничего, однако, не сказалъ.

VIII.

Прошло два дня. Калиновичъ не являлся къ Годневымъ. Настенька все сидѣла въ своей комнатѣ и

плакала. Пелагея Евграфовна обратила наконецъ на это вниманіе.

— Что это барышня-то у насъ все плачетъ! — сказала она Петру Михайлычу.

— Поссорились съ молодцомъ-то, такъ и горюють оба: тотъ ходитъ мимо, какъ темная ночь, а эта плачетъ.

Пелагея Евграфовна на это отвѣчала глубокимъ вздохомъ и своей обыкновенной поговоркой: э-э-э, хе-хе-хе, что всегда означало съ ея стороны нѣкоторое неудовольствіе.

На третій день Петру Михайлычу стало жаль Настеньки.

— А что, душа моя, — сказалъ онъ: — я схожу къ Калиновичу. Что это за глупости онъ дѣлаетъ: дуется!

— Нѣтъ, папаша, я лучше ему напишу; я сейчасъ напишу и пошлю, — сказала Настенька. Она замѣтно обрадовалась намѣренію отца.

— Напиши. Кто васъ разберетъ? У васъ свои дѣла... — сказалъ старикъ съ улыбкою.

Настенька ушла.

Капитанъ, бывшій свидѣтелемъ этой сцены и все что-то хмурившійся, вдругъ проговорилъ:

— Я полагаю, братецъ, дѣвицѣ неприлично переписываться съ молодымъ мужчиной.

— Да, пожалуй, по нашему съ тобой. Флегонтъ Михайлычъ, и такъ бы; да нынче, сударь, другія ужь времена, другіе нравы.

— Вы бы могли, кажется, остановить въ этомъ Настасью Петровну: она, вѣроятно бы, васъ послушалась.

— Что-жь останавливать? Запрещать станешь, такъ потихоньку будетъ писать — еще хуже. Пускай переписываются; я въ Настенькѣ увѣренъ: въ ней никогда никакихъ дурныхъ наклонностей не замѣчалъ; а что полюбила молодца не изъ золотца, такъ не велика еще бѣда: такъ и быть должно.

— Огласка, можетъ быть, пустыхъ словъ по сторонамъ будутъ много говорить! — замѣтилъ капитанъ.

— А пусть себѣ говорятъ! Пустыя рѣчи пустяками и кончатся.

Настенька возвратилась.

— Флегонтъ Михайлычъ, Настенька, находитъ неприличнымъ, что ты переписываешься съ Калиновичемъ; да и я, пожалуй, того же мнѣнія... — сказалъ ей Петръ Михайлычъ.

— Что-жь тутъ такого неприличнаго! Я пишу къ нему не Богъ знаетъ что такое, а звала только, чтобъ пришелъ къ намъ. Дяденька во всемъ хочетъ видѣть неприличіе!

— Онъ видитъ это потому, что любить тебя и желаетъ, чтобъ всё твои поступки были поступками благовоспитанной дѣвицы, — возразилъ Петръ Михайлычъ.

— Странная любовь: видѣть во всякихъ пустякахъ дурное!

— Это вотъ, милушка, по вашему, по нынѣшнему, пустяки; а встарину у нашихъ предковъ дѣвицы даже съ открытымъ лицомъ не показывались мужчинамъ.

— Что-жь изъ этого слѣдуетъ? — спросила Настенька.

— А то, что это выражало, — продолжалъ Петръ Михайлычъ внушительнымъ тономъ: — застѣнчивость, стыдливость — качества, которыя украшаютъ женщину гораздо больше, чѣмъ самыя блестящія дарованія.

Настенька хотѣла было что-то возразить отцу, но въ это время пришелъ Калиновичъ.

— А, Яковъ Васильичъ! — воскликнулъ Петръ Михайлычъ: — наконецъ-то мы васъ видимъ! А все эта шпилька, Настасья Петровна... Не вѣрьте, сударь, ей, не слушайте: вы можете и должны быть литераторомъ.

Калиновичъ, кажется, совершенно не понялъ словъ Петра Михайлыча, но не показалъ виду. Настенькѣ онъ протянулъ, по обыкновенію, руку; она подала ему свою, какъ бы нехотя, и потупилась.

— Принесли ли вы ваше сочиненіе? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Со мной, — отвѣчалъ Калиновичъ и вынулъ изъ портфеля знакомую уже намъ тетрадь.

Петръ Михайлычъ, непремѣнно требуя, чтобъ всѣ сѣли чинно у стола, заставилъ подвинуться капитана и усадилъ даже Пелагею Евграфовну.

Въ продолженіе чтенія онъ очень часто восклицалъ:

— Хорошо, хорошо! Языкъ обработанъ; интересъ растетъ... — и потомъ, когда Калиновичъ приостановился, проговорилъ: — погодите, Яковъ Васильичъ; я вотъ очень вѣрю простому чувству капитана. Скажите намъ, Флегонтъ Михайлычъ, какъ вы находите: хорошо, или нѣтъ?

— Я не могу судить-съ! — отвѣчалъ тотъ.

— Пустое, сударь, уполномочиваемъ васъ отъ лица автора сказать ваше мнѣніе.

Капитанъ рѣшительно отказывался.

— Заартачился! — произнесъ Петръ Михайлычъ и отнесся къ дочери: — ну, а ты какъ находишь?

— Хорошо, кажется... — отвѣчала та довольно сухо.

Она была очень грустна. Петръ Михайлычъ погрозилъ ей пальцемъ.

Калиновичъ снова приступилъ къ чтенію, и когда кончилъ, старикъ сдѣлалъ ему ручкой и повторилъ нѣсколько разъ.

— Bene, optime, optime!

— Неужели же эти господа-редакторы находятъ недостойною напечатать вашу повѣсть? — сказала съ усмѣшкою Настенька.

— Не знаю, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Между тѣмъ лицо Петра Михайлыча начинало принимать болѣе и болѣе серьезное выраженіе.

— Погодите, постойте! — началъ онъ глубокомысленнымъ тономъ: — не позволите ли вы мнѣ, Яковъ Васильичъ, послать ваше сочиненіе къ одному человѣку въ Петербургъ, теперь ужь лицу важному, а прежде моему хорошему товарищу?

— Врядъ ли будетъ успѣхъ! — возразилъ Калиновичъ.

— Будетъ-съ! — произнесъ рѣшительно Петръ Михайлычъ: — человѣкъ этотъ благорасположенъ ко мнѣ и пользуется между литераторами большимъ авторитетомъ. Я говорю о Федорѣ Федорычѣ, — прибавилъ онъ, обращаясь къ дочери.

— Онъ напечатаетъ, — подтвердила Настенька.

— Еще бы! Онъ заставитъ напечатать: у него всѣ эти господа-редакторы и издатели по стрункѣ ходятъ. Итакъ, согласны вы, или нѣтъ?

— Извольте, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Петръ Михайлычъ остался очень этимъ доволенъ.

— Значить, идетъ! — проговорилъ онъ и тотчасъ же, доставъ пачку почтовой бумаги, выбралъ изъ нея самый чистый, лучший листъ и принялся, надѣвъ очки, писать на немъ своимъ стариннымъ, круглымъ и очень красивымъ почеркомъ, повременамъ останавливаясь, потирая *лобъ* и постоянно потѣя. Изготовленное имъ письмо было такого содержания:

«Ваше превосходительство,

«Милостивый государь,

«Федоръ Федоровичъ!

«Хотя потокъ времени унесъ далеко счастливые дни моей юности, когда имѣлъ я счастье быть вашимъ однокашникомъ, и fortuna поставила васъ, достойно возвыся, на слишкомъ высокую, сравнительно со мной, ступень мірскихъ почестей, но, питая полную увѣренность въ неизмѣнность вашу во всѣхъ благородныхъ чувствованіяхъ и зная вашу полезную, доказанную многими опытами любовь къ успѣхамъ русской литературы, беру на себя смѣлость представить на вашъ образованный судъ сочиненіе, въ повѣствовательномъ родѣ, одного молодого человѣка, воспитанника московскаго университета и моего преемника по службѣ, который желалъ

бы помѣстить свой трудъ въ одномъ изъ петербургскихъ періодическихъ изданій. Хотя еще безсмертный Карамзинъ нашъ сказалъ, что Парнасъ — гора высокая и дорога къ ней негладкая; но зачѣмъ же совершенно возбранять на него путь молодымъ людямъ? Слышалъ я, что редакторы журналовъ неохотно печатаютъ произведенія начинающихъ писателей; но милостивое участіе и ручательство вашего превосходительства въ достоинствѣ представляемаго вашему покровительству произведенія можетъ уничтожить эту преграду. Будучи знакомъ съ авторомъ, смѣю увѣрить, что онъ исполненъ образованнаго ума и благородныхъ чувствованій.

«Прошу принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности, съ которыми имѣю честь прибыть
 «вашего превосходительства,
 «поворнѣйшимъ слугою
 «Петръ Годневъ.»

Прочитавъ все это вслухъ, Петръ Михайлычъ спросилъ Калиновича, доволенъ ли онъ содержаніемъ и изложеніемъ?

— Очень, — отвѣчалъ тотъ.

Старикъ самодовольно улыбнулся и послалъ Настеньку принести ему пзъ кабинета сургучъ и печать. Та пошла.

— Что-жь имъ беспокоиться? Позвольте мнѣ сходить, — проговорилъ Калиновичъ и, войдя вслѣдъ за Настенькой въ кабинетъ, хотѣлъ было взять ее за руку, но она отдернула.

— Палачи жертивъ своихъ не ласкаютъ! — проговорила она и возвратилась къ отцу.

Взявъ рукопись, Петръ Михайлычъ первоначально перекрестился и, проговорилъ: «съ Богомъ, любезная, иди къ невскимъ берегамъ», началъ за-паковывать ее съ такимъ стараніемъ, какъ бы отправлялъ какое-нибудь собственное сочиненіе, за которое ему предстояло получить, по крайней мѣрѣ, миллионъ или безсмертіе. Въ то время, какъ онъ занятъ былъ этимъ дѣломъ, капитанъ замѣтилъ, что Калиновичъ наклонился къ Настенькѣ и сказалъ ей что-то на ухо.

— Да, — отвѣчала она.

Во весь остальной вечеръ молодой смотритель былъ необыкновенно веселъ: видимо стараясь развеселить Настеньку, онъ безпрестанно заговаривалъ съ ней и, наконецъ, за ужиномъ вздумалъ было въ тонъ Петра Михайлыча подтрунить надъ капитаномъ.

— Мнѣ сегодня, капитанъ, одинъ человѣкъ сказывалъ, что вы на охотѣ убиваете дичь больше серебряной пулей, чѣмъ свинцовой: прикупаете иногда?— сказалъ онъ ему.

Капитанъ, сверхъ ожиданія, вдругъ поблѣднѣлъ, губы у него задрожали.

— Я человѣкъ бѣдный: мнѣ не на что покупать, — сказалъ онъ удушливымъ голосомъ.

Калиновичъ сконфузился.

— Что-жъ бѣдный! честь охотника для человѣка дороже всего, — возразилъ онъ, усиливаясь продолжать шутку: — и я хотѣлъ только васъ спросить, правда это или нѣтъ?

— Прошу васъ оставить меня!.. Братецъ Петръ Михайлычъ могутъ, а вы еще молоды шутить надо мной, — отрѣзалъ капитанъ.

— Вы, дяденька, не понимаете, видно, что съ вами шутятъ, — вмѣшалась Настенька.

— Нѣтъ-съ, я все понимаю... — отвѣчалъ капитанъ.

— Воинъ! — произнесъ торжественнымъ тономъ Петръ Михайлычъ: — успокой свой благородный рыцарскій духъ и изволь кушать!

— Я ѣмъ, братецъ. Извините меня, я имъ только хотѣлъ замѣтить...

— Нѣтъ, вы не только замѣтили, — возразилъ Калиновичъ, взглянувъ на капитана изъ-подлобья: — а вы на мою легкую шутку отвѣчали дерзостью. Постараюсь не ставить себя въ другой разъ въ такое непріятное положеніе.

— Я васъ самъ объ этомъ же прошу, — отвѣчалъ капитанъ и, уткнувъ глаза въ тарелку, началъ ѣсть.

— Ну, будетъ, господа! Что это у васъ за пивировка, терпѣть этого не могу! — заключилъ Петръ Михайлычъ, и разговоръ тѣмъ кончился.

Калиновичъ ушелъ домой первый. Капитанъ отправился за нимъ вскорѣ. При прощаньѣ онъ еще разъ извинился передъ Петромъ Михайлычемъ.

— Извините, братецъ; я не могъ этого снести.

— Ничего, ничего; помиритесь только. Въ чемъ вамъ ссориться? Онъ человекъ хорошій, а вы безподобный!

Опять у капитана, кажется, вертѣлось что-то на языкѣ, но и опять онъ ничего не сказалъ.

Вышедъ на улицу, Флегонтъ Михайлычъ приостановился, подумалъ немного и потомъ не пошелъ, по обыкновенію, домой, а повернулъ въ совершенно

другую сторону. Ночь была осенняя, темная, хоть глазъ, какъ говорится, выколи; порывистый вѣтеръ опахивалъ холодными волнами и воймя-завывалъ гдѣ-то въ сосѣдней трубѣ. Въ цѣломъ городѣ хотя бы въ одномъ домѣ промелькнулъ огонекъ: всё уже мирно спали, и только въ гостиномъ дворѣ протяв-кивали изрѣдка собаки.

Дошедъ до квартиры Калиновича, капитанъ остано-вился, посмотрѣлъ нѣсколько времени на окно и пошелъ назадъ. Возвратившись къ дому брата, онъ сѣлъ на ближайшій троттуарный столбикъ, присѣкъ гоня и закурилъ трубку. Въ это же самое время съ задняго двора квартиры молодого зрителя про-мелькнула чья-то тѣнь, спустилась къ рѣкѣ и начала пробираться, прячась за установленныя, по всему берегу, березовыя полѣнницы. Противъ сада Годне-выхъ тѣнь эта пропала. Между тѣмъ, на соборной колокольнѣ сторожъ, въ доказательство того, что не спитъ, пробилъ два часа. Испуганная этими звуками дѣлая стая воронъ слетѣла съ церковной кровли и понеслась, каркая, въ воздухъ... Наконецъ, вниманіе капитана обратили на себя двѣ тѣни, изъ которыхъ одна повернула въ переулокъ, а другая подошла къ воротамъ Петра Михайлыча и начала что-то тутъ дѣлать. Въ нѣсколько прыжковъ очутился онъ у во-ротъ и схватилъ тѣнь за шиворотъ.

— Кто вы такіе? Что вы здѣсь дѣлаете?—спро-силъ онъ.

Тѣнь, вмѣсто отвѣта, старалась вырваться, но тщетно. Она какъ будто-бы попала въ желѣзныя вѣщи: послѣ мясника мѣщанина Ивана Павлова, носившаго мучные кули въ пятнадцать пудовъ, по-

томъ Лебедева, поднимавшаго десять пудовъ, капитанъ былъ первый по силѣ въ городѣ и разгибалъ подкову, какъ мягкій крендель.

— Кто вы такіе?— повторилъ онъ. Тѣнь замахнулась-было на него палкой, но Флегонтъ Михайловичъ вырвалъ ее очень легко. Оказалось, что это была малярная кисть, перемаранная въ дегтю. Капитанъ понялъ, въ чемъ дѣло.

— А! такъ вы этимъ занимаетесь!— проговорилъ онъ и въ минуту швырнулъ тѣнь на землю, наступилъ ей колѣномъ на грудь и началъ мазать по лицу кистью.

— Караулъ!— провочичала тѣнь.

— Молчать!— сказалъ капитанъ, подавивъ слегка ногою и продолжая свое занятіе.

— Караулъ! караулъ! — отозвалась другая тѣнь изъ переулка, не подбѣгая, впрочемъ, на помощь.

Въ улицѣ переполошились.

— Батько, встань! караулъ на улицѣ кричатъ! — будила мѣщанка спавшаго мертвымъ сномъ мужа.

Тотъ открылъ на минуту глаза.

— Убирайся!— сказалъ онъ и, выругавшись, повернулся къ стѣнѣ.

— Песь этакой! караулъ кричатъ. Подъ окномъ найдутъ мертвое тѣло, тебя же въ судъ потянутъ!— продолжала баба, толкая мужа въ бокъ, но, получивъ въ отвѣтъ одно только сердитое мычанье, проговорила:

— Охъ, Господи! страсти какія! Наше мѣсто свято! — а потомъ зѣвнула, перекрестилась и сама захрапѣла.

— Дѣвка, дѣвка! Марушка, Катюшка!— кричала,

приподнимаясь съ своей постели худая, какъ мертвецъ, съ включенною сѣдою головою, старая барышня-дѣвица, переѣхавшая въ городъ, чтобъ ближе быть къ церкви:— подите, посмотрите, разбойницы, что за шумъ на улицѣ?

Но ей никто не откликнулся.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой! что это за сони: ничего не слышать!— бормотала старуха, слѣзая съ постели и, надѣвъ валенки, засвѣтила у лампы свѣчку и отправилась въ сосѣднюю комнату, гдѣ спали ея двѣ прислужницы; но — увы! постели ихъ были пусты и, гдѣ онѣ были — неизвѣстно, вѣроятно, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ госпожа имъ строго запрещала бывать.

— Царица Небесная! Владычица моя! на Тебя только моя надежда, всѣми оставлена: и родными, и прислугою... Что это? помилуйте, до чего безнравственность доходить: по ночамъ бѣгаютъ... трубку курятъ... этта одна пьяная пришла... Содомъ и Гоморрь! Содомъ и Гоморрь!

Покуда старуха такъ говорила, одна изъ дѣвокъ, вся запыхавшаяся, раскраснѣвшаяся, прибѣжала.

— Душегубка! гдѣ была и пропадала — сказывай! — говорила госпожа, растопыривая передъ ней руки.

— На улицу, барышня, бѣгала: на улицѣ шумятъ.

— Врешь; гдѣ другая злодѣйка?

— Ту, матушка-барышня, ухватило, такъ на печкѣ лежить, виновата...

— Врешь, врешь! Завтра же обнимъ косу бо-

стригу и въ деревню отправлю. Нѣтъ моихъ силъ, нѣтъ моей возможности справляться съ вами!

— Вся ваша воля, сударыня; мы никогда вамъ ни въ чемъ не противны. Полноте-ка, извольте лучше лечь въ постельку, я вамъ ножки поглажу,— сказала изворотливая горничная и, уложивъ старуху, до тѣхъ поръ гладила ноги, что та заснула, а она опять куда-то отправилась.

У Годневыхъ тоже услышали. Первая выскочила на улицу, съ фонаремъ въ рукахъ, неусыпная Пелагея Евграфовна и освѣтила капитана съ его противникомъ, которымъ оказался Медіокритскій. Узнавъ его, капитанъ еще больше озлился.

— А! такъ это вы красите дегтемъ!— проговорилъ онъ и, что есть силы, началъ молодого столоначальника тыкать кистью въ носъ и въ губы.

Гнѣвъ и ожесточеніе Флегонта Михайлыча были совершенно законны: по уѣзднымъ нравамъ, вымарать дегтемъ ворота въ домъ, гдѣ живетъ молодая женщина или дѣвушка, значить, публично ее опозорить, и къ этому средству обыкновенно прибѣгаютъ между мѣщанами, а, пожалуй, и купечествомъ оставленные любовники.

Капитанъ, вѣроятно, нескоро бы еще разстался съ своей жертвой; но въ эту минуту, точно изъ-подъ земли, выросъ Калиновичъ. Появленіе его, въ свою очередь, удивило Флегонта Михайлыча, такъ что онъ выпустилъ изъ рукъ кисть и Медіокритскаго, который, воспользовавшись этимъ, вырвался и пустился бѣжать. Калиновичъ тоже былъ встревоженъ. Пелагея Евграфовна, сама не зная для чего, стала раскрывать ставни.

— Что такое случилось? Я еще не успѣлъ заснуть, вдругъ слышу шумъ, одѣлся во что попало и побѣжалъ,— обратился къ ней Калиновичъ.

Она только развела руками.

— Ничего,— говорить,— не знаю.

— Что такое у васъ съ нимъ, Флегонтъ Михайлычъ, вышло?— отнесся онъ къ капитану.

— Я братцу доложу-сь,— отвѣчалъ тотъ и пошелъ въ домъ.

— Позвольте и мнѣ,— говорилъ Калиновичъ, слѣдуя за нимъ.

Петра Михайлыча они застали тоже въ большомъ испугѣ. Онъ стоялъ, разставивши руки, передъ Настенькой, которая въ томъ самомъ платьѣ, въ которомъ была вечеромъ, лежала съ закрытыми глазами на диванѣ.

— Господа, подите сюда, Бога ради, посмотрите, что у насъ надѣлалось: Настя безъ чувствъ!— говорилъ онъ растерявшимся голосомъ.

Пелагея Евграфовна бросилась распускать Настенькѣ платье, а Калиновичъ схватилъ со стола графинъ съ водой и началъ ей примачивать голову. Петръ Михайлычъ дрожалъ и безпрестанно спрашивалъ:

— Что? лучше-ли? лучше-ли?

Настенька наконецъ открыла глаза, но, увидѣвъ около себя Калиновича, быстро отодвинулась и сначала захохотала, а потомъ зарыдала. Петръ Михайлычъ упалъ въ кресло и схватилъ себя за голову.

— Помѣшалась! — проговорилъ онъ.

Но съ Настенькой была только сильная истерика. Калиновичъ смотрѣлъ на все изъ-подлобья.

Одна Пелагея Евграфовна не потеряла присутствія духа; она перевела Настеньку въ спальню, уложила ее въ постель, дала ей гофманскихъ капель и пошла успокоить Петра Михайлыча.

— Ну, а вы-то что? точно маленькій! — говорила она.

Старикъ дѣйствительно былъ точно маленькій.

— Только-что я вздремнулъ, — говорилъ онъ: — вдругъ слышу: «караулъ, караулъ, рѣжутъ!...» Миѣ показалось, что это было въ саду, засвѣтилъ свѣчку и пошелъ сюда; гляжу: Настенька идетъ съ балкона... я ее окрикнулъ... она вдругъ хлопъ на диванъ.

Капитанъ въ отрывистыхъ фразахъ разсказалъ брату, какъ у него, будто-бы, болѣла голова, какъ онъ хотѣлъ прогуляться и все прочее.

— Ахъ, онъ, мерзавецъ! негодяй! дочь мою осмѣлился позорить! Я сейчасъ пойду къ городничему... къ губернатору сейчасъ поѣду... Я здѣсь честнѣй всѣхъ... Къ городничему! — говорилъ старикъ и, какъ его ни отговаривали, началъ торопливо одѣваться.

— Я знаю, чьи это штуки: это все мерзавка исправница... это она его научила!.. Я завтра весь домъ ея замараю дегтемъ: онъ любовникъ ея!.. Она безнравственная женщина и смѣетъ опорочивать честную дѣвушку! За это вступится Богъ!.. — заключилъ онъ и, порывисто распахнувъ двери, ушелъ.

— Ну, вотъ пошелъ тоже! Дѣла не надѣлаетъ, а только себя еще больше встревожить. Ходи послѣ за нимъ, за больнымъ! — брюзжала Пелагея Евграфовна.

Калиновичъ вызвался проводить Петра Михайлыча и едва успѣлъ его догнать у присутственныхъ мѣстъ.

Придя въ полицію, они сейчасъ же послали за городничимъ, и старый служака незамедля явился въ мундиръ и при шпагѣ. По требованію дворянства, онъ всегда являлся въ полной формѣ.

Петръ Михайлычъ, отъ усталости и волненія, не въ состояніи былъ говорить, но за него очень подробно и послѣдовательно рассказалъ Калиновичъ. Старикашка городничій тоже вышелъ изъ себя, застучалъ своей клюкой и закричалъ:

— Го, го, го! какія они штуки стали отпускать. Въ казamatъ его, стригулиста! потомъ свиснулъ и вскрикнулъ еще громче: Борзой!.. сюда!

При этомъ возгласѣ, въ арестантской кубаремъ слетѣлъ съ полатей дежурный десятскій, бездомный и безсемейный мѣщанинишка, служившій по найму при полиціи и продававшійся нѣсколько разъ въ солдаты, но непопавшій единственно по недостатку всѣхъ зубовъ въ верхней челюсти, которые вышибъ, свалившись, еще въ дѣтствѣ, съ крыши. Представъ предъ начальникомъ, Борзой вытянулся.

— Поди сейчасъ, отыщи мнѣ рыжаго Медіокритскаго въ огнѣ... въ водѣ... въ землѣ... гдѣ хочешь, и представъ его, каналью, сюда живаго или мертваго! Или знаешь вотъ эту клюку! — проговорилъ городничій и грозно поднялъ жезлъ свой.

— Слушаю, ваше благородіе! — отвѣчалъ Борзой, повернулся и чрезъ минуту летѣлъ въ прискачку по улицѣ, съ быстротой истинно-гончей собаки.

— Въ казamatъ его, каналью, засажу! — говорилъ

градоначальникъ, расхаживая съ своей клюкой по присутственной камерѣ.

— Въ казематъ! — подтвердилъ Петръ Михайлычъ.

— Если-бъ не я, сударь, — продолжалъ городничій:—эти мѣщанишки и приказные разбойничали бы по ночамъ.

— Именно, именно, — подтверждалъ Петръ Михайлычъ. — Я человекъ не злой, несчастья никому не желаю, а этакихъ людей жалѣть нечего.

— Не жалю я ихъ, сударь, — отвѣчалъ городничій, дѣлая строгую мину:— не люблю я съ ними шутки шутить. Самъ губернаторъ старика хромаго городничаго знаетъ.

— Такъ и надо, такъ и надо! Я и самъ, когда былъ смотрителемъ, это у меня кто порѣзвится, пошалитъ — ничего; а буяну и грубіяну не спускалъ, — прихвастнулъ Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ только улыбался, слушая, какъ пѣтушились два старика, изъ которыхъ про Петра Михайлыча мы знаемъ, какого онъ былъ строгаго характера; что же касается городничаго, то всё его полицейскія мѣры ограничивались крикомъ и клюкой, которою за то онъ дѣйствовалъ отлично, такъ что этой клюки боялись врядъ ли не больше, чѣмъ его самого, какъ-будто бы вся сила была въ ней.

Медіокритскаго привели. На лицѣ его, какъ онъ, видно, ни умывался, все еще оставались ясные слѣды дегтя. Старикъ-городничій сѣлъ въ грозную позу противъ зеркала.

— Гдѣ вы были сегодняшнюю ночь? — спросилъ онъ.

— Дома-съ. Гдѣ-жъ мнѣ быть больше?— отвѣчалъ довольно-дерзко Медіокритскій.

— Какъ? вы были дома? Врете! Зачѣмъ же вы были въ Дворянской улицѣ, у воротъ г. Годнева?

— Я тамъ не былъ.

— Какъ не былъ? Еще запирается, стрикулисть! Говорить у меня правду, жи не люблю — знаешь!— воскликнулъ городничій, стукнувъ клювой.

— Вы не извольте клювой вашей стучать и кричать на меня: я чиновникъ, — проговорилъ Медіокритскій.

Петръ Михайлычъ только пожалъ плечами, городничій откинулся на задокъ кресель.

— Ась? Какъ вы посудите нашу полицейскую службу? Чтобъ я съ нимъ по-нашему, по-военному, долженъ былъ сдѣлать?— проговорилъ онъ и присовокупилъ болѣе спокойнымъ и офиціальнымъ тономъ:— отвѣчайте на мой вопросъ!

— Нѣтъ-съ, я не буду вамъ отвѣчать, — возразилъ Медіокритскій:— потому что я не знаю, за что именно взять: меня схватили, какъ вора какого-нибудь, или разбойника; и такъ какъ я состою по вѣдомству земскаго суда, такъ желаю имѣть депутата, а вамъ я отвѣчать не стану. Не угодно ли вамъ послать за моимъ начальникомъ, г. исправникомъ.

— Что-жъ вы меня подозрѣваете, что ли? душой, что-ли, покривлю?... Въ казamatъ тебя, стрикулиста!— воскликнулъ, опять вышедшій изъ себя городничій.

— Я ничего не знаю, а требую только законнаго, и вы на меня не извольте кричать!— повторилъ съ прежнею дерзостью Медіокритскій.

Старикъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, и еслибъ, кажется, онъ былъ вдвоемъ съ своимъ подсудимымъ, такъ тому бы не уйти отъ его взгляда.

— Я полагаю, что за г. исправникомъ можно послать, если этого желаетъ г. Медіокритскій, — вмѣшался Калиновичъ.

— Извольте, — отвѣчалъ городничій и тотчасъ свиснулъ.

Предсталъ опять Борзой.

— Поди сейчасъ къ г. исправнику, скажи, чтобъ его разбудили, и попроси сюда по очень важному дѣлу.

Тотъ отправился.

— Г. Медіокритскому, я думаю, можно выдти? — присовокупилъ Калиновичъ.

— Можетъ-съ! — отвѣчалъ городничій. — Извольте идти въ эту комнату, — прибавилъ онъ строго Медіокритскому, который съ насмѣшливой улыбкой вышелъ.

Калиновичъ послѣ того отвелъ обоихъ стариковъ къ окну и весьма основательно объяснилъ, что слѣдствіемъ врядъ ли они докажутъ что-нибудь, а между тѣмъ Петру Михайлычу, конечно, будетъ непріятно, что имя его самого и наконецъ дочери будетъ замѣшано въ слѣдственномъ дѣлѣ.

— Правда, правда... — подтвердилъ городничій.

— Господи Боже мой! во всю жизнь не имѣлъ никакихъ дѣлъ, и до чего я дожилъ! — воскликнулъ Петръ Михайлычъ.

— И потому, я полагаю, такъ какъ теперь придетъ г. исправникъ, — продолжалъ Калиновичъ: — то г. городничему вмѣстѣ съ нимъ донести начальнику

губерніи съ подробностью о поступкѣ г. Медиокритскаго, а тотъ, безъ всякаго слѣдствія, распорядится гораздо лучше.

— Пожалуй, что такъ; а я его все-таки въ казаматъ выдержу, — сказалъ городничій.

— Хорошо, — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — суди меня Богъ; а я ему не прощу; самъ буду писать къ губернатору; онъ пойметъ чувства отца. Обидь, оскорби онъ меня, я бы только посмѣялся; но онъ тронулъ честь моей дочери — никогда я ему этого не прощу! — прибавилъ старикъ, ударивъ себя въ грудь.

Исправникъ пришелъ съ испуганнымъ лицомъ. Мы отчасти его ужъ знаемъ, и я только прибавлю, что это былъ смиреннѣйшій человекъ въ мірѣ, страшный трусъ по службѣ и еще больше того боявшійся своей жены. Ему рассказали, въ чемъ дѣло.

— Скажите, пожалуйста! — проговорилъ онъ, еще болѣе испугавшись.

— Мы сейчасъ съ вами рапортъ напишемъ на него губернатору, — сказалъ городничій.

— Напишемъ-съ, — отвѣчалъ исправникъ: — какъ бы только и намъ чего не было!

Калиновичъ объяснилъ, что имъ никоимъ образомъ ничего не можетъ быть, а что, напротивъ, если они сверюютъ, въ такомъ случаѣ будутъ отвѣчать.

— Конечно, будемъ, — согласился и съ этимъ исправникъ.

— Непремѣнно, — подтвердилъ Калиновичъ и тотчасъ написалъ своей рукой, прямо на-бѣло, рапортъ губернатору въ возможно-рѣзкихъ выраже-

ніяхъ, къ которому городничій и исправникъ подписались.

Медіокритскій чрезъ дощаную перегородку подслушалъ весь разговоръ и, видя, что дѣло его принимаетъ очень дурной оборотъ, бросился къ исправнику, когда тотъ выходилъ.

— Николай Егорычъ, что-жь вы меня выдали? Я служилъ, служилъ вамъ... Если ужъ я такъ долженъ терпѣть, такъ я лучше готовъ прощенія у нихъ просить.

Исправникъ воротился. Медіокритскій вошелъ за нимъ.

— Прощенія хочеть просить, — проговорилъ исправникъ.

— Ваше высокоблагородіе... — отнесся Медіокритскій сначала къ городничему и сталъ просить о помилованіи.

— Нѣтъ, нѣтъ-съ! — отвѣчалъ тотъ.

— Петръ Михайлычъ! — обратился онъ съ той же просьбой къ Годневу: — не погубите на вѣки молодого человѣка. Царь небесный заплатитъ вамъ за вашу доброту.

Проговоря эти слова, Медіокритскій сталъ предъ Петромъ Михайлычемъ на колѣни. Старикъ отвернулся.

— Ваше высокородіе, окажите милосердіе, — молилъ онъ, переползая на колѣняхъ къ городничему.

Тотъ началъ щипать усы.

— Простите его, господа! — сказалъ исправникъ и, вѣроятно, старики сдались бы, но вмѣшался Калиновичъ.

— Великодушіе, Петръ Михайлычъ, тутъ, ка-

жется, неумѣстно, — сказалъ онъ:—а вамъ тѣмъ болѣе, какъ начальнику города, нельзя скрывать такіе поступки, — прибавилъ онъ городничему.

— Вы хотѣли, сударь, оскорбить дочь мою — не прощу я вамъ этого! — произнесъ Петръ Михайлычъ и пошелъ.

— И я тоже не прощу!... Отъ казамата освобождаю, а этого не прощу,— присовокупилъ градоначальникъ и заковылялъ вслѣдъ за Петромъ Михайлычемъ.

Нужно ли говорить, какая туча сплетенъ разразилась послѣ того надъ головой моею бѣдной Настеньки! Уѣздныя барыни, изъ которыхъ нѣкоторыя весьма секретно и благоразумно вели куры съ своими лакеями, а другія съ дьячками и семинаристами, — барыни эти, будто-бы нравственно оскорбленные, защекотали какъ сороки, и между всѣми ними, конечно, выдавалась исправница, которая съ какимъ-то остервенѣніемъ начала ѣздить по всему городу и рассказывать, что Медіокритскій имѣлъ право это сдѣлать, потому что пользовался большимъ вниманіемъ этой госпожи Годневой, и что потомъ она сама, своими глазами, видѣла, какъ эта безнравственная дѣвчонка сидѣла, обнявшись съ молодымъ смотрителемъ у окна. Приказничиха, съ своей стороны, тоже кое-что поразказала. Она очень многимъ по секрету сообщила, что Настенька приходила къ Калиновичу одна-одинѣхонька, сидѣла у него на кровати, и чѣмъ они тамъ занимались — почти сомнѣнія никакого нѣтъ.

— Какъ это нынѣшнія дѣвушки нисколько себя не берегутъ, отцы мои родные! Если ужъ не Бога,

такъ мірскаго бы стыда побоялись!— восклицала она, пожимая плечами.

Ко всѣмъ этимъ слухамъ Медіовритскій вдругъ, по распоряженію губернатора, былъ исключенъ изъ службы. Все чиновничье общество еще болѣе заступилось за него, инстинктивно понимая, что онъ имъ родной, плоть отъ плоти ихней, а Годневы и Калиновичъ далеко отъ нихъ ушли.

IX.

Между тѣмъ наступилъ уже великій постъ, въ продолженіе котораго многое измѣнилось въ образѣ жизни у Годневыхъ: еще въ такъ-называемое *прощальное воскресеніе*, на масляницѣ всѣ у нихъ въ домѣ ходили и прощались другъ передъ другомъ. Въ чистый понедѣльникъ Петръ Михайлычъ, сходявъ очень рано въ баню, надѣвалъ обыкновенно самое старое свое платье, бриться началъ гораздо рѣже и переставалъ читать романы и журналы, а занимался болѣе чтеніемъ ученыхъ сочиненій и проповѣдей. На первой недѣлѣ у нихъ, по заведенному порядку, начали говѣть: ходили, разумѣется, на каждую службу, ѣли постное, и то больше сухояденіемъ. Петръ Михайлычъ даже чай пилъ не съ сахаромъ, а съ медомъ, и въ четвергъ передъ послѣднимъ эиномономъ, чопорно одѣтый въ сѣрый, демикатоновый сюртучекъ и старомодную съ брызгами манишку, онъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ и ожидалъ благовѣста. Пелагея Евграфовна умывалась и причесывалась, чтобъ идти въ церковь. Настенька помѣщалась съ Калинови-

чемъ въ гостиной и раскладывала граннасянсь. Она въ этотъ годъ отказалась отъ говѣнья. На дворъ прошелъ почтальонъ. Петръ Михайлычъ увидѣлъ его первый.

— Это откуда ко мнѣ посланіе? — проговорилъ онъ.

Ему подали толстый пакетъ и посылку. Штемпель былъ петербургскій. Старикъ испугался.

— Не опять ли всячь возвращаютъ? — проговорилъ онъ и, надѣвъ торопливо очки, началъ читать письмо. Лицо его просвѣтлѣло съ первыхъ же строкъ. Дочитавъ, онъ перекрестился и закричалъ:

— Яковъ Васильичъ, Настенька! Подите сюда скорѣе — ура!

— Нѣтъ, папенька, мы здѣсь заняты, — отозвалась Настенька.

— Ура! идите сюда ко мнѣ скорѣй, безтолковые! — продолжалъ кричать Петръ Михайлычъ.

Настенька и Калиновичъ вошли.

— Что вы кричите, папенька? — спросила Настенька.

— А вотъ что кричу: видите вотъ это письмо, эту книжку и вотъ эту газету. За все это Яковъ Васильичъ долженъ мнѣ шампанскаго купить — и знать больше ничего не хочу.

— Отъ кого же это письмо? — проговорила Настенька и хотѣла-было взять со стола пакетъ, но Петръ Михайлычъ не далъ.

— Та, та, та! очень любопытна! Много будешь знать, скоро состарѣешься, — сказалъ онъ и, положивъ письмо, книгу и газету въ боковой карманъ, плотно застегнулъ сюртукъ.

— Это вѣрно изъ Петербурга что-нибудь, — сказалъ Калиновичъ нетвердымъ голосомъ.

— Ничего пока не знаю-съ. Выставляйте напередъ шампанское, а тамъ увидимъ, что будетъ, — отвѣчалъ старикъ комическимъ тономъ.

— Ну, что, папаша? Да скажите поскорѣе, это скучно, — сказала Настенька.

— Я, пожалуй, готовъ хоть дюжину выпить, только, ради Бога, не пытайте нашего терпѣнія, — сказала начинавшій уже блѣднѣть Калиновичъ.

Петръ Михайлычъ разсмѣялся.

— И стоитъ, сударь! — проговорилъ онъ, а потомъ, вынувъ на щегольской, гладкой и лощеной бумагѣ письмо, началъ его читать съ разстановкой:

«Любезный Петръ Михайлычъ!

«Спѣшу отвѣчать на ваше посланіе и радуюсь, что могъ исполнить просимую вами небольшую посылку отъ меня. Прилагаю книжку журнала, въ которой напечатана повѣсть вашего протеже, а равно и газетный листокъ, случайно попавшійся мнѣ въ англійскомъ клубѣ, съ лестнымъ отзывомъ о сочиненіи его. А затѣмъ, поручая, да хранить васъ милость Божія, пребываю съ душевнымъ моимъ расположеніемъ» — такой-то.

Эти короткія и, видимо, небрежно и свысока написанныя строки показались Годневымъ Богъ знаетъ какого благодушія исполненной вѣстью.

— Каково письмо-съ и каковъ этотъ человѣкъ, мой почтенный Федоръ Федорычъ? — воскликнулъ Петръ Михайлычъ, кончивъ чтеніе.

— Чудный, должно быть, онъ человекъ! — подхватила Настенька.

— Чудеснѣйшій! — повторилъ Петръ Михайлычъ: — сердца благороднаго, ума возвышеннаго — чудеснѣйшій!

— Что тамъ въ газетѣ пишутъ? — сказалъ Калиновичъ, берясь за голову, какъ-бы не слыхавшій ничего, что вокругъ него говорилось.

— А вотъ сейчасъ, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ и, развернувъ газету, началъ читать: — «Фельетонъ; литературныя новости».

— Ну, что такое литературныя новости? — посмотримъ, — проговорилъ онъ, продолжая:

«Давно мы не приступали къ нашему фельетону съ такимъ удовольствіемъ, какъ дѣлаемъ это въ настоящемъ случаѣ, и удовольствіе это, признаемся, въ насъ возбуждено не переводными стихотвореніями съ венгерскаго, въ которыхъ, между прочимъ, попадаются рѣшмы въ родѣ «вѣмѣамъ съ вамъ»; не повѣстью госпожи Д..., которая хотя и принадлежитъ легкому дамскому перу, но отличается такою тяжеловѣсностью, что мы еще не встрѣчали ни одного человекъ, у котораго достало бы силъ дочитать ее до конца; наконецъ, не учеными изысканіями г. Сладкопѣвцова «О римскихъ когортахъ», отъ которыхъ чувствовать удовольствіе и оцѣнить ихъ по достоинству предоставляемъ специалистамъ; насъ же, напротивъ, непріятно поразили въ нихъ опечатки, попадающіяся на каждой страницѣ и дающія намъ право обвинить автора за небрежность въ изданіи своихъ сочиненій (въ незнаніи грамматики мы не смѣемъ

его подозрѣвать, хотя имѣемъ на то нѣкоторое право)...

— Что же это такое? — сказала Петръ Михайлычъ, останавливаясь читать: — тутъ покуда одна перебранка.... Экой народъ эти господа-фельетонисты!

— Продолжайте, папаша; вѣрно дальше есть что-нибудь, — перебила съ нетерпѣніемъ Настенька.

Петръ Михайлычъ продолжалъ: «Но чѣмъ же возбуждено наше удовольствіе? спросить наконецъ читатель. Отвѣчаемъ: удовольствіе это доставило намъ чтеніе повѣсти г. Калиновича, имя котораго, сколько помнится, въ первый разъ еще встрѣчаемъ мы въ печати; тѣмъ пріятнѣе для насъ признать въ немъ умнаго, образованнаго и талантливаго беллетриста. Отъ души желаемъ не ошибиться въ нашихъ ожиданіяхъ, возлагаемыхъ на г. Калиновича, а ему писать больше, и полнѣе развивать тѣ благородныя мысли, которыхъ, помимо полнаго драматизма сюжета, такъ много разбросано въ его первомъ, но уже замѣчательномъ произведеніи».

При чтеніи послѣднихъ строкъ Калиновичъ безпрестанно мѣнялся въ лицѣ: видно было, что похвалы эти ему были очень пріятны, хоть онъ и старался это скрыть.

— Ахъ, какъ я рада! — сказала Настенька и закрыла глаза руками.

— Славно, славно! — говорилъ Петръ Михайлычъ. — И вы, Яковъ Васильичъ, еще жаловались на вашу судьбу! Вотъ какъ она васъ потѣшила и сразу поставила въ ряду лучшихъ нашихъ литераторовъ.

— Кто жь этого могъ ожидать?— отвѣчалъ Калиновичъ.

— И я не думала,— сказала Настенька.

— А я такъ думалъ и ожидалъ, — подхватилъ Петръ Михайлычъ. — Стало быть, у меня, у стараго словесника, есть тоже кой-какое пониманье. Я, какъ прослушалъ, такъ и вижу, что хорошо!

— И я, папаша, видѣла, что хорошо! — возразила Настенька: — но чтобъ такъ, вдругъ, всёмъ понравилось... Я думаю, ни одинъ литераторъ не начиналъ съ такимъ успѣхомъ.

— Немногіе,— отозвался Калиновичъ, продолжая ходить взадъ и впередъ по комнатѣ и стараясь смигнуть навернувшіяся на глазахъ слезы.

Петръ Михайлычъ замѣтилъ это и, показывая на него глазами, шепнулъ Настенькѣ:

— За душу, за сердце, значить, тронуло!

— Однако, позвольте взглянуть, какъ тамъ напечатано, — сказалъ Калиновичъ и, взявъ книжку журнала, хотѣлъ было читать, но остановился...

— Нѣтъ, не могу,— проговорилъ онъ, опять берясь за голову: — какое сильное, однако, чувство, видѣть свое произведеніе въ печати... читать даже не могу!

— Ничего, сударь, ничего; и не стыдитесь этого: это слезы пріятныя; а я вотъ что теперъ думаю: заплатятъ они вамъ, или для перваго раза и такъ сойдетъ?

— Конечно, заплатятъ,— отвѣчалъ Калиновичъ:— по пятидесяти рублей серебромъ они обыкновенно платятъ за листъ: это я навѣрное знаю.

— По пятидесяти,— повторилъ Петръ Михайлычъ

и, сосчитавъ число листовъ, обратился къ дочери. — Ну-ка, Настенька, девять съ половиной на пятьдесятъ — сколько будетъ?

— Четыреста семьдесятъ-пять, — отвѣчала та.

— Недурно! Есть на что выпить, — подхватилъ Петръ Михайлычъ.

— А я и забылъ выпить, — сказалъ Калиновичъ: — кого бы послать за шампанскимъ?

— Нѣтъ, погодите, — перебилъ Петръ Михайлычъ: — давеча я пошутилъ. Прежде отправимтесь-ка за еeimоны въ монастырь, да отслужите вы, Яковъ Васильичъ, благодарственный молебенъ здѣшнему угоднику.

— Ахъ, да, сдѣлайте это, Яковъ Васильичъ! — подхватила Настенька: — я большую вѣру имѣю въ здѣшнему угоднику,

— Я очень радъ, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Непремѣнно, непременно! — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — здѣсь ни одинъ купецъ не уѣдетъ и не прїѣдетъ съ ярмарки безъ того, чтобъ не поклониться мощамъ. Я, признаться, какъ еще отправлялъ ваше сочиненіе, такъ сдѣлалъ мысленно это обѣщаніе.

Въ это время вошла Пелагея Евграфовна совсѣмъ одѣтая въ свой шелковый, опушенный котикомъ капоръ, драдедамовый салопъ, и очень чѣмъ-то недовольная.

— Чтó это, Петръ Михайлычъ, приказали идти вмѣстѣ, а тутъ сами сидите? Давнымъ-давно благовѣстятъ, — сказала она.

— Знаю, сударыня, знаю — ничего: мы идемъ всѣ въ монастырь; ступай и ты съ нами. А ты, Настенька,

поди одѣвайся, — говорилъ старикъ, проворно надѣвая бекешъ и вооружаясь тростью.

— Ну, вотъ, въ монастырь выдумали: еще дальше!... не все-равно молиться?... Придемъ къ кресту!... бормотала экономка и пошла.

— Идемъ, идемъ, — говорилъ Петръ Михайлычъ, идя вслѣдъ за ней и въ то же время восклицая: — скорѣй, Настасья Петровна! скорѣй! вѣчно васъ дожидайся!

Настенька, наконецъ, вышла и, вмѣстѣ съ Калиновичемъ, нагнала отца и экономку на половинѣ пути.

Монастырь, куда они шли, былъ старинный и небогатый. Со всѣхъ сторонъ его окружала высокая, толстая каменная стѣна, съ слѣдами бойницъ и съ четырьмя башнями по угламъ. Огромныя желѣзные ворота, съ изображеніемъ изъ жести двухъ архангеловъ, были почти всегда заперты, и входили въ небольшую калиточку. Два храма, одинъ съ колокольней, а другой только церковь, стоявшіе по срединѣ монастырской площадки, были тоже старинной архитектуры. Къ стѣнѣ примыкали небольшія и довольно ветхія кельи для братій и другія прислуги.

Когда Петръ Михайлычъ съ своей семьей подошелъ къ монастырю, тамъ еще продолжался унылый и медленный великопостный звонъ въ небольшой и нѣсколько-дребезжащій колоколъ. Служили въ теплой церкви, о чемъ можно было догадаться по сидѣвшему около ея входа слѣпому старику-монаху, въ круглой скуфейкѣ и худенькомъ, черномъ, нанковомъ подрясникѣ, подпоясанномъ ремнемъ. Ста-

рикъ этотъ, слѣпой отъ рожденія, нѣсколько лѣтъ служилъ чѣмъ-то въ родѣ монастырскаго привратника. Въ тридцать градусовъ мороза и въ іюльскіе жары онъ всегда въ одномъ и томъ же, ничѣмъ-неподбитомъ, нанковомъ подрясникѣ и въ худыхъ, на босу-ногу, сапогахъ, сидѣлъ около столика, на которомъ стояла небольшая икона угодника и покрытое съ крестомъ пеленою блюдо для сбора подаенія въ монастырь. Когда подошли наши богомольцы, слѣпой тотчасъ же услышалъ и всталъ.

— Святому угоднику и чудотворцу! — проговорилъ онъ, кланаясь въ поясъ.

Всѣ помолились. Петръ Михайлычъ положилъ на блюдо гривенникъ. Калиновичъ сдѣлалъ то же. Церковную паперть, куда они вошли, составлялъ огромный корридоръ, по которому шаги ихъ отдались въ высокихъ сводахъ чуткимъ эхомъ. Корридоръ этотъ, какъ и во многихъ старинныхъ церквахъ, былъ почти темный, но съ живописью на стѣнахъ изъ Ветхаго Завѣта. Петръ Михайлычъ долго осиливалъ сплошь-желѣзную, церковную дверь, которая, наконецъ, скрипя, тяжело распахнулась. Церковь была довольно большая; но величина ея казалась рѣшительно громадною отъ слабаго освѣщенія; горѣли только лампадки да тонкія восковыя свѣчи передъ мѣстными иконами, которыя, вслѣдствіе этого, какъ-бы выступали изъ иконостаса, и тѣмъ поразительнѣе было впечатлѣніе, что онѣ ничего не говорили объ искусствѣ, а напоминали мощи.

Молящихся было немного: двѣ-три старухи-мѣщанки, изъ которыхъ двѣ лежали внизъ лицомъ; мужичокъ въ сѣромъ кафтанѣ, который стоялъ на

колѣняхъ передъ иконою и, устремивъ на нее глаза, бормоталъ какую-то молитву, покачивая повременамъ бѣлокурой, включенной головой. Нѣсколько стариковъ-монаховъ помѣщалось на обычныхъ своихъ мѣстахъ у задней стѣны подъ хорами. Служилъ самъ настоятель, сѣдой, какъ лунь, и по крайнемѣрѣ лѣтъ восьмидесяти, но еще сильный, проворный, съ блестящими, пронизательными глазами. По всему околотку онъ былъ извѣстенъ, какъ религиозный сподвижникъ, нѣсколько суровый въ обращеніи и строгій къ братіи; по всѣмъ городскимъ церквамъ служба обыкновенно ужъ кончалась, а у него только была еще въ половинѣ. Ефимоны у него продолжались часа четыре. Проворно выходя изъ алтаря, очень долго молился передъ царскими вратами и потомъ уже начиналъ произносить крестопоклонныя изреченія: *Господи Владыко живота моего!* Положивъ три поклона, онъ еще долѣе молился и, вслѣдъ затѣмъ, какъ бы въ духовномъ восторгѣ, громко воскликнувъ: *Господи Владыко живота моего!* клалъ четвертый земный поклонъ и, порывисто блянясь молящимся, уходилъ въ алтарь. Стоявшій посрединѣ церкви молодой послушникъ истово и внятно начиналъ читать каноны. Въ углубленіи праваго клироса стояло человекъ пять пѣвчихъ монаховъ. Въ своихъ черныхъ клобукахъ и широкихъ рясахъ, освѣщенные сумеречнымъ дневнымъ свѣтомъ, падавшимъ на нихъ изъ узкаго, затемненнаго желѣзною рѣшеткою окна, они были въ какомъ-то полумракѣ и пѣли складными, тихими басами, какъ бы напоминая собой первобытныхъ христіанъ, таинственно совершавшихъ свое молебствіе въ мрач-

ныхъ пещерахъ. Все это не яркое, но полное таинственнаго смысла благолѣпіе храма охватило моихъ богомольцевъ: Петръ Михайлычъ сталъ впереди всѣхъ, и въ лицѣ его отразилось какое-то тихое спокойствіе. Пелагея Евграфовна ушла въ уголокъ за лѣвый клиросъ: она не любила молиться на людскихъ глазахъ. Настенька помѣстилась рядомъ съ ней и, ставъ на колѣни, начала горячо молиться, взглядывая повременамъ на задумчиво-стоявшаго у праваго клироса Калиновича.

По окончаніи ефимоновъ, Петръ Михайлычъ подошелъ къ настоятелю.

— Молебень, отецъ-игумень, желаемъ отслужить угоднику, — сказалъ онъ.

— Хорошо, — отвѣчалъ лаконически настоятель. Впрочемъ, отвѣтъ этотъ былъ еще довольно благосклоненъ: другимъ онъ только кивалъ головой; Петра Михайлыча онъ любилъ и бывалъ даже иногда въ гостяхъ у него.

— Молебень, — сказалъ онъ, стоявшимъ на клиросѣ монахамъ, и всѣ пошли въ небольшой церковный придѣлъ, гдѣ покоились мощи угодника. Началась служба. Въ то время, какъ монахи, послѣ довольно тихаго пѣнія, запѣли вдругъ громко: «Тебе, Бога, хвалимъ; Тебе, Господи, исповѣдуемъ!» — Настенька поклонилась въ землю и вдругъ разрыдалась почти до истерики, такъ что Пелагея Евграфовна принуждена была подойти и поднять ее. Послѣ молебна начали подходить къ кресту и благословенію настоятеля. Петръ Михайлычъ подошелъ первый.

— Здоровы ли вы? — спросилъ отрывисто, но благосклонно настоятель.

— Живу, святой отецъ, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ: — а вы вотъ благословите этого молодого человѣка; это нашъ новый русскій литераторъ, — присовокушилъ онъ, указывая на Калиновича.

Настоятель благословилъ того и потомъ, посмотрѣвъ на него своими пронизательными глазами, вдругъ спросилъ:

— Который вамъ годъ?

— Двадцать-восьмой, — отвѣчалъ, нѣсколько удивленный этимъ вопросомъ, Калиновичъ.

— Какъ вы старообразны! — проговорилъ настоятель и обратился къ Настенькѣ, посмотрѣвъ на нее тоже довольно пристально и спросилъ:

— Вы о чемъ расплакались?

— Отъ полноты чувствъ, отецъ игумень, — отвѣчала Настенька.

— На молитвѣ плакать не о чемъ, кромѣ, развѣ, оплакивать свои грѣхи и проступки вольные и невольные, — проговорилъ настоятель, благословляя Пелагею Евграфовну и снимая облаченіе.

Настенька покраснѣла.

— Однако, прѣщайте; ступайте домой; намъ пора запиратся, — заключилъ онъ и проворно ушелъ послѣдуемый монахами.

Когда богомольцы наши вышли изъ монастыря, былъ уже часъ девятый. Калиновичъ, пользуясь тѣмъ, что скользко и темно было идти, подалъ Настенькѣ руку, и они тотчасъ же стали отставать отъ Петра Михайлыча, который такимъ образомъ ушелъ съ Пелагеею Евграфовной впередъ.

— Ты, мать командирша, ничего не знаешь, а у насъ сегодня радость, — заговорилъ онъ.

— Какая радость? — спросила экономка.

— А такая, что Яковъ Васильичъ нашъ напечаталъ свое сочиненіе, за которое заплатятъ ему пятьсотъ рублей серебромъ.

На пятьсотъ рублей серебромъ Петръ Михайлычъ нарочно сдѣлалъ особенное удареніе, чтобъ поразить Пелагею Евграфовну; но она только вздохнула и проговорила вполголоса:

— Свой-то дѣла онъ, знаемо, что дѣлаеть, наипто только оставляетъ.

Петръ Михайлычъ призадумался немного.

— Былъ у насъ съ нимъ, сударыня, объ этомъ разговоръ, — началъ онъ: — хоть не прямой, а косвенный: я, признаться, нарочно его и завелъ... братъ меня все смущаетъ... Тамъ у нихъ это неудовольствіе съ Калиновичемъ вышло, ну да и шурымуры ихнія замѣчаетъ, такъ беспокоится...

— Какой же разговоръ у васъ былъ? — спросила Пелагея Евграфовна.

— А разговоръ нашъ былъ... — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ: — рассуждали мы, что лучше молодымъ людямъ: жениться, или не жениться? Онъ и говоритъ: «жениться на расчетѣ подло, а жениться бѣдняку на бѣдной дѣвушкѣ — глупо.

— Гм! — произнесла Пелагея Евграфовна.

— Какъ же, говорю, въ этомъ случаѣ поступать? — продолжалъ старикъ, разводя руками. — «Богатый, говоритъ, можетъ поступать, какъ хочетъ, а бѣдный долженъ себя прежде обезпечить, чтобъ, женившись, было чѣмъ жить...» И понимай, значить, какъ знаешь: клади въ мѣшокъ, дома разберешь!

— Что тутъ понимать? понимать-то тутъ нечего! — возразила съ досадою Пелагея Евграфовна.

— А понимать, — возразилъ, въ свою очередь, Петръ Михайлычъ: — можно такъ, что онъ не приступалъ ни къ чему рѣшительному, потому что у Настеньки мало, а у него и меньше того: ну, а теперь, слава Богу, кромѣ платы за сочиненія, литераторамъ и мѣста даютъ не по нашему: можетъ быть, этимъ смотрителемъ подержать года два, да вдругъ и хватятъ въ директоры: значить, и будетъ чѣмъ семью кормить.

— Что-й-то кормить! — сказала Пелагея Евграфовна съ насмѣшкою: — хоть бы и безъ этого прокормиться было бы чѣмъ... Не безприданницу какую-нибудь взялъ бы... много ли, мало ли, а все больше его. Зарылся ужь очень... прокормиться!... Экому лбу хлѣба не добыть!

— Оттого, что лобъ-то у него хорошъ, онъ и хочетъ сдѣлать осмотрительно, и я это въ немъ уважаю, — проговорилъ Петръ Михайлычъ. — А что насчетъ опасеній брата Флегонта, — продолжалъ онъ въ раздумьѣ и какъ бы утѣшая самъ себя: — чтобъ послѣ худаго чего не вышло — это вздоръ! Калиновичъ человекъ честный и въ Настеньку влюбленъ.

— Влюбленъ-то, влюбленъ, — подтвердила Пелагея Евграфовна.

Нѣчто въ родѣ этого, кажется, подумалъ и възвѣжавшій въ это время съ кляузнаго слѣдствія въ городъ толстый становой приставъ, старый холостякъ и давно извѣстный своей заклятой ненавистью къ женскому полу, доходившею до того, что

онъ бранью встрѣчалъ и бранью провожалъ даже молодыхъ солдатокъ, приходившихъ въ станъ являть свои паспорта. Поровнявшись съ молодыми людьми, онъ нѣсколько времени смотрѣлъ на нихъ и, какъ бы умилившись своимъ суровымъ сердцемъ, усмѣхнулся, потеръ себѣ носъ и вообще придалъ своему лицу плутоватое выраженіе, которымъ какъ бы говорилъ: «взжали-ста и мы на этомъ конѣ».

— Ты счастливъ сегодня? — проговорила Настенька, когда они уже стали подходить къ дому.

— Да, — отвѣчалъ Калиновичъ: — и этимъ счастьемъ я исключительно обязанъ вашему семейству.

— Отчего же намъ? Я думаю, своему таланту, — замѣтила Настенька.

— Что талантъ?.. Въ вашей семьѣ, — продолжалъ Калиновичъ: — я нашелъ и родственнй пріемъ, и любовь, и, наконецъ, покровительство въ самомъ важномъ для меня предпріятіи. Мнѣ долго не расплатиться съ вами!

— Люби меня — вотъ твоя плата.

— Разлюбить тебя я не могу и *не долженъ*, — сказалъ Калиновичъ, сдѣлавъ удареніе на послѣднемъ словѣ.

— *Не долженъ!* — повторила Настенька и задумалась: — но если это когда-нибудь случится, я этого не перенесу, умру... — прибавила она, и слезы въ три ручья потекли по ея щекамъ.

— О чемъ же ты плачешь? Этого никогда не можетъ случиться, или...

— Что или?..

— Или я долженъ переродиться нравственно, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Я вѣрю тебѣ!—проговорила Настенька, вѣрно сжимая ему руку.

На нѣкоторое время они замолчали.

— Дѣло въ томъ,—началь Калиновичъ, нахмуривъ брови: — мнѣ кажется, что твои родные какъ-будто начинаютъ меня не любить и смотрѣть на меня какими-то подозрительными глазами.

— Да кто же родные? Капитанъ? — спросила Настенька.

— Я ужь не говорю о капитанѣ. Онъ ненавидитъ меня давно, и за что — не знаю; но даже отецъ твой... онъ скрываетъ, но я постоянно замѣчаю въ лицѣ его неудовольствіе, особенно, когда я остаюсь съ тобой вдвоемъ, и наконецъ эта Пелагея Евграфовна — и та на меня хмурится.

Настенька вздохнула.

— Они догадываются о нашихъ отношеніяхъ, — проговорила она.

— Изъ чего-жъ они могутъ догадываться! Я въ отношеніи тебя, по наружности, только вѣжливъ — и больше ничего.

— Какъ изъ чего? Изъ всего: ты еще какъ то осторожниѣе, но я ужасно какъ тоскую, когда тебя нѣтъ.

— Зачѣмъ же ты это дѣлаешь?

— Ахъ, какой ты странный! — зачѣмъ? Что-жъ мнѣ дѣлать, если я не могу скрыть? Да и что скрывать? Всѣ ужь знаютъ. Дяди надняхъ говорилъ отцу, чтобъ не принимать тебя.

Калиновичъ еще болѣе нахмурился.

— Капитанъ этотъ такая дрянь, что ужасъ! — проговорилъ онъ.

— Нѣтъ, онъ очень добрый: онъ не все еще говоритъ, что знаетъ, — возразила Настенька и вздохнула. — Но что досаднѣе мнѣ всего, — продолжала она: — это его предубѣжденіе противъ тебя: онъ какъ-будто бы увѣренъ, что ты меня обманешь.

— Какъ онъ хорошо меня знаетъ! — проговорилъ Калиновичъ съ усмѣшкою.

— Онъ рѣшительно тебя не понимаетъ; да какъ-же можно отъ него этого и требовать? — отвѣчала Настенька.

Въ такого рода разговорахъ всѣ возвратились домой. Капитанъ ужь ихъ дожидался.

— Вы, я слышалъ, братецъ, въ монастырѣ изволили молиться? — спросилъ онъ Петра Михайлыча.

— Да, сударь капитанъ, въ монастырѣ были, — отвѣчалъ тотъ: — Яковъ Васильичъ благодарственный молебень ходилъ служить угоднику. Его сочиненіе напечатано съ большимъ успѣхомъ, и мы сегодня, какъ-бы въ родѣ того: побѣду торжествуемъ! Какъ бы этакъ по вашему, по военному, крѣпость взяли: у васъ слава — и у насъ слава!

— Да-съ... конечно... — подтвердилъ капитанъ.

— Однако, Петръ Михайлычъ, я непременно желаю выпить шампанскаго, — сказалъ Калиновичъ.

— Шампанскаго-то?... — проговорилъ старикъ: — грѣхъ бы, сударь; развѣ для вашей радости и говнѣе нарушить?

— Я думаю, объ этомъ всего лучше обратиться къ вамъ, почтеннѣйшая Пелагея Евграфовна, — отнесся Калиновичъ къ экономкѣ, приготовлявшѣй на столѣ чайный приборъ.

— Къ ней, къ ней! — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — добудь намъ, командирша, бутылочку шампанскаго.

Калиновичъ подалъ Пелагеѣ Евграфовнѣ деньги и при этомъ случаѣ пожалъ ей съ улыбкою руку. Онъ никогда еще не былъ столько любезенъ съ старою дѣвицею, такъ что она даже покраснѣла.

— Да ужь и объ ужинѣ кстати похлопочи, знаешь, этакъ, кое-чего копчененькаго, — присовокупилъ Петръ Михайлычъ.

— Найдемъ чего-нибудь, — отвѣчала Пелагея Евграфовна и пошла хлопотать.

Сначала она нацарапала на лоскуткѣ бумажки страшными каракульками: «путьку шампанскаго», а потомъ принялась будить спавшаго на полатяхъ Терку, котораго Петръ Михайлычъ, по выключкѣ его изъ службы, взялъ къ себѣ почти Христа-ради, потому что инвалидъ ничего не дѣлалъ, лежалъ упорно или на печи или на полатяхъ, и воды даже не хотѣлъ подсобить принести кухаркѣ, какъ та ни бранила его. Въ этотъ разъ Пелагеѣ Евграфовнѣ тоже не малаго стоило труда растолкать Терку, а потомъ втолковать ему, въ чемъ дѣло.

— Да вѣдь заперто, — отозвался инвалидъ.

— Руки-то есть, старый хрѣнь: стукнись. Пошелъ, пошелъ скорѣй! Выспишься еще; ночь то длинна! — говорила Пелагея Евграфовна.

— Ну, да, выплещись, — пробормоталъ Терка и долго еще обувался и напяливалъ свой вицмундиришко.

— Песъ этакой! пойдешь ты, али нѣтъ? — воскликнула наконецъ Пелагея Евграфовна.

— Ну! — отвѣчалъ на это Терка и, захвативъ крѣпко въ руку записочку, поплелся, а Пелагея Евграфовна велѣла кухаркѣ разложить таганъ и сама принялась стряпать.

Терка чрезъ полчаса возвратился съ одной только запиской въ рукахъ.

— Пить, не достучишься! — сказалъ онъ и преспокойно раздѣлся и взлѣзъ на полати.

Пелагея Евграфовна только плюнула.

— Вотъ стараго дармоѣда держать вѣдь тоже! — проговорила она и, дѣлать нечего, накинувшись своимъ старымъ салопомъ, побѣжала сама и достучалась. Часамъ къ одиннадцати былъ готовъ ужинъ. Въмѣсто кое-чего, оказалось къ нему приготовленными: маринованная щука, свѣжепросольная бѣлужина подъ бѣлымъ соусомъ, сушеный лещъ, поджаренныя копченныя селедки, и все это было разставлено въ чрезвычайномъ порядкѣ на большомъ кругломъ столѣ.

— Пелагея Евграфовна приготовила намъ рѣшительно римскій ужинъ, — сказалъ Калиновичъ, желая еще разъ сказать любезность экономкѣ; и когда стали садиться за столъ, непременно потребовалъ, чтобъ она тоже сѣла и не вскакивала. Вообще онъ былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа.

Передъ лещемъ Петръ Михайлычъ, наливъ всѣмъ бокалы и произнеся торжественнымъ тономъ: «за здоровье нашего молодого, даровитаго автора!» — выпилъ залпомъ. Настенька, сидѣвшая рядомъ съ Калиновичемъ, взяла его руку, пожада и выпила тоже цѣлый бокалъ. Капитанъ отпилъ половину.

Пелагея Евграфовна только прихлебнула. Петръ Михайлычъ замѣтилъ это и заставилъ ихъ докончить. Капитанъ дохлебнулъ молча и разомъ; Пелагея Евграфовна съ разстановкой, говоря: «ой будетъ, голова заболитъ», но допила.

— Позвольте и мнѣ предложить мой тостъ, — сказала Калиновичъ, вставая и наливая снова всёмъ шампанскаго. — Здоровье одного изъ лучшихъ знатоковъ русской литературы и перваго моего литературнаго покровителя! — продолжалъ онъ, протягивая бокаль къ Петру Михайлычу, и они чокнулись. — Здоровье моего маленькаго друга! — обратился Калиновичъ къ Настенькѣ и поцѣловалъ у ней руку.

Онъ въ шутку часто при всѣхъ называлъ Настеньку своимъ *маленькимъ другомъ*.

— Здоровье храбраго капитана! — присовокупилъ онъ, кланяясь Флегонту Михайлычу: — и ваше! — отнесся онъ къ Пелагеѣ Евграфовнѣ.

— Ура! — заключилъ Петръ Михайлычъ.

Всѣ выпили.

— Капитанъ! — обратился Петръ Михайлычъ къ брату: — протяните вашу воинственную руку нашему литератору: Аполлонъ и Марсъ должны жить въ дружелюбіи. Яковъ Васильичъ, чокнитесь съ нимъ.

— Очень-радъ, — отвѣчалъ Калиновичи, проворно наливъ себѣ и капитану шампанскаго, чокнулся съ нимъ и потомъ, взявъ его за руку, крѣпко сжалъ ее. Капитанъ, впрочемъ, не отвѣтилъ ему тѣмъ-же.

— Да прекратятся между вами всѣ недоразумѣнія, да будетъ между вами на будущее время миръ и согласіе! — произнесъ Петръ Михайлычъ.

— Надѣюсь, что современемъ, когда Флегонтъ

Михайлычъ узнаеть меня лучше, перемѣнитъ свое мнѣніе обо мнѣ, — сказалъ Калиновичъ.

— Я самъ тоже надѣюсь: вы человекъ образованный...—проговорилъ капитанъ, взглянувъ вскользь на Настеньку.

Калиновичъ, вмѣсто отвѣта, еще разъ сжалъ руку капитану.

Такимъ образомъ кончился этотъ маленькій банкетъ, на которомъ такъ много и такъ искренно сочувствовали и радовались успѣху Калиновича.

«Родятся же на свѣтѣ такіе добрые и хорошіе люди!» думалъ онъ, возвращаясь въ раздумьѣ на свою квартиру.



ТЫСЯЧА ДУШЪ.

РОМАНЪ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Покуда происходили такого рода знаменательныя происшествія въ моемъ маленькомъ мірку, въ домѣ генеральши слѣдовала одна за другой непріятности. Первоначально съ ней сдѣлался, Богъ уже знаетъ отъ чего, ударъ, который хотя и миновался безъ особенно важныхъ послѣдствій, но имѣлъ нѣкоторое вліяніе на ея умственные способности. Исправница, успѣвшая окончательно втереться къ нимъ въ домъ, рассказывала, что м-лле Полина была въ совершенномъ отчаяніи. Любя мать, она въ душѣ страдала больше, нежели сама больная, тѣмъ болѣе, что какъ она ни уговаривала, какъ ни умоляла ее ѣхать въ Москву или хоть бы въ губернской городъ, пользоваться — та и слышать не хотѣла. «Послѣ болѣзни скупость ея, — прибавляла исправница по секрету, —

еще больше увеличилась». А между тѣмъ на второй недѣлѣ поста старушку постигла еще новая непріятность. Медіокритскій, оставшійся ея повѣреннымъ, потерявъ мѣсто, недѣли двѣ безвыходно пилъ въ извѣстномъ трактирѣ. Генеральша, не зная этого, довѣрила ему, какъ и прежде часто случалось, получить съ почты 1000 рублей серебромъ. Тотъ получилъ — и съ тѣхъ поръ болѣе не являлся, скрылся даже изъ города неизвѣстно куда. Можете судить, какое впечатлѣніе произвела эта дерзость и потеря такой значительной суммы на больную! Съ ней опять сдѣлалось что-то въ родѣ параличнаго припадка, такъ что никакихъ силъ болѣе не доставало у m-lle Полины. Она написала коротенькую, но раздушонную записочку къ князю Ивану и отправила потихоньку съ нарочнымъ. Тотъ на другой же день пріѣхалъ. Генеральша, никакъ не ожидавшая князя, очень ему обрадовалась. Въ какіе-нибудь четверть часа, онъ такъ ее разговорилъ, успокоилъ, что она захотѣла перебраться изъ спальни въ гостиную, а князь между тѣмъ отправился повидаться кой съ кѣмъ изъ своихъ знакомыхъ.

Въ дальнѣйшемъ ходѣ романа лицо это приметъ довольно серьезное участіе, а потому я считаю необходимымъ сообщить о немъ нѣсколько подробностей. Нѣкогда адъютантъ гвардейскаго генерала, щеголявшего своими адъютантами, а теперь прекрасно живущій помѣщикъ, онъ считался однимъ изъ первыхъ тузовъ. Не смотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, князь могъ еще быть названъ, по всей справедливости, мужчиною замѣчательной красоты: благообразный съ лица и нѣсколько уже плѣшивый, что,

впрочемъ, къ нему очень пло: средняго роста, умѣренно-полный, съ маленькими, красивыми руками, одѣтый всегда молодо, щеголевато и со вкусомъ, онъ имѣлъ тѣ пріятныя манеры, которыя напоминали нѣсколько манеры вѣтренныхъ, но милыхъ маркизовъ. Къ этой наружности князь присоединялъ самое обаятельное, самое свѣтское обращеніе: знакомый почти со всей губерніей, онъ обыкновенно съ помѣщиками богатыми и чиновниками значительными былъ до утонченности вѣжливъ и даже нѣсколько почтителенъ; къ дворянамъ же небогатымъ и чиновникамъ неважнымъ относился необыкновенно ласково и обязательно, и вообще, кажется, во всю свою жизнь, кромѣ пріятнаго и лестнаго, никому ничего не говорилъ. Никогда никто не слыхалъ, чтобъ онъ о комъ-нибудь отозвался въ рѣзкихъ выраженіяхъ дурно или насмѣшливо, хоть въ то же время любилъ и умѣлъ, особенно на французскомъ языкѣ, сказать остроту, но только ни къ кому не относящуюся. Кто бы къ нему ни обращался съ какой просьбой: просила ли, обливаясь горькими слезами, вдова помѣщика похлопотать, когда онъ ѣхалъ въ Петербургъ, о помѣщеніи дѣтей въ какое-нибудь заведеніе, прибѣгалъ ли къ покровительству его попавшійся во взяткахъ полупьяный чиновникъ — отказа никому и никогда не было; имѣли ли окончательный успѣхъ, или нѣтъ эти просьбы — то другое дѣло. Большой частью онѣ, по стеченію обстоятельствъ, не исполнялись. Кромѣ того, знакомясь съ новымъ лицомъ, князь имѣлъ удивительную способность съ перваго же раза угадывать конекъ каждаго, и направлялъ обыкновенно разговоръ на са-

мые интересныя для того предметы. Вслѣдствіе этого, всѣ новыя знакомыя, особенно лица, почему либо нужныя князю, всегда приходили въ восторгъ отъ знакомства съ нимъ. Семь губернаторовъ, смѣнявшіеся въ послѣднее время одинъ послѣ другаго, считали его самымъ благороднымъ и преданнымъ себѣ человѣкомъ и искали только случая сдѣлать ему что-нибудь пріятное. Прочія власти тоже, начиная съ предсѣдателей палатъ до послѣдняго писца въ ратушѣ, готовы были служить для него по службѣ всѣмъ, что только отъ нихъ зависѣло. Въ деревнѣ своей князь жилъ въ полномъ смыслѣ баринномъ, имѣлъ четырехъ дѣтей, изъ которыхъ два сына служили въ кавалергардахъ, а у старшей дочери, съ самой ея колыбели, были и нѣмки, и французки, и англичанки, стоившія, вѣроятно, тысячь. Самъ онъ, почти каждый годъ, два-три мѣсяца жилъ въ Петербургѣ, а года два назадъ, вѣдиль даже, по случаю болѣзни жены, со всѣмъ семействомъ за-границу, на воды и провелъ тамъ все лѣто. При такихъ широкихъ размахахъ жизни, князь, казалось, давно бы долженъ былъ промотаться въ пухъ, тѣмъ болѣе, что послѣ отца, извѣстнаго мота, онъ получилъ, какъ всѣ очень хорошо знали, какихъ-нибудь триста душъ, да и тѣ въ залогъ. Женатъ былъ на дамѣ очень милой, образованной, нѣкогда красавицѣ и пѣвицѣ, но за которой тоже ничего не взялъ. Не смотря однако на все это, онъ не только не проматывался, но еще пріобрѣталъ и, вмѣсто трехъ сотъ душъ, у него уже была слишкомъ тысяча. Къ объясненію всего этого ходилѣ, конечно, по губерніи нѣсколько темныхъ и неопредѣленныхъ

слуховъ, въ родѣ того, на примѣръ, какъ чрезчуръ ужь хозяйственныя въ свою пользу распоряженія по одному огромному имѣнію, находившемуся у князя подъ опекой; участіе въ постройкѣ дома, на дворянскія суммы, который потомъ развалился; участіе будто бы въ Петербургѣ въ одной торговой компаніи, въ которой князь былъ распорядителемъ, и въ которой потомъ всѣ участники потеряли безвозвратно свои капиталы; отношенія князя къ одному очень важному и значительному лицу, его прежнему благодѣтелю, который любилъ его, какъ роднаго сына, а потомъ вдругъ удалилъ отъ себя и даже запретилъ называть при себѣ его имя, и наконецъ очень тѣсная дружба съ домомъ генеральши, и ту какъ-то различно понимали: кто обращалъ особенное вниманіе на то, что для самой старухи каждое слово князя было закономъ, и что она, дрожавшая надъ каждой копѣйкой, ничего для него не жалѣла и, какъ извѣстно по маклерскимъ книгамъ, лѣтъ пять назадъ, дала ему подъ вексель двадцать тысячъ серебромъ, а другіе говорили, что m-lle Полина дружила съ княземъ, чѣмъ мать, и что, когда онъ пріѣзжалъ, они, отправивъ старуху спать, по нѣскольکو часовъ сидятъ вдвоемъ, затворившись въ кабинетъ — и такъ далѣе... Всему этому, конечно, большая часть знакомыхъ князя не вѣрила; а если кто отчасти и вѣрилъ, или даже самъ доподлинно зналъ, такъ не считалъ себя вправѣ разглашать, потому-что каждый почти былъ если не обязанъ, то по крайней мѣрѣ обласканъ имъ.

Въ настоящій свой проѣздъ, князь, посидѣвъ со старухой, отправился, какъ это всякій разъ почти

дѣлать, посѣтитъ кой-кого изъ своихъ городскихъ знакомыхъ и сначала завернулъ въ присутственныя мѣста, гдѣ въ уѣздномъ судѣ, не заставъ членовъ, сказалъ небольшую любезность секретарю, ласково поклонился попавшемуся у дверей земскаго суда разсыльному, а встрѣтивъ на улицѣ исправника, выразилъ самую неподдѣльную, самую искреннюю радость, и, по-крайней-мѣрѣ, около пяти минутъ держалъ его за обѣ руки, сжимая ихъ съ чувствомъ. Проѣзжая потомъ по главной улицѣ, князь встрѣтилъ Петра Михайлыча, и тому еще издали снялъ шляпу, кланялся и улыбался. Петръ Михайлычъ, съ своей стороны, подошелъ къ нему, расшаркался и отдалъ почтительный поклонъ. Онъ уважалъ князя и выражался о немъ такимъ образомъ: «Тайлеранъ, сударь, нашего времени, Тайлеранъ.»

— Здоровы ли вы?— сказалъ князь, дружески сжимая руку Петра Михайлыча.

— Благодарю васъ покорно, слава Богу, живу еще,— отвѣчалъ тотъ.

— Очень, очень радъ васъ видѣть,— продолжалъ князь.

Петръ Михайлычъ поклонился.

— Давно не изволили жаловать къ намъ въ городъ, ваше сіятельство,— сказалъ онъ.

— Что дѣлать! что дѣлать!— отвѣчалъ князь:— но полагаю, что здѣсь идетъ все по старому, значить, хорошо и благополучно,— прибавилъ онъ.

— Конечно-съ, — подтвердилъ Петръ Михайлычъ:— какія здѣсь могутъ быть перемѣны. Впрочемъ,— продолжалъ онъ, устремляя на князя пристальный взглядъ:— есть одна и довольно важная но-

вость. Здѣшняго новаго господина смотрителя училищнаго изволите знать?

— Да, какъ же, какъ же, знаю, видалъ его: очень, кажется, порядочный молодой человекъ.

— Очень хорошій-сь, — подтвердилъ Петръ Михайлычъ: — и теперь написалъ романъ, которымъ прославился на всю Россію, — прибавилъ онъ нѣсколько уже нетвердымъ голосомъ.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнулъ князь: — романъ написалъ.

— Вы можетъ-быть даже читали его: *Странная отношенія* называется? — проговорилъ Петръ Михайлычъ съ почтеніемъ.

— Да, читалъ, читалъ и, по-крайней-мѣрѣ, съ полчаса ломалъ голову: вижу, фамилія знакомая, а вспомнить не могу. Очень, очень мило написано!

Говоря это, князь отъ перваго до послѣдняго слова лгалъ, потому-что онъ не только романа Калиновича, но никакой, я думаю, книги, кромѣ газетъ, лѣтъ двадцать ужъ не читывалъ.

— Теперь критики только и дѣло что расхваливаютъ его нарасхватъ, — продолжалъ между-тѣмъ Годневъ гораздо уже болѣе ободреннымъ тономъ: — и мнѣ тѣмъ пріятнѣе, — прибавилъ онъ, склоняя по обыкновенію голову набокъ, — что вы, человекъ образованный и знакомый со многими иностранными литературами, такъ отзываетесь, а здѣшніе нѣкоторые господа не хотятъ и вниманія обратить на это сочиненіе, и еще смѣются!

Князь покачалъ головою.

— Какъ это можно! — проговорилъ онъ.

— Что дѣлать! Не славенъ пророкъ въ отече-

ствѣ своемъ!— отвѣчалъ со вздохомъ Петръ Михайлычъ.

— Отчего же?... Нѣтъ!... По-крайней-мѣрѣ, я сейчасъ же заверну къ г. Калиновичу поблагодарить его за доставленное мнѣ наслажденіе. До свиданія.

Проговоря это, князь, съ прежнимъ радушіемъ пожавъ руку старику, поѣхалъ.

Надобно сказать, что Петръ Михайлычъ, со времени полученія изъ Петербурга радостнаго извѣстія о напечатаніи повѣсти Калиновича, постоянно занимался распространеніемъ славы своего молодаго друга, и въ этомъ случаѣ чувства его были до того преисполнены, что онъ въ первое же воскресенье завелъ на эту тему рѣчь со старикомъ-купцомъ, церковнымъ старостой, выходя съ нимъ послѣ заутрени изъ церкви.

— Вотъ вы, нѣкоторые изъ купечества, избѣгаете образовывать дѣтей вашихъ. Это очень нехорошо!— началъ было онъ.

Староста, старикъ старинный, закоренѣлый, скупой, но умный и прехитрый, полагая, что не на его ли счетъ будетъ что-нибудь говориться, повернулъ голову нѣсколько набокъ и сталъ прислушиваться единственно-слышавшимъ правымъ ухомъ, на которое, впрочемъ, смотря по обстоятельствамъ, притворялся тоже иногда глухимъ.

— Теперь, вотъ, мой преемникъ, смотритель, — продолжалъ Петръ Михайлычъ:— сирота круглый, бѣднякъ, а по образованію своему дѣлается сочинителемъ: стало быть, человѣкомъ знатнымъ и богатымъ.

Купецъ только пожалъ плечами.

— Всякому, сударь, доложить вамъ, человѣку вое счастье!—сказалъ онъ вздохнувъ, и тотѣмъ три-поднявъ фуражку и проговоря:—прощенья просимъ, ваше высокоблагородіе! — поворотилъ въ свой переулокъ и скрылся за тяжеловѣсную дубовую калитку, которую, кромѣ защелки, заперъ еще припоромъ и спустилъ съ цѣпи собаку.

Отнеся такое невниманіе не болѣе какъ къ невѣжеству русскаго купечества, Петръ Михайлычъ въ тотъ же день, придя на почту отправить письмо, не преминулъ заговорить о любимомъ своемъ предметѣ съ почтмейстеромъ, котораго онъ считалъ, по образованію, первымъ послѣ себя человѣкомъ.

— Вы знаете моего преемника?—спросилъ онъ.

— Былъ, сударь, у меня,—отвѣчалъ тотъ и почему-то вздохнулъ.

— Сочиненъе теперь написалъ, которымъ прославился на всю Россію.

— Какое-съ это? О, Господи помилуй!—проговорилъ почтмейстеръ, кидая, по обыкновенію, вороткій взглядъ на образа.

— Романическое!

Почтмейстеръ поглядѣлъ нѣсколько времени черезъ очки на Петра Михайлыча, какъ бы съ видомъ нѣеотораго сожалѣнія.

— Намъ съ вами, въ наши лѣта, пора бы и другія книжки ужъ почитать, — проговорилъ онъ.

— Что-жь, я почитаваю тѣ и другія,—отвѣчалъ Петръ Михайлычъ, замѣтно сконфуженный этимъ замѣчаніемъ, и потомъ, посеменивъ еще нѣсколько времени ногами, раскланялся.

— Умный бы старикъ, но очень ужъ односторо-

ненъ,— говорилъ онъ, идя домой и все еще, видно, мало наученный этими опытами, на той же недѣлѣ придя въ казначейство получать пенсію, не утерпѣлъ и заговорилъ съ казначеемъ о Калиновичѣ.

— Самъ ходитъ новый смотритель къ вамъ въ кладовую ставить шкатулку-то?— спросилъ онъ его такъ, будто къ слову.

— Самъ,— отвѣчалъ казначей и икнулъ.

— Романъ онъ сочинилъ, и за какія-нибудь сто печатныхъ страничекъ ему шестьсотъ рублей серебромъ отсыплютъ.

Петръ Михайлычъ желалъ поразить казначея, какъ и Пелагею Евграфовну, деньгами; но тотъ и на это ничего не сказалъ, а только опять икнулъ. Годневъ наконецъ понялъ, что этотъ разговоръ нисколько не интересовалъ казнохранителя, а потому поднялся.

— До свиданья,— сказалъ онъ.

— До свиданья,— проговорилъ казначей и еще разъ икнулъ.

«Экъ его!»— подумалъ про себя Петръ Михайлычъ и замѣтилъ вслухъ:

— Вѣрно желудокъ испортили: все икаетъ?

— Нѣтъ, такъ, поминаетъ кто-нибудь,— отвѣчалъ казначей.

Выйдя на крыльцо, Петръ Михайлычъ нѣкоторое время стоялъ въ раздумѣ.— Ну, попробую еще,— проговорилъ онъ и взобрался въ земскій судъ, гдѣ засталъ довольно большую компанію: исправника, непремѣннаго члена и, кромѣ того, судью и засѣдателя: они пришли изъ своего суда посидѣть въ земскій. Секретарь, молодой еще человекъ, только-что

начинавшій свою уѣздную карьеру, ласкалъ всѣхъ добрымъ взглядомъ. Два рыжіе писца, родные братья Медіокритскаго, тоже молодые люди, владѣвшіе замѣчательно-красивымъ почеркомъ, стояли у стеклянныхъ дверей присутствія и обнаруживали большое вниманіе къ тому, что тамъ происходило.

Всѣхъ занималъ нѣкто, пріѣхавшій въ городъ, помѣщикъ Прохоровъ, мужчина лѣтъ шестидесяти и громаднѣйшаго роста. По случаю спора о военной службѣ, онъ дѣлалъ теперь кочергой, какъ бы ружьемъ, разные артикулы и маршировалъ. Судья ему командовалъ: «разъ, два! разъ, два!»—говорилъ онъ, колотя себя по ляжкѣ. Прохоровъ, съ крупными каплями поту на лицѣ, маршировалъ самымъ добро-совѣстнымъ образомъ. «Стой!» скомандовалъ судья. Прохоровъ остановился. «Дирекція налѣво!»—крикнулъ судья. Прохоровъ повернулъ нѣсколько налѣво свои бычачьи глаза. «Заряженіе на двѣнадцать темповъ!» скомандовалъ судья. Прохоровъ сначала представлялъ, что какъ-будто бы онъ вынулъ патронъ, потомъ скусилъ его, опустилъ въ дуло, прибилъ шомполомъ, наконецъ взвелъ курокъ, прицѣлился. «Пли!»—крикнулъ судья. Прохоровъ выпалилъ ртомъ. «Чисто дѣлаетъ»—замѣтилъ непремѣнный членъ за-сѣдателя.— «Еще бы!»—подтвердилъ тотъ.

Въ подобномъ обществѣ странно бы, казалось, и совершенно бесполезно начинать разговоръ о литературѣ, но Петръ Михайлычъ не утерпѣлъ, и прежде еще высмотрѣвъ на окна именно тотъ номеръ газеты, въ которой былъ расхваленъ Калиновичъ, взялъ его и, проговоря скороговоркой:

— Про здѣшняго одного господина тутъ пишутъ,—

и прочелъ весь отзывъ вслухъ. При этой выходкѣ его всё потупились и молчали, какъ-будто старикъ сказалъ какую-нибудь глупость, или сдѣлалъ неприличный поступокъ.

— Что ужь, господа ученое званіе, про васъ и говорить! вамъ и книги въ руки!— сказалъ Прохоровъ, дѣлая кочергой на караулъ.

Петру Михайлычу это показалось обидно.

— Что-жь, книги въ руки? Въ книгахъ, сударь, ничего нѣтъ худаго; тутъ не надъ чѣмъ, кажется, смѣяться,— замѣтилъ онъ.

— Что-жь, плакать что-ли намъ надъ вашими книгами?— съострилъ Прохоровъ.

Всѣ засмѣялись.

Петръ Михайлычъ промолчалъ и поспѣшилъ уйти.

Съ мѣсяцъ потомъ онъ ни съ кѣмъ не заговаривалъ о Калиновичѣ, и даже въ сценѣ съ княземъ, какъ мы видѣли, приступилъ къ этому довольно осторожно. Но любезность того сразу, такъ сказать, испушила для старика всё его неудачи по этому предмету и умилила его до глубины души. Услышавъ звонъ къ поздней обѣднѣ, онъ пошелъ въ соборъ поблагодарить Бога, что ужь и въ провинціи начинается образованіе, особенно въ дворянскомъ быту, гдѣ прежде были только кутилы, собачники, картѣжники, никогда не читавшіе никакихъ книгъ. Князь между тѣмъ заѣхалъ къ Калиновичу на минуту и, выѣхавъ отъ него, вернулся къ старой барышнѣ-помѣщицѣ, у которой, по ея просьбѣ и къ успокоенію ея, сдѣлалъ строгое внушеніе двумъ ея краснощекимъ горничнымъ, чтобъ

онѣ служили госпожѣ хорошо и не дѣлали, что прежде дѣлали.

Въ домѣ генеральши между тѣмъ, по случаю пріѣзда гостя, происходила суетня: ключница отвѣщивала сахаръ, лакеи заливали въ лампы масло и приготавливали стеариновые свѣчи; худощавый метръ-дотель успѣлъ уже сбѣгать въ ряды и захватить всю крупную рыбу, купилъ самаго высшаго сорта говядины и взялъ въ погребокъ очень дорогаго рейнвейна. Князь былъ большой гастрономъ и пилъ за столомъ только одинъ рейнвейнъ высокой цѣны. Часу въ первомъ генеральша перешла изъ спальни въ гостиную и, обложившись подушками, сѣла на свой любимый угловой диванъ. На подзеркальномъ столикѣ лежала кипа книгъ и огромный тюрникъ съ конфектами; первая князь привезъ изъ своей библиотeki для m-lle Полины, а конфекты предназначилъ для генеральши. Она была вообще до сладкаго большая охотница, и такъ какъ у князя былъ превосходный кондитеръ, такъ онъ очень часто прибылалъ и привозилъ старухѣ фунта по четыре, по пяти самыхъ отборныхъ печеній, доставляя ей тѣмъ большее удовольствіе. M-lle Полина, рѣшительно ожившая и вздохнувшая свободно отъ пріѣзда князя, разливала кофе изъ серебрянаго кофейника въ дорогія фарфоровыя чашки, разставленныя тоже на серебряномъ подносѣ. Князь очень удобно помѣстился на мягкомъ креслѣ. Генеральша лѣниво, но ласково смотрѣла на него и потомъ начала взглядывать на разлитый по чашкамъ кофе.

-- Полина, какъ хочешь, дай мнѣ кофею, — проговорила она.

У старухи послѣ болѣзни сдѣлался ужасный аппетитъ.

— Мамаша... — произнесла Полина полууворизненнымъ, полуумоляющимъ голосомъ.

Генеральша, пожавъ плечами, отвернулась отъ дочери. М-ле Полина покачала головой и вздохнула.

— Небольшую чашечку кофею ничего, право ничего, — рѣшилъ князь.

— И я тоже утверждаю; но что-же мнѣ дѣлать, если мнѣ нельзя и все вредно, по мнѣнію Полины, — произнесла старуха оскорбленнымъ тономъ. М-ле Полина грустно улыбнулась и налила чашку.

— Извольте, маман, кушайте; я для васъ же... — проговорила она, подавая матери чашку.

Генеральша медленно, но съ большимъ удовольствіемъ начала глотать кофе, и при этомъ съѣла два куска бѣлаго хлѣба,

— Кофе хорошъ, — заключила она.

— Стаканъ воды, *ma tante*, стаканъ воды непременно извольте выкушать! Этимъ правиломъ никогда не манкируйте, — сказалъ князь, погрозя пальцемъ.

— Я согласна, — отвѣчала генеральша такимъ тономъ, какъ-будто дѣлала въ этомъ случаѣ весьма большое одолженіе.

М-ле Полина позвонила: вошелъ лакей.

— Холодной? — спросила она, обращаясь къ князю.

— Самой холодной, — отвѣчалъ тотъ.

— Воды холодной маменькѣ, — сказала она человеку.

Тотъ ушелъ и возвратился съ водою. М-ле По-

лина напередъ сама ее попробовала, приложивъ руку къ стакану.

— Кажется, холодна? — обратилась она къ князю. Тотъ же приложилъ руку къ стакану.

— Хороша, — сказалъ онъ и подалъ стаканъ генеральшѣ.

Та медленно отпила половину.

— Будетъ, — проговорила она.

— Нѣтъ, ma tante, какъ угодно, весь, непременно весь, — возразилъ князь.

— Допейте, тамап; иначе кофе вамъ повредитъ! — подтвердила Полина.

Генеральша нехотя допила.

— Охъ, вы меня совсѣмъ залечите! — сказала она и въ то же время медленно обратила глаза къ лежащимъ на столѣ конфетамъ.

— За то, что я тебя, дружокъ, послушалась, дай мнѣ одну конфетку изъ твоего подарка, — произнесла она кротко.

— Можно ли до обѣда, тамап, — замѣтила Полина.

— Ничего, ничего, это самыя невинныя, — разрѣшилъ князь и поднесъ генеральшѣ, вмѣсто одной, три конфеты.

Та начала ихъ съ большимъ удовольствіемъ зубрить, а потомъ постепенно склонила голову и задремала.

— Ребенокъ, совершенный ребенокъ! — произнесъ князь шопотомъ.

М-me Полина вздохнула.

— Совершенный ребенокъ! — повторилъ онъ и, пересѣвъ на довольно отдаленный стулъ, закурилъ сигару.

Полина сѣла около него. Князь нѣкоторое время смотрѣлъ на нее съ замѣтнымъ участіемъ.

— Однако, какъ вы, кузина, похудѣли! Боже мой, Боже мой! — началъ онъ тихо.

Полина грустно улыбнулась.

— Ты спроси, князь, — отвѣчала она полупшепотомъ:— какъ я еще жива. Столько перенести, столько страдать, сколько я страдала это время, — я и не знаю!... Пять лѣтъ прожить въ этомъ городишкѣ, гдѣ я человѣческаго лица не вижу; и теперь еще эта болѣзнь... ни дня, ни ночи нѣтъ покоя... вѣчные капризы... вѣчныя жалобы... и наконецъ эта отвратительная скупость — ей-богу, невыносимо, такъ что приходятъ иногда такія минуты, что я готова, Богъ знаетъ, на что рѣшиться.

Князь пожалъ плечами.

— Терпѣніе и терпѣніе. Всякое зло должно же когда-нибудь кончиться, а этому, кажется, недалеко конецъ, — сказалъ онъ, указывая глазами на генеральшу.

— Терпѣніе! тебѣ хорошо говорить! Конечно, когда ты пріѣзжаешь, я счастлива, но даже и наши отношенія, какъ ты хочешь, они ужасны. Мнѣ рѣшительно надобно выдти замужъ.

— А что же Москва? — спросилъ князь.

— Ничего. Я знала, что все пустяками кончится. Ей просто жаль мнѣ приданого. Сначала на первое письмо она отвѣчала ему очень хорошо, а потомъ, когда тотъ намекнулъ насчетъ состоянія, Боже мой! вышла изъ себя, меня разбранила и написала ему какой только можешь ты себѣ вообразить, дерзкій отвѣтъ.

— O! mon Dieu, mon Dieu, — проговорилъ князь, поднимая кверху глаза.

— У меня теперь гривенника на булавки нѣтъ, — продолжала Полина. Что-же это такое? пятьсотъ душъ покойнаго отца — мои по закону. Я хотѣла съ тобой, кузенъ, давно объ этомъ посоветоваться: нельзя ли хоть по закону получить мнѣ это состояніе себѣ: оно мое?

Въ продолженіе этого монолога князь нахмурился.

— Оно ваше, и по закону вы сейчасъ же могли бы его получить, — произнесъ онъ съ удареніемъ: — но вы вспомните, кузина, что выйдетъ страшная вражда, будетъ огласка — вы дѣвушка, и явно идете противъ матери!

— Но если я выйду замужъ, это будетъ очень натурально. Должна же я буду чѣмъ-нибудь жить съ мужемъ?

Князь въ знакъ согласія кивнулъ головой.

— Тогда, конечно, будетъ совсѣмъ другое дѣло, — началъ онъ: — тогда у васъ будетъ своя семья, отдѣльное существованіе; тогда хочешь или нѣтъ, а отдать должна; *chère cousine*, — продолжалъ онъ, пожавъ плечами: — надобно напередъ выдти замужъ, хоть бы даже убѣжать для этого пришлось; а за кого?... Что прикажете въ здѣшнемъ медвѣжьемъ закоулкѣ дѣлать? Я часто перебираю въ головѣ здѣшнихъ жениховъ, — нѣтъ и нѣтъ! Кто посолиднѣй и получше, не хотятъ жениться, а остальная молодежь такая, что не только выдти замужъ за кого-нибудь изъ нихъ и въ домъ принять неловко.

Въ отвѣтъ на это Полина вздохнула.

— Я предчувствую, — начала она: — что мнѣ здѣсь

придется задохнуться.. Чтб́, что я богата, дочь генерала, что у меня однихъ брильянтовъ на сто тысячъ — чтб́ изъ всего этого? Я несчастнѣе каждой дочери приказнаго здѣшняго; для тѣхъ хоть какія-нибудь удовольствія существуютъ...

При послѣднихъ словахъ у Полины показались на глазахъ слезы.

— Господи, Боже мой! — продолжала она: — я не ищу въ будущемъ мужѣ моемъ ни богатства, ни знатности, ни чиновъ: былъ бы человекъ приличный и полюбилъ бы меня, чтобъ я хоть сколько-нибудь нравилась ему...

Въ это время генеральша звѣнула и полуоткрыла глаза.

— Полина, ты здѣсь? — сказала она.

— Здѣсь, таман, — отвѣчала Полина и, тотчасъ же вставъ, отошла отъ князя къ столику, на которомъ лежали книги.

— Что ты дѣлаешь? — спросила генеральша.

— Книги смотрю.

— Какія книги.

— Которыя князь привезъ, — отвѣчала съ досадою Полина.

— Какія книги онъ привезъ? — спросила старуха.

— Журналы, *ma tante*, журналы, — подхватилъ князь и потомъ, взявшись за лобъ и какъ бы вспомнивъ что-то, обратился къ Полинь. — Кстати, тутъ вы найдете повѣсть или романъ одного здѣшняго господина, зрителя уѣзднаго училища. Я не читалъ самъ, но по газетамъ видѣлъ — хвалятъ.

М-ше Полина начинала припоминать.

— Смотритель...— сказала она, прищурива глаза:— онъ былъ, кажется, у насъ?

— Былъ?— спросилъ князь.

— Да, былъ;— но маман сухо его приняла, и онъ съ тѣхъ поръ не бывалъ.

— О чемъ вы говорите?— спросила опять старуха.

— О сочиненіяхъ, *ma tante*, о сочиненіяхъ,—отвѣчалъ князь, и опять взявшись за лобъ, проговорилъ тихо и съ улыбкой Полинѣ:— *Voilà notre homme!* — Займитесь, развлекитесь: молодой человекъ *très comme il faut!*— Полина тоже усмѣхнулась.

— Именно готова,— отвѣчала она:— впрочемъ, онъ и тогда мнѣ понравился:— очень милый.

— Очень милый!— подтвердилъ князь.

— Обѣдать готово?— вмѣшалась старуха.

M-me Полина пожала плечами.

— Мы недавно, маман, кофе пили.

— Рано, *ma tante*, очень рано; всего еще первый часъ,—подхватилъ князь, смотря на часы.

Старуха сдѣлала недовольную мину и снова начала какъ бы дремать.

— Я сейчасъ завѣжалъ къ нему, и завтра, вѣроятно, онъ будетъ у меня,—произнесъ князь, обращаясь къ Полинѣ.

Та опять грустно, но улыбнулась.

II.

Возвратившись домой изъ училища, Калиновичъ сейчасъ замѣтилъ билетъ князя, который приняла у него приказничиха и заткнула его, какъ, видела она, это дѣлается у богатыхъ господъ, за зеркало, а

сама и говорить ничего не хотѣла постояльцу, потому что болѣе полугода не вланилась даже съ нимъ и не отказывала ему отъ квартиры только для Пелагеи Евграфовны, не желая сдѣлать ей неприятность. На оборотной сторонѣ билетика, рукою князя было написано: *запжжалъ поблагодарить автора за доставленное мнѣ удовольствіе!* Прочитавъ фамилію и надпись, Калиновичъ улыбнулся и потомъ, подумавъ немного, сбросилъ съ себя свой поношенный вицмундиръ, тщательно выбрился, на помадился, причесался и, надѣвъ черную фракную пару, отправился сначала къ Годневымъ. Настенька, по обыкновенію, ждала его въ залѣ у окна и, по обыкновенію, очень ему обрадовалась, взяла его за руку и посадила около себя.

— Откуда ты сегодня такой нарядный?— сказала она.

— Ни откуда, — отвѣчалъ Калиновичъ, и потомъ, помолчавъ, прибавилъ: — у меня сейчасъ нечаянный гость былъ.

— Кто такой?— спросила Настенька.

Вмѣсто отвѣта, Калиновичъ подалъ ей билетъ князя. Настенька, прочитавъ фамилію и приписку, улыбнулась.

— Какая любезность!— Только жалко, что не во-время, — проговорила она.

— Почему-жь не во-время? — спросилъ Калиновичъ.

— Конечно не во-время! — Когда напечатался твой романъ, ты ни умнѣе сталъ, ни лучше: отчего же онъ прежде не дѣлалъ тебѣ визитовъ и знать тебя не хотѣлъ?

— Напротивъ,— онъ былъ всегда очень любезенъ со мной, и я всегда желалъ съ нимъ сблизиться. Человѣкъ онъ очень умный...

Настенька сомнительно покачала головой.

— Не знаю,— прибавила она:—я видѣла его раза два; лицо совершенно какъ у іезуита. Не нравится онъ мнѣ; должно быть, очень хитрый.

Калиновичъ ничего не возражалъ и придавъ лицу своему такое выраженіе, которымъ какъ бы говорилъ: «всякій можетъ думать по своему».

Между тѣмъ Петръ Михайлычъ тоже возвратился домой и переодѣвался въ своемъ кабинетѣ. Услышавъ голосъ Калиновича, онъ закричалъ:

— Калиновичъ, вы здѣсь?

— Здѣсь,— отвѣчалъ тотъ.

— У васъ гость былъ, князь заѣзжалъ къ вамъ.

— Знаю,— отвѣчалъ Калиновичъ.

— Что-жь вы думаете сдѣлать? продолжалъ старикъ входя. — Э! да вотъ вы встали и приодѣлись... Съѣздите къ нему, сударь, сейчасъ же съѣздите! Подите-ка, какъ онъ васъ до небесъ превозноситъ.

— Зачѣмъ же сейчасъ?—вмѣшалась Настенька:— не успѣлъ онъ завернуть, какъ и бѣжать къ нему на поклонъ. Какое благодѣяніе оказалъ... это смѣшно!

— Ужасно смѣшно! много ты понимаешь! — перебилъ Петръ Михайлычъ.—Зачѣмъ ѣхать? — продолжалъ онъ:— а затѣмъ, что требуетъ этого вѣжливость, да кромѣ того, князь—человѣкъ случайный и можетъ быть полезенъ Якову Васильичу.

— Чѣмъ же онъ можетъ быть полезенъ Якову Васильичу? Вотъ это интересно; этого я точно не понимаю.

Петръ Михайлычъ разсердился.

— Нѣтъ, ты понимаешь, только въ тебѣ это твоя гордость говорить! — вскрикнулъ онъ, стукнувъ по столу. — По твоему, отъ всѣхъ людей надобно отворачиваться, кто насъ привѣтствуетъ; только вотъ мы хороши! Не слушайте ее, Яковъ Васильичъ!.. пустая дѣвчонка!.. — обратился онъ къ Калиновичу.

— Я думаю съѣздить, — проговорилъ тотъ.

Настенька взглянула на него.

— Поѣзжайте, — подхватилъ старикъ: — только пѣшкомъ грязно; сейчасъ велю я вамъ лошадь заложить, сейчасъ, — прибавилъ онъ и проворно ушелъ.

— Ты поѣдешь? — спросила Настенька.

— Конечно поѣду, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— А если я не хочу, чтобъ ты ѣздилъ?

— Странное желаніе! — проговорилъ Калиновичъ.

— Ну, положимъ, что странное, но если я этого хочу; неужели ты не пожертвуешь для меня этими пустягами?

— Я не понимаю, въ чемъ тутъ жертвовать. Мнѣ надобно заплатить визитъ, я и плачу—что-жъ тутъ такого?

— Тутъ ничего, можетъ быть, нѣтъ; но я не хочу. Князь останавливается у генеральши, а я этотъ домъ ненавижу. Ты самъ рассказывалъ, какъ тебя тамъ сухо приняли. Что-жъ тебѣ за удовольствіе, съ твоимъ самолюбіемъ, чтобъ тебя встрѣтили опять съ гримасою?

— Я ѣду не къ генеральшѣ, которую и знать не хочу, а къ князю, и не первый, а плачу ему визитъ.

— Не ѣзди, душечка, ангелъ мой, не ѣзди! Я рѣшительно отъ тебя этого требую. Пробудь у насъ цѣлый день. Я тебя не отпущу. Я хочу глядѣть на тебя. Смотри, какой ты сегодня хорошенькій! — Говоря это, Настенька взяла Калиновича за руку.

— Я опять сюда вернусь черезъ какія-нибудь четверть часа, — отвѣчалъ онъ.

— Не хочу я, говорятъ тебѣ! — возразила Настенька.

— Капризъ — и больше ничего, и капризъ глупый! — проговорилъ, Калиновичъ, нахмурившись.

— Нѣтъ, Жакъ, это не капризъ, а просто предчувствіе, — начала она. Какъ ты сказалъ, что былъ у тебя князь, у меня такъ сердце замерло, такъ замерло, какъ будто всѣ несчастья угрожаютъ тебѣ и мнѣ отъ этого знакомства. Я тебя еще разъ прошу, не ѣзди къ генеральшѣ, не плати визита князю: эти люди обоихъ насъ погубятъ.

— До предчувствій дѣло дошло! Предчувствіе теперь виновато! — проговорилъ Калиновичъ: — но такъ какъ я въ предчувствія рѣшительно не вѣрю, то и поѣду, — прибавилъ онъ съ насмѣшкою.

— Я очень хорошо напередъ знала, — возразила Настенька, что тебѣ самое ничтожное твое желаніе дороже, Богъ знаетъ, какихъ моихъ страданій.

— Если вы это знали, такъ къ чему-жь всеъ этотъ разговоръ? — сказалъ Калиновичъ.

Настенька вся вспыхнула.

— Послушайте, Калиновичъ! — начала она: — если вы со мной станете такъ говорить... (голосъ ея дрожалъ, на глазахъ навернулись слезы). Вы не смѣете

со мной такъ говорить, — продолжала она, я вамъ пожертвовала всѣмъ... не шутите моей любовью, Калиновичъ! Если вы со мной будете этикія штучки дѣлать, я не перенесу этого, — говорю вамъ, я умру, злой человѣкъ!

— Настенька! полноте! что это вы? — проговорилъ Калиновичъ и хотѣлъ было взять ее за руку, но она отдернула руку,

— Подите прочь, не надобно мнѣ вашихъ ласкъ! — сказала она, встала и пошла, но въ дверяхъ оставилась.

— Если вы поѣдете къ князю, то не прѣзжайте ни сегодня, ни завтра... не ходите совершенно къ намъ: я видѣть васъ не хочу... эгоистъ!

Калиновичъ сдѣлалъ гримасу. Настенька повернулась и ушла.

Въ эту минуту вернулся Петръ Михайлычъ и еще въ дверяхъ кричалъ:

— Лошадь готова-съ; поѣзжайте съ Богомъ!

— Очень вамъ благодаренъ, — отвѣчалъ Калиновичъ и, надѣвъ пальто, вышелъ на крыльцо.

Его ожидали точно тѣ же дрожки, на которыхъ онъ, годъ назадъ, дѣлалъ визиты и съ которыхъ, къ вѣщему ихъ безобразію, еще зимой какіе-то ворюшки срѣзали и украли кожу. Лошадь была тоже прежняя и еще больше потолстѣла. На козлахъ сидѣлъ тотъ же инвалидъ Терка: расчетливая Пелагея Евграфовна окончательно посвятила его въ кучера, чтобы даромъ хлѣбъ не ѣлъ. Словомъ, разница была только въ томъ, что Терка въ этотъ разъ не подличалъ Калиновичу, котораго онъ, за выключку изъ сторожей, глубоко ненавидѣлъ, и если когда его по-

сылали за чѣмъ-нибудь для молодаго смотрителя, то онъ ходилъ вдвое долѣе обыкновеннаго, тогда какъ и обыкновенно ходилъ къ сосѣдкѣ калачницѣ за кренделями по два часа. Въ настоящемъ случаѣ онъ повезъ Калиновича убійственнымъ шагомъ, какъ-бы слѣдуя за погребальной церемоніей. Тому сдѣлалось это скучно.

— Пошелъ скорѣе! Что ты какъ съ ^{своимъ} масломъ ѣдешь! — сказалъ онъ.

— Лошадь не бѣжитъ, — отвѣчалъ лаконически Терка.

— Ты хлестни ее!

— Нѣту-тка, боюсь, она не любитъ, коли ее хлещутъ — улягнетъ! — возразилъ инвалидъ, тряхнувъ слегка возжами, и продолжалъ ѣхать шагомъ.

Калиновичъ подождалъ еще нѣсколько времени; наконецъ терпѣніе его лопнуло.

— Хлестни лошадь, говорятъ тебѣ! — повторилъ онъ еще разъ.

Терка молчалъ.

— Говорятъ тебѣ, хлестни! — вскрикнулъ Калиновичъ.

— Да плети-жь нѣту! — вскричалъ въ свою очередь инвалидъ.

Калиновичъ, видя, что Гаврилыча не переупрямишь, всталъ съ дрожекъ.

— Пошелъ домой; я не хочу съ тобой, скотомъ, ѣхать! — сказалъ онъ и пошелъ пѣшкомъ. Терка пробормоталъ себѣ что-то подъ носъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, поворотилъ лошадь и поѣхалъ назадъ рысью.

Въ сѣняхъ генеральши Калиновичъ опять былъ встрѣченъ ливрейнымъ лакеемъ.

— У себя его сѣятельство? — спросилъ онъ.

— Сейчасъ-съ, — отвѣчалъ тотъ и пошелъ наверхъ.

Князь и Полина сидѣли на прежнихъ мѣстахъ въ гостиной. Генеральша, для возбужденія вкуса, жевала корицу. Лакей доложилъ.

— Легко на поминѣ, — проговорилъ князь, вставая.

— Примите его сюда, — сказала стремительно Полина.

— Да, — отвѣчалъ тотъ и обратился къ старухѣ: — Калиновичъ ко мнѣ, ma tante, прѣхалъ, одинъ авторъ: можно-ли его сюда принять?

— Какой авторъ? — спросила та, мигая глазами.

— Онъ былъ у насъ, таман, съ годъ назадъ, — отвѣчала Полина.

— Гдѣ былъ? — спросила старуха.

— Здѣсь былъ, у васъ былъ, — подхватилъ князь.

— Не знаю, когда былъ... не помню, — говорила больная.

— Ну, да, вы не помните, вы забыли. Можно ли его сюда принять? Онъ очень умный и милый молодой человекъ, — толковалъ ей князь.

— Отчего-жь нельзя? Когда ты мнѣ его рекомендуешь, я очень рада, — отвѣчала она.

— Проси! — приказалъ князь лакею и самъ вышелъ нѣсколько въ залу, а Полина встала и начала торопливо поправлять передъ зеркаломъ волосы.

Калиновичъ показался.

— Очень, очень вамъ благодаренъ, что доставили удовольствіе видѣть васъ! — началъ князь, идя ему навстрѣчу и беря его за обѣ руки, ^икоторыя крѣпко сжалъ.

— Вы знакомы съ здѣшними хозяевами? — прибавилъ онъ.

Калиновичъ отвѣчалъ, что онъ имѣлъ честь быть у нихъ одинъ разъ.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте возобновить ваше знакомство, — заключилъ князь и ввелъ его въ гостиную.

— Monsieur Калиновичъ, — отнесся онъ къ генеральшѣ; но та только хлопнула глазами. M-lle Полина, напротивъ, поклонилась гостью очень любезно.

— Je vous prie, monsieur, prenez place, — сказалъ князь, подвигая Калиновичу стулъ и самъ садясь невдалекѣ отъ него.

— Monsieur Калиновичъ былъ такъ недобръ, что посѣтилъ насъ всего только одинъ разъ, — сказала Полина по-французски.

Калиновичъ отвѣчалъ тоже по-французски, что онъ слышалъ о болѣзни генеральши и потому не смѣлъ беспокоить. Князь и Полина переглянулись: имъ обоимъ понравилась ловко составленная молодымъ смотрителемъ французская фраза. Старуха продолжала хлопать глазами, переводя ихъ, безъ всякаго выраженія, съ дочери на князя, съ князя на Калиновича.

— Матан дѣйствительно весь тотъ годъ чувствовала себя нехорошо и почти никого не принимала, — заговорила Полина.

— Въ рукѣ слабость и одеревенѣлость въ пальцахъ чувствую,—обратилась къ Калиновичу старуха, показывая ему свою обрюзглую, дрожавшую руку и сжимая пальцы.

— Съ теченіемъ времени чувствительность восстановится, ваше превосходительство; это пройдетъ,— отвѣчалъ тотъ.

— Пройдетъ, рѣшительно пройдетъ,—подхватилъ князь.— Богъ дастъ, лѣтомъ въ деревнѣ ванны похолоднѣе — и посмотрите, какимъ вы молодцомъ будете, ma tante!

— Вкусу нѣтъ... во рту непріятно... кушанья, которыя любила прежде, не нравятся... — продолжала старуха, не обращая вниманія на слова князя и опять относясь къ Калиновичу.

Тотъ выразилъ въ лицѣ своемъ глубокое сожалѣніе. Легкій оттѣнокъ улыбки промелькнулъ на губахъ князя.

— Что-жь, тамаа, у васъ есть аппетитъ: вамъ кушать хочется, а много кушать вамъ вредно, — проговорила Полина.

Но старуха не обратила вниманія и на слова дочери. Очень довольная, что встрѣтила новаго человѣка, съ которымъ могла поговорить о болѣзни, она опять обратилась къ Калиновичу.

— Нога слабѣетъ... ходить не могу... подвертывается...

— Пройдетъ и это, ваше превосходительство, — повторилъ тотъ.

— Совершенно-ли пройдетъ?—спросила больная.

— Я думаю, совершенно,—отвѣчалъ Калиновичъ.
—Отецъ мой пораженъ былъ точно такую же болѣзнию

и потомъ пятнадцать лѣтъ жилъ, и былъ совершенно здоровъ.

— Только пятнадцать лѣтъ и жилъ, а тутъ и умеръ!— сказала старуха въ раздумьѣ.

Калиновичъ молчалъ.

Опять незамѣтная улыбка промелькнула на губахъ князя, и онъ взглянулъ на Полину.

— Не скучаете ли вы вашей провинціальной жизни, которой вы такъ боялись?— отнеслась такъ Калиновичу съ намѣреніемъ, кажется, перебить разговоръ матери о болѣзни.

— Monsieur Калиновичъ, вѣроятно, не имѣлъ времени скучать этотъ годъ, потому что занятъ былъ сочиненіемъ своего прекраснаго романа,— подхватилъ князь.

— Этотъ романъ написанъ года два назадъ, — сказалъ Калиновичъ.

— А вы давно ужъ занимаетесь литературой? — спросила Полина.

— Да,— отвѣчалъ Калиновичъ.

— Стало быть, вы только не торопитесь печатать,— подхватилъ князь:— и это прекрасно: чѣмъ строже къ самому себѣ, тѣмъ лучше. Въ литературѣ, какъ и въ жизни, нужно помнить одно правило, что человѣкъ будетъ тысячу разъ раскаиваться въ томъ, что говорилъ много, но никогда, что мало. Прекрасно, прекрасно! — повторялъ онъ, и потомъ, помолчавъ, продолжалъ: — но ужъ теперь, когда вы выступили такъ блистательно на это поприще, у васъ, вѣроятно, много и написано, и предположено.

— Предположеній много, но пока ничего нѣтъ

еще конченнаго въ такой мѣрѣ, чтобъ я рѣшился печатать,— отвѣчалъ Калиновичъ.

— Прекрасно, прекрасно! — опять подхватилъ князь:—и какъ ни велико наше нетерпѣніе прочесть что-нибудь новое изъ вашихъ трудовъ, однако не меньше того желаемъ, чтобъ вы, сдѣлавъ такой успѣшный шагъ, успѣвали еще больше, и потому не смѣемъ торопить: обдумывайте, обсуживайте... По первому вашему опыту, мы ждемъ отъ васъ вполне зрѣлаго и капитальнаго...

Калиновичъ поклонился.

— Ей-богу такъ,— продолжалъ князь:—я говорю вамъ не льстя, а какъ истинный почитатель всякаго таланта.

— Какъ, я думаю, трудно сочинять — я часто объ этомъ думаю,— сказала Полина:—когда, судя по себѣ, письма иногда не въ состояніи написать, а тутъ надобно сочинить цѣлый романъ! Въ это время, я полагаю, ни о чемъ другомъ не надобно думать, а то сейчасъ потеряешь нить мыслей и разсѣнешся.

— Особенную способность, ma cousine, я полагаю, надо имѣть,— возразилъ князь:— живую фантазію, сильное воображеніе. И я вотъ, по моей кочующей жизни въ Россіи и за границей, много былъ знакомъ съ разнаго рода писателями и художниками, начиная съ какого-нибудь провинціального актера до Гете, которому ~~пмѣлъ~~ честь представляться въ качествѣ русскаго путешественника, и, признаюсь, въ каждомъ изъ нихъ замѣчалъ что-то особенное, непохожее на насъ, грѣшныхъ; ну, и кромѣ того, не говоря объ умѣ (дурака писателя и артиста я не могу даже

себѣ представить), но кромѣ ума, у большей части изъ нихъ прекрасное и благородное сердце.

— А сами, князь, вы никогда не занимались литературой, не писали? — спросилъ скромно Калиновичъ.

— О, Боже мой, нѣтъ! — воскликнулъ князь: — какой я писатель! Я занять другимъ, да и писать не умѣю.

— Последнему, кажется, нельзя повѣрить, — замѣтилъ въ томъ же тонѣ Калиновичъ.

— Дѣйствительно не умѣю, — отвѣчалъ князь: — хоть и жилъ почти весь вѣкъ свой между литераторами, и, надобно сказать, имѣлъ много дорогихъ и милыхъ для меня знакомствъ между этими людьми, — прибавилъ онъ вздохнувъ.

Разговоръ на нѣкоторое время прервался.

— Съ Пушкинымъ, ваше сіятельство, вѣроятно, изволили быть знакомы? — началъ Калиновичъ.

— Даже очень. Мы почти вмѣстѣ росли, вмѣстѣ стали вывзжать молодыми людьми въ свѣтъ: я — гвардейскимъ прапорщикомъ, а онъ, кажется, служилъ тогда въ Иностранной Коллегии... *C'était un homme de génie...* въ полномъ смыслѣ этихъ словъ. Онъ, Баратынскій, Дельвигъ, Павелъ Нащокинъ — а этотъ даже служилъ со мной въ одномъ полку, — все это были молодые люди одного кружка.

— Я не помню, гдѣ-то читала, — вмѣшалась Полина, прищуривая глаза: — что Пушкинъ любилъ, чтобъ въ обществѣ въ немъ видѣли больше свѣтскаго человѣка, а не писателя и поэта.

— Какъ вамъ, кузина, сказать, — возразилъ князь: — пожалуй, что да, а пожалуй, и нѣтъ; въ началѣ,

въ молодости, можетъ быть, это и было. Я его встрѣчалъ, кромѣ Петербурга, въ Молдавіи и въ Одессѣ, наконецъ, зналъ эту даму, въ которую онъ былъ влюбленъ — и это была прелестнѣйшая женщина, какихъ когда-либо создавалъ Божій міръ; ну, тогда, можетъ быть, онъ желалъ казаться повѣсой, какъ было это тогда въ модѣ между всѣми нами, молодежью... ну, а потомъ, когда пошла эта всеобщая слава, наконецъ, вниманіе государя императора, званіе камеръ-юнкера — все это заставило его высоко цѣнить свое дарованіе.

— У Пушкина, я думаю, была и другая мѣрка своему таланту, — замѣтилъ Калиновичъ.

— Безъ сомнѣнія, — подхватилъ князь: — но, что дороже всего было въ немъ, — продолжалъ онъ, ударивъ себя по колѣнкѣ: — такъ это его любовь къ Россіи: онъ, кажется, старался изучить всякую въ ней мелочь: и когда я, вотъ, бывалъ въ послѣдніе годы его жизни въ Петербургѣ, заѣзжалъ къ нему, онъ почти каждый разъ говорилъ мнѣ: «Помилуй, князь, ты столько лѣтъ живешь и таскаешься по провинціямъ: расскажи что-нибудь, какъ у васъ и что тамъ дѣлается». Только разъ, какъ нарочно передъ самымъ моимъ отъѣздомъ въ Петербургъ, случилось у насъ въ губерніи ужасное происшествіе: появился нѣкто Сольфини — итальянецъ-ли, грекъ-ли, жидъ-ли, не разберешь, но только живописецъ. Я тогда жилъ зиму въ городѣ и, такъ-какъ вообще люблю искусства, приласкалъ его. Оказалось, что портреты снимаетъ удивительно: рисунковъ правильный, освѣщеніе эффектное, характерныя черты лица схвачены съ неподражаемой мѣткостью, но ни конца,

ни отдѣлки, особенно въ аксессуаряхъ, никакой; и это бы еще ничего, но хуже всего, что, рисуя съ васъ портретъ, онъ дѣлался какимъ-то тираномъ вашимъ: сеансы продолжалъ часовъ по семи и — горе вамъ, если вы вздумаете встать и выдти: бросить кисть, убѣжить и ни за какія деньги не станетъ продолжать работу. Точно то же сдѣлалъ онъ и съ губернаторшей. Я ему замѣчаю, что подобная нетерпѣливость, особенно въ отношеніи такой дамы, неумѣтна, а онъ мнѣ на это очень наивно отвѣчаетъ обыкновенной своей поговоркой: «я, съѣшъ меня собака, художникъ, а не маляръ; она дура: и не могу съ нея рисовать...» Какъ хотите, такъ и судите.

Полина засмѣялась. Калиновичъ тоже улыбнулся.

— Какъ, однако, князь, ты хорошо представляешь этого Сольфини; я какъ-будто вижу его передъ собою, — сказала Полина.

— Да, я недурно копирую, — отвѣчалъ онъ и снова обратился къ Калиновичу. — Въ заключеніе всего-съ: этотъ господинъ влюбляется въ очень миленькую даму, жену весьма почтеннаго человѣка, которая была, пожалуй, нѣсколько кокетка, можетъ быть, нѣсколько и завлекала его, даже немудрено, что онъ ей и нравился, потому что, дѣйствительно, былъ чрезвычайно красивый мужчина — высокій, статный, съ этими густыми, черными волосами, съ орлинымъ, римскимъ носомъ; на щекахъ, какъ два розовые листа, врѣзанъ румянецъ; но все-таки между нимъ и какой-нибудь госпожею въ рангъ дѣйствительной статской совѣтницы, оставался *salto mortale*... Ничего этого, конечно, Сольфини, какъ свободный гражданинъ, и знать не хотѣлъ.

— Воображаю его въ этомъ состояніи!— перебила съ улыбкою Полина.

— Ужасенъ!— продолжалъ князь:— онъ начинаетъ эту бѣдную женщину всюду преслѣдовать, такъ что мужъ не велѣлъ наконецъ пускать его къ себѣ въ домъ; онъ затѣваетъ еще бѣднѣйшій скандалъ: вызываетъ его на дуэль; тотъ, разумѣется, отказывается; онъ ходитъ по городу съ кинжаломъ и хочетъ его убить, такъ что мужъ этотъ принужденъ былъ жаловаться губернатору — и нашего несчастнаго любовника, безъ копѣйки денегъ, въ одномъ пальто, въ тридцать градусовъ мороза, высылаютъ съ жандармомъ изъ города...

— Бѣдный!— подхватила Полина.

— Нѣтъ, вы погодите, чѣмъ еще кончилось! — перебилъ князь.— Начинается съ того, что Сольфини бѣжитъ съ первой станціи. Проходитъ нѣсколько времени — о немъ ни слуху, ни духу. Мужъ этой госпожи уѣзжаетъ въ деревню; она остается одна... и тутъ различно рассказываютъ: одни — что, будто бы Сольфини какъ изъ-подъ земли выросъ и явился въ городъ, подкупилъ людей и пробрался къ нимъ въ домъ; а другіе говорятъ, что онъ писалъ къ ней нѣсколько писемъ, просилъ у ней свиданія, и будто бы она согласилась.

— Очень можетъ быть, что и согласилась: изъ одного чувства состраданія можно рѣшиться на это,— отнеслась Полина къ Калиновичу.

— Очень можетъ быть,— подтвердилъ тотъ.

— Конечно,— подхватилъ князь и продолжалъ:— но, какъ бы то ни было, онъ входитъ къ ней въ спальню, запираетъ двери, и какого рода происхо-

дила между ними сцена — неизвѣстно; только вдругъ раздается сначала крикъ, потомъ выстрѣлы. Люди прибѣгаютъ, выламываютъ двери и находятъ два обняшіеся трупа. У Сольфини въ рукахъ по пистолету: одинъ направленъ въ грудь этой госпожи, а другой онъ вставилъ себѣ въ ротъ и пробилъ насквозь черепъ.

— Ну, что это, князь? какъ это ужасно и жалко!.. — проговорила Полина, зажимая глаза.

Князь отвѣчалъ ей только пожатіемъ плечъ.

— Но при всѣхъ этихъ сумасбродствахъ, — снова продолжалъ онъ: — наконецъ при этомъ страшномъ характерѣ, способномъ совершить преступленіе, Сольфини былъ добрейшій и благороднѣйшій человѣкъ. Напримѣръ, одна его черта: онъ очень любилъ ходить въ нашъ соборъ на архіерейскую службу, которая напоминала ему Римъ и папу. Тамъ, обыкновенно, на паперти встрѣчала его толпа нищихъ: «а, вы, бѣдные», — говорилъ онъ: «вамъ нечего кушать!» и всѣ, сколько съ нимъ ни было денегъ, всѣ раздавалъ.

— Артистъ! — сказала Полина и вздохнула.

— Артистъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, — повторилъ князь и призадумался, какъ бы собираясь съ мыслями. — Все это, — началъ онъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія, — я рассказалъ Пушкину; онъ выслушалъ, и чрезъ нѣсколько дней мы опять съ нимъ встрѣчаемся. «Знаешь ли», — говоритъ, «князь, я твоего итальянца описываю? Заѣзжай завтра ко мнѣ, я тебѣ прочту». Я ѣду... Начинаетъ онъ мнѣ читать своего извѣстнаго импровизатора. «Ну, что? какъ тебѣ нравится?» спрашиваетъ.

«Превосходно, говорю: но что же тутъ общаго съ моимъ пустымъ разсказомъ?» — «Очень много, отвѣчаетъ:— онъ подалъ мнѣ мысль вывести природнаго художника, импровизатора, посреди нашего холоднаго, эгоистическаго общества»— и такимъ образомъ мой Сольфини обезсмертился.

Весь этотъ длинный разсказъ князя Полина выслушала съ большимъ интересомъ, Калиновичъ тоже съ полнымъ вниманіемъ, и одна только генеральша думала о другомъ: голосъ ея старческаго желудка былъ для нея могущественнѣе всего.

— Скоро-ли мы будемъ обѣдать? — спросила она у дочери.

— Скоро, маман, — отвѣчала та.

Калиновичъ понялъ, что время уѣхать, и всталъ.

— Au revoir, au revoir... — началъ было князь.

— Monsieur Калиновичъ, можетъ быть, будетъ такъ добръ, что отобѣдаетъ у насъ? — произнесла вдругъ Полина.

По лицу князя пробѣжала опять мгновенная и едва замѣтная улыбка.

— Прекрасно, прекрасно! Это продолжитъ еще нѣсколько часовъ нашу пріятную бесѣду, — подхватилъ онъ.

Калиновичъ поклонился.

— Прекрасно, прекрасно! — повторилъ князь: — кладите вашу шляпу и присядьте.

Калиновичъ сѣлъ, и опять началась довольно-одушевленная бесѣда, въ которой, разумѣется, больше всѣхъ говорилъ князь, и все больше о литературѣ. Онъ хвалилъ направленіе нынѣшнихъ писателей, направленіе умное, практическое, въ которомъ, благо-

даря Бога, не стало капли притворной чувствительности двадцатыхъ годовъ; радовался вѣчному истребленію одъ, ходульныхъ драмъ, которыя своей высокопарной ложью въ каждомъ здравомыслящемъ человѣкѣ могли только развивать желчь; радовался, наконецъ, совершенному изгнанію стиховъ *къ ней*, *къ мунъ*, *къ звездамъ*; похвалилъ внѣшнюю блестящую сторону французской литературы и отозвался съ уваженіемъ объ англійской — словомъ, явился въ полномъ смыслѣ литературнымъ дилетантомъ, и, какъ можно подозрѣвать, весь рассказъ о Сольфини изобрѣлъ, желая тѣмъ показать молодому литератору свою симпатію къ художникамъ и любовь къ искусствамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ намекнуть и на свое знакомство съ Пушкинымъ, великимъ поэтомъ и человекомъ хорошаго круга, — Пушкинымъ, которому, какъ извѣстно, въ дружбу запрашивались послѣ его смерти не только люди совершенно ему незнакомые, но даже печатные враги его, въ силу той невинной слабости, что всякому маленькому смертному пріятно стать поближе къ великому человеку и хоть однимъ лучомъ его славы освѣтить себя. Все это Калиновичъ, при его умѣ и проницательности, казалось бы, долженъ былъ сейчасъ же увидѣть и понять: но онъ ничего подобнаго даже не замѣтилъ. Что дѣлать! Князь очень уже ловко подошелъ съ задняго крыльца къ его собственному сердцу и очень тонко польстилъ ему самому; а куреніе нашему я, даже самое грубое, имѣетъ, какъ хотите, одурающее свойство. Очень много на свѣтѣ людей, сердце которыхъ нельзя тронуть ни мольбами, ни слезами, ни вопіющей правдой; но польсти имъ — и они смятутся до нѣжно-

сти, до службы; а герой мой, должно сказать, по преимуществу принадлежалъ къ этому разряду.

Въ четыре часа съ половиной Полина, князь и Калиновичъ сѣли за столъ. Генеральша кушала у себя въ спальнѣ. Прислуживала цѣлая стая ливрейныхъ гайдуковъ. Кушанье подавалось въ серебряной мискѣ и на серебряныхъ блюдахъ. Обѣдъ былъ на славу, какой только можно приготовить въ уѣздномъ городѣ. У генеральши остался еще послѣ покойнаго ея мужа, бывшаго лѣтъ одиннадцать кавалерійскимъ полковымъ командиромъ, щегольской поваръ, который — увы! — послѣ смерти покойнаго барина изнывалъ въ бездѣйствіи, практикуя себя въ созидаіи картофельнаго супа и жареной печени, и дѣятельность его вызывалась тогда только, когда пріѣзжалъ князь; выдавалась провизія, какую онъ хотѣлъ и сколько хотѣлъ, и старикъ умѣлъ себя показать!... Послѣ всякаго почти обѣда князь, встрѣчая его, не упускалъ случая обласкать.

— Чудо, прелесты! — говорилъ онъ, цѣлуя кончики пальцевъ: — вы, Григорій Васильичъ, рѣшительно талантъ.

Григорій Васильевъ при этомъ мрачно на него взглядывалъ.

— Не у чего мнѣ, ваше сіятельство, таланту быть; въ кухарки нынче поступилъ, только и умѣю овсяную кашу варить, — отвѣчалъ онъ, и князь при этомъ обыкновенно отвертывался, не желая слышать отъ старика еще болѣе, можетъ быть, рѣзкаго отзыва о господахъ.

Послѣ обѣда перешли въ щегольски убранный кабинетъ, пить кофе и курить. Мале Полинѣ давно ужъ

хотѣлось имѣть уютную комнату съ каминомъ, бархатной драпировкой и съ китайскими бездѣлушками; но сколько она ни ласкалась къ матери, сколько ни просила ее объ этомъ, старуха, израсходовавшись на отдѣлку квартиры, и слышать не хотѣла. Полина, какъ при всѣхъ трудныхъ случаяхъ жизни, сказала объ этомъ князю.

— О, это мы устроимъ!— возразилъ онъ и тѣмъ же вечеромъ завелъ разговоръ о кабинетѣ.

— Нѣтъ, князь, нѣтъ и нѣтъ: это лишнее, — отвѣчала старуха.

— Какое же лишнее, *ma tante*? Кузинѣ приютиться негдѣ.

— Нѣтъ, лишнее! — повторила старуха рѣшительно.

— Въ такомъ случаѣ, я отдѣлываю этотъ кабинетъ для кузины на свой счетъ, — сказалъ князь.

— Я знаю, что ты готовъ бросать деньги, гдѣ только можно, — проговорила генеральша и улыбнулась.

Она, впрочемъ, думала, что князь только шутить, но вышло напротивъ: въ двѣ недѣли кабинетикъ былъ готовъ. Полинѣ было ужасно совѣстно. Старуха тоже недоумѣвала.

— Что, князь, неужели ты намъ даришь это? — спросила она.

— Дарю, *ma tante*, дарю, но только не вамъ, а кузинѣ; мы васъ даже туда пускать не будемъ, — отвѣчалъ тотъ.

— Ахъ, какой ты безразсудный! — говорила генеральша, качая головой, но съ замѣтнымъ удоволь-

ствіемъ (она любила подарки во всевозможныхъ формахъ).

— Merci, cousin! — сказала Полина и съ глубокимъ чувствомъ протянула князю руку, которую тотъ пожалъ съ значительнымъ выраженіемъ въ лицѣ.

Когда всѣ разсѣлись по мягкимъ низенькимъ кресламъ, князь опять навелъ разговоръ на литературу, въ которомъ, между прочимъ, высказалъ свое удивленіе, что, бывая въ послѣдніе годы въ Петербургѣ, онъ никого не встрѣчалъ изъ нынѣшнихъ лучшихъ литераторовъ въ порядочномъ обществѣ: гдѣ они живутъ? съ кѣмъ знакомы? — Богъ знаетъ, тогда какъ это сближеніе писателей съ большимъ свѣтомъ, по его мнѣнію, было бы необходимо.

— Вы, господа-литераторы, — продолжалъ онъ, прямо обращаясь къ Калиновичу: — живя въ хорошемъ обществѣ, встрѣтите характеры и сюжеты, интересные и знакомые для образованнаго міра, а общество, наоборотъ, начнетъ любить *свое, русское, родное*.

Калиновичъ на это возразилъ, что попасть въ большой свѣтъ довольно трудно.

— Напротивъ, — возразилъ, въ свою очередь, князь: — надобно только поискать. Конечно, на первыхъ порахъ самолюбіе ваше будетъ нѣсколько неприятно шекотаться, но потомъ васъ узнаютъ, привыкнутъ, полюбятъ... Мало ли мы видимъ, — продолжалъ онъ: — что въ самыхъ верхнихъ слояхъ общества живутъ люди ничѣмъ незначительные, Богъ знаетъ, какого сословія и даже званія, а русскій литераторъ, поверьте, всегда тамъ займетъ приличное

ему мѣсто. Но эти ваши, господа, закоулочныя знакомства, это вѣчное пребываніе въ своихъ кружкахъ, какъ хотите, невольно кладетъ непріятный оттѣнокъ на самыя сочиненія. Пословица справедлива: «скажи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомъ, а я скажу, кто ты».

Калиновичъ, повидимому, соглашался съ княземъ, и только въ одиннадцатомъ часу сталъ раскланиваться.

— Надѣюсь, что вы будете насъ посѣщать иногда,— сказала ему Полина.

Калиновичъ отвѣчалъ, что онъ сочтетъ это за самое пріятное для себя удовольствіе.

— Я, съ своей стороны,— подхватилъ князь:— имѣю на этотъ счетъ нѣкоторое предположеніе. Послѣ завтра мои пріѣдутъ, и тогда мы составимъ маленькій литературный вечеръ и будемъ просить господина Калиновича прочесть свой романъ.

— Ахъ, это было бы очень, очень пріятно! — сказала Полина.— Я не смѣла безпокоить, но чрезвычайно желала бы слышать чтеніе самого автора; это удовольствіе такъ немногимъ достается...

Калиновичъ отвѣчалъ, что ему стоитъ приказывать, и онъ всегда готовъ, а затѣмъ окончательно раскланялся.

— Ну, какъ вы нашли сего молодого человѣка?— сказалъ, по уходѣ его, князь.

— Онъ очень милъ,— отвѣчала Полина.

— Ужъ и милъ?— спросилъ князь.

— Да, милъ,— повторила Полина, посмотрѣвъ на него значительно.

— О, женщины! женщины!— воскликнулъ князь.

— Перестаньте это говорить! Вы должны меня хорошо знать,— сказала Полина, слегка заслоняя

ему ротъ, причеиъ онъ поцѣловала у ней руку, и оба пошли въ генеральшѣ.

Калиновичъ, между тѣмъ, возвращался домой, подъ вліяніеиъ довольно новыхъ ощущеиій. Болѣе всего произвелъ на него впечатлѣніе комфортъ, который онъ видѣлъ всюду въ домѣ генеральши, и — Боже мой! какъ далеко все это превосходило бѣдную обстановку въ житьѣ-бытьѣ Годневыхъ, посреди которой онъ прожилъ больше года, не видя ничего лучшаго! Надобно сказать, что комфортъ въ умѣ моего героя всегда имѣлъ огромное значеиіе. И для кого же, впрочемъ, изъ солидныхъ, благоразумныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ онъ этого значеиія? Авторъ дошелъ до твердаго убѣждеиія, что для насъ, дѣтей нынѣшняго вѣка, слава... любовь... міровыя идеи... бессмертіе — ничто предъ комфортомъ. Все это въ душахъ нашихъ случайное: одинъ только онъ стоитъ впереди нашего пути, съ своей неизмѣримо-притягательной силой. Къ нему-то мы направляеиъ всѣ наши усилія. Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерію и кровью изойти, но только близенько, на подножіи нашего золотаго тельца! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью!.. для комфорта кидаютъ семейство, родину, ѣдутъ кругомъ свѣта, тонутъ, умираютъ съ голода въ степяхъ!.. для комфорта чистымъ и нечистымъ путемъ ищутъ наслѣдства; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ наконецъ преступлеиія!..

III.

На другой день Петръ Михайлычъ ожидалъ Калиновича съ большимъ нетерпѣніемъ, но тотъ не торопился и пришелъ ужъ вечеромъ.

— Ну что, сударь?— воскликнулъ старикъ:— какъ и гдѣ вы провели вчерашній день? Были-ли у его сіятельства? о чемъ съ нимъ побесѣдовали?

— Что-жъ особеннаго? былъ и бесѣдовалъ, — отвѣчалъ Калиновичъ коротко, но замѣтивъ, что Настенька, почти не отвѣтившая на его поклонъ, сидитъ надувшись, сталъ, въ досаду ей, хвалить князя и заключилъ тѣмъ, что онъ очень радъ знакомству съ нимъ, потому что это рѣшительно отрадный человѣкъ въ провинціи.

— Такъ, такъ, палата ума и образованности! — подтверждалъ Петръ Михайлычъ.

Настенька только слушала ихъ.

— Вамъ, видно, было очень весело у вашихъ новыхъ знакомыхъ: вы обѣдали тамъ и оставались потомъ цѣлый день, — сказала она. Обо всемъ этомъ ей сообщилъ капитанъ, слѣдившій, видно, за каждымъ шагомъ молодаго зрителя.

— Да, я тамъ обѣдалъ, — отвѣчалъ Калиновичъ совершенно спокойнымъ и равнодушнымъ тономъ.

— А я и не зналъ!— воскликнулъ Петръ Михайлычъ.— Каковъ же обѣдъ былъ?— скажите вы намъ... Я думаю, генеральскій: у нихъ, говорятъ, все больше на серебрѣ подается.

— Обѣдъ былъ очень хорошъ, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Воображаю!— произнесла презрительнымъ тономъ Настенька.

Слова Калиновича выводили ее окончательно изъ терпѣнія. «Какъ этотъ гордый и великій человѣкъ (въ послѣднемъ она тоже не сомнѣвалась), этотъ гордый человѣкъ такъ мелочень, что въ восторгѣ отъ приглашенія какого-нибудь глупаго, напыщеннаго генеральскаго дома?»— думала она и дала себѣ слово показывать ему невниманье и презрѣнье, что, можетъ-быть, и исполнила бы, еслибъ Калиновичъ показалъ хотя маленькое раскаянiе и признанiе своей вины; но онъ, напротивъ, самъ еще больше надулся и въ продолженiе цѣлаго дня не отнесся къ Настенькѣ ни словомъ, ни взглядомъ, понятнымъ для нея, и принялъ тотъ холодно-вѣжливый тонъ, котораго она больше всего боялась и не любила въ немъ. При подобной борьбѣ, конечно, всегда уступить тотъ, кто добрѣе и больше любитъ. Вечеромъ, послѣ ужина, Настенька не въ состоянiи была долѣе себя выдерживать и сказала Калиновичу:

— Вы же виноваты и вы же на меня сердитесь!

— На капризныхъ я самъ капризенъ,— отвѣчалъ онъ и ушелъ домой.

Настенька, оставшись одна, залилась горькими слезами: «Господи, что это за человѣкъ!»— воскликнула она. Это было выше силъ ея и пониманiя.

Въ день, назначенный Калиновичу для чтенiя, княгиня съ княжной прiѣхали въ городъ къ обѣду. Полдна имъ ужасно обрадовалась, а князь не замедлилъ сообщить, что для нихъ приготовленъ маленькій сюрпризъ, и что вечеромъ будетъ читать одинъ

очень умный и образованный молодой человекъ свой романъ.

— Надюсь, вы будете внимательны, — заключилъ онъ съ улыбкою, понятною, надо полагать, для жены и дочери.

— Ахъ, конечно, это очень пріятно! — сказала кротко и тихимъ голосомъ княгиня, до сихъ поръ еще красавица, хотя и страдала около пяти лѣтъ разстройствомъ нервъ, такъ что малѣйшій стукъ возбуждалъ у ней головныя боли, и поэтому князь оберегалъ ее отъ всякаго шума съ неусыпнымъ вниманіемъ. Княжна ангельски улыбнулась отцу. Надобно сказать, что при всей деликатности, доходившей до того, что изъ всей семьи никто никогда не видалъ князя въ халатъ, онъ умѣлъ въ то же время поставить себя въ такое положеніе, что каждое его слово, каждый взглядъ были закономъ.

Объявить генеральшѣ о литературномъ вечерѣ было нѣсколько труднѣе. По крайней мѣрѣ съ полчаса князь толковалъ ей. Старуха наконецъ уразумѣла, хотя несовсѣмъ ясно, и проговорила свою обычную фразу:

— Я очень рада, князь, и пожалуйста, будь хозяиномъ у меня... Ты знаешь, какъ я тебя люблю.

Князь поцѣловалъ у ней за это руку. Она взглянула на тюрникъ съ конфетками: онъ ей подальъ весь и ушелъ. Въ умѣ его родилось новое предположеніе. Слышавъ, по городской молвѣ, объ отношеніяхъ Калиновича къ Настенькѣ, онъ хотѣлъ взглянуть собственными глазами и убѣдиться, въ какой мѣрѣ это было справедливо. Присмотрѣвшись въ послѣдній визитъ къ Калиновичу, онъ вѣрилъ и не вѣрилъ

этому слуху. Все это князь въ тонкихъ намекахъ объяснилъ Полинѣ и прибавилъ, что очень было бы недурно пригласить Годневыхъ на вечеръ.

Полина поняла его очень хорошо и тотчасъ же написала въ Петру Михайлычу записку, въ которой очень любезно приглашала его съ его милой дочерью посѣтить ихъ вечеромъ, поясняя, что ихъ общій знакомый, monsieur Калиновичъ, общался у нихъ читать свой прекрасный романъ, и потому они, вѣроятно, не откажутся раздѣлить съ ними удовольствіе слышать его чтеніе.

«Мамап тоже поручила мнѣ просить васъ объ этомъ, и намъ очень грустно, что вы такъ давно насъ совсѣмъ забыли», — прибавила она, по совѣту князя, въ постскриптумѣ. Получивъ такое деликатное письмо, Петръ Михайлычъ удивился и, главное, обрадовался за Калиновича: «О-о, какъ нашъ Яковъ Васильичъ пошелъ въ гору!» — подумалъ онъ и, боясь только одного, что Настенька не поѣдетъ къ генеральшѣ, робко вошелъ въ гостиную и несовсѣмъ твердымъ голосомъ объявилъ дочери о приглашеніи. Настенька въ первыя минуты вспыхнула.

«А, Калиновичъ! такъ-то вы поступаете!.. Прекрасно!... васъ приглашаютъ читать, а вы ни полслова!» — подумала она.

— Что-жь, мы поѣдемъ или нѣтъ? — спросилъ Петръ Михайлычъ, глядя съ нетерпѣніемъ ей въ глаза.

— Вы — какъ хотите, а я не поѣду, — отвѣчала Настенька.

— Полно, душа моя... — началъ было старикъ,

но у Настеньки вдругъ перемѣнилось выраженіе лица. Она подумала:

«Насъ приглашаютъ на этотъ вечеръ — зачѣмъ? вѣроятно, онъ самъ этого требовалъ и только не хотѣлъ намъ сказать. О! душка мой, Калиновичъ!..» — заключила она мысленно.

— Нѣтъ, папаша, я пошутила, я поѣду: мнѣ самой хочется быть на этомъ вечерѣ, — сказала она вслухъ.

Старикъ поцѣловалъ ее въ голову.

— Вотъ тебѣ за это! — проговорилъ онъ и потомъ, не зная, отъ удовольствія, что бы такое еще сдѣлать, — прибавилъ, потирая руки и какимъ-то ребячески-добродушнымъ голосомъ:

— А что, не послать ли за Калиновичемъ? Въѣстъ бы всѣ и отправились.

— Пошлите; только, пожалуйста, не отъ меня, — отвѣчала Настенька.

Ей все еще хотѣлось, хоть немного, выдержать свой характеръ. Посланный Терка возвратился и донесъ, что Калиновича дома нѣтъ.

— Гдѣ-жь это онъ? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Да я-жь почему знаю? — отвѣчалъ сердито инвалидъ и пошелъ было на печь; но Петръ Михайлычъ, такъ какъ ужъ было часовъ шесть, воротилъ его и, отдавъ строжайшее приказаніе закладывать сейчасъ же лошадь, хотѣлъ было тутъ же къ слову побранить стараго грубіяна за непослушаніе Калиновичу, о которомъ тотъ разсказалъ; но Терка и слушать не хотѣлъ: хлопнулъ, по обыкновенію, дверьми и ушелъ.

— Этакое допотопное живогное! — проговорилъ

Петръ Михайлычъ и принялся бриться. Настенька тоже занялась своимъ туалетомъ. Никогда еще въ жизнь свою не старалась она одѣться такъ къ лицу, какъ въ этотъ разъ. Всѣ маленькія уловки были употреблены на это: черное шелковое платье украсилось бантиками изъ пунцовыхъ лентъ; хорошенькая головка была убрана спереди буклями, и надѣты были очень миленькія, коралловые сережки; словомъ, она хотѣла въ этомъ гордомъ и напыщенномъ домѣ генеральши явиться достойною любви Калиновича, о которой тамъ, вѣроятно, уже знали. Петръ Михайлычъ, между тѣмъ, совсѣмъ одѣлся и начиналъ выходить изъ терпѣнья.

— Опоздаемъ мы, непременно опоздаемъ и сдѣлаемъ противъ хозяевъ невѣжливость по милости этой Настасьи Петровны и хрыча-ливалида! — говорилъ онъ, и потомъ покорнѣйше просилъ пришедшаго капитана поторопить каналью Терку. Тотъ, конечно, сейчасъ же исполнилъ желаніе брата и пошелъ въ сарай. Гаврилычъ дѣйствительно копался, такъ что капитанъ, чтобъ пособить ему, самъ натигивалъ супонь и заваживалъ возжи. Часамъ къ восьми, наконецъ, все уладилось. Отецъ и дочь поѣхали; но оказалось, что сидѣть вдвоемъ на знакомыхъ намъ дрожкахъ было очень ужъ неудобно. Настенькѣ между Петромъ Михайлычемъ и неуклюжимъ Теркой оставалась только возможность завязнуть. На улицѣ, какъ нарочно, была страшная грязь и снѣдь, какъ изъ рѣшета, мелкій, но спорый дождь. Не смотря на это, Терка, сердитый отъ того что его тормозать цѣлый день, — какъ ни кричалъ и ни бранился Петръ Михайлычъ, — уперся на своемъ и

доставилъ ихъ шагомъ. Сколько пострадалъ отъ всего этого туалетъ Настеньки — и говорить нечего: платье измялось, бѣлая атласная шляпка намокла, булги распустились и падали некрасивыми прядями. Однако она рѣшилась сохранить присутствіе духа и быть какъ можно смѣлѣе.

Калиновича, между тѣмъ, не было еще у генеральши, но маленькое общество его слушателей собралось уже въ назначенной для чтенія гостиной; старуха была уложена на одномъ концѣ дивана, а на другомъ полулежала княгиня, чувствовавшая отъ дороги усталость. Князь куриль, въ раздумьѣ, сигарку и что-то соображалъ. Полина, прищурившись, внимательно разсматривала узоръ изъ послѣдняго журнала модъ. Княжна, прислонившись къ стѣнкѣ кресла, сидѣла въ чрезвычайно-милой позѣ: склонивъ нѣсколько на бокъ свою прекрасную голову и съ своей чудной улыбкой, она была поразительно хороша. Доложили о Годневыхъ. Князь переглянулся съ Полиной, и оба приветали, чтобъ встрѣтить гостей.

Петръ Михайлычъ съ издавна заученною имъ церемоніею расшаркался съ княземъ: къ генеральшѣ и Полинѣ подошелъ къ ручкѣ, а прочимъ дамамъ отдалъ, свѣсивши нѣсколько напередъ обѣ руки, почтительный поклонъ. Что касается Настеньки, то — Боже мой! Боже мой!.. какъ я ни люблю мою героиню, сколько ни признаю въ ней ума, прекраснаго сердца, сколько ни признаю ее очень миленькой, но не могу скрыть: въ эти минуты она была даже смѣшна! Желая не конфузиться и быть свободной въ обращеніи, она съ какой-то надменностью подала руку Полинѣ, едва присѣла князю, генеральшѣ кивнула го-

ловой, а на княгиню и княжну только бѣгло взглянула. Князь, все это замѣтившій, поспѣшилъ предложить ей кресло. Княжна, около которой усѣлся Петръ Михайлычъ, легонько отодвинулась отъ него: ее неприятно поразили грубыя руки старика, въ которыхъ онъ держалъ свою старомодную, намоченную дождемъ шляпу. Полина начала было занимать Настеньку, но та опять ей отвѣчала какъ-то свысока, хоть и съ замѣтнымъ усилиемъ надъ собой.

— Нѣтъ еще нашего литератора, — заговорилъ князь, взглянувъ на Настеньку. Она, сама того не чувствуя, вспыхнула.

— А мы, признаться, ваше сіятельство, — отвѣчалъ Петръ Михайлычъ: — передъ отъѣздомъ сюда посылали къ г. Калиновичу, однако его дома нѣтъ, и мы полагали, что онъ уже здѣсь.

— Нѣтъ еще, нѣтъ; но онъ будетъ, непременно будетъ! — повторилъ князь нѣсколько разъ, ужь прямо обратившись къ Настенькѣ.

Она опять покраснѣла.

Въ половинѣ десятаго Калиновичъ наконецъ явился. Напередъ ожидая посланнаго отъ Годневыхъ, онъ не велѣлъ только сказываться, но самъ былъ цѣлый день дома и, такъ сказать, предвкушалъ тонкое авторское наслажденіе, которымъ предстояло въ тотъ вечеръ усладиться его самолюбію. И, кромѣ того, домъ генеральши, державшій себя такъ высоко, низведенъ теперь его талантомъ до того, что тамъ за счастье считаютъ прослушать его твореніе. Наконецъ, онъ будетъ читать въ присутствіи княгини и княжны, о которыхъ очень много слышалъ, какъ о чрезвычайно-милыхъ дамахъ и ко-

торыхъ, можетъ быть, заинтересуетъ, какъ авторъ и человѣкъ. Всѣ эти мысли и ожиданія повергли моего героя почти въ лихорадочное состоянiе; но сколько ему ни хотѣлось отправиться какъ можно скорѣе къ генеральшѣ, хотъ бы даже въ началѣ седмиаго, онъ подавилъ въ себѣ это чувство и, неторопливо занявшись своимъ туалетомъ, вышелъ изъ квартиры въ десятомъ часу, желая тѣмъ показать, что, изъ вѣжливости, готовъ доставить удовольствiе обществу, но не торопится, потому что самъ не находитъ въ этомъ особеннаго для себя наслажденiя—словомъ, желалъ поддержать тонъ. Лѣстницу и половину залы въ домѣ генеральши Калиновичъ прошелъ тѣмъ спокойнымъ и развязнымъ шагомъ, какимъ обыкновенно входятъ молодые люди въ дома, гдѣ привыкли ихъ считать полубожками; но, увидѣвъ въ зеркалѣ неуклюжую фигуру Петра Михайлыча и съ распутившимися локонами Настеньку, попятился назадъ.

«Это какъ они сюда залѣзли?» — подумалъ онъ. Подозрѣвая, что все это штуки Настеньки, далъ себѣ слово расквитаться съ ней за то послѣ; но теперь, дѣлать нечего, принялъ сколько-возможно спокойный видъ и вошелъ въ гостиную, гдѣ почти-тельно поклонился генеральшѣ, Полинѣ и князю, пожалъ съ обязательной улыбкой руку у Настеньки, у которой при этомъ замѣтно задрожала головка, пожалъ, наконецъ, съ такою же улыбкою давно уже простиравшуюся къ нему руку Петра Михайлыча и, сдѣлавъ полуоборотъ, опять сконфузился: его поразила своей наружностью княжна.

«Господи, какъ хороша!» — подумалъ онъ и, по

невольному чувству робости, съѣлъ поодаль. Однако князь, чтобъ не терять золотого времени, просилъ тотчасъ начать чтеніе и посадилъ его, случайно, рядомъ съ княжной. Калиновичъ чувствовалъ прикосновеніе къ своей ногѣ ея толстаго, шелковаго платья; онъ видѣлъ небольшую часть ея граціозной ботинки и въ то же время видѣлъ часть высунувшагося замшеваго башмачка Настеньки; наконецъ, онъ чувствовалъ ароматическое дыханіе княжны, происходящее, впрочемъ, отъ дорогой помады и духовъ. Настенька, между тѣмъ, устала на него вѣжливый и страстный взоръ, который въ минуту любви могъ бы составить блаженство, но въ настоящее время совсѣмъ ужь былъ неприличенъ. Калиновичъ едва въ состояніи былъ владѣть собой и сносить этотъ взглядъ. Ему казалось, что князь все это замѣчаетъ, что княгиня кротко смотритъ на Настеньку изъ сожалѣнія къ ней, а княжна этому именно и улыбается ангельски. Такова была задняя, закулисная сторона чтенія; по наружности оно прошло, какъ слѣдуетъ: авторъ читалъ твердо, слушатели были прилично-внимательны, за исключеніемъ одной генеральши, которая, безъ всякой церемоніи, зѣвала и обводила всѣхъ глазами, какъ бы спрашивая, что это такое дѣлается и скоро ли будетъ всему этому конецъ? Петръ Михайлычъ, конечно, болѣе всѣхъ и всѣхъ искреннѣе обнаруживалъ удовольствіе и нѣсколько разъ принимался даже стихоньку хлопать, причемъ князь всякій разъ кивалъ ему, въ знакъ согласія, головою, а у княжны дѣлались ямки на щекахъ поглубже: ей былъ очень смѣшенъ Петръ Михайлычъ и своей наружностью, и своимъ хлопаньемъ.

— Прекрасно, прекрасно!.. — сказалъ князь, когда Калиновичъ кончилъ.

— *C'est joli, c'est joli!* — подтвердила Полина: — *n'est-ce pas, princesse?* — отнеслась она къ княгинѣ.

— *Oui,* — отвѣчала та, своимъ кроткимъ и тихимъ голосомъ.

Но Настенька, моя бѣдная Настенька, точно задала себѣ задачу быть смѣшною въ этотъ вечеръ. Она вдругъ обратилась къ князю и начала разсуждать съ нимъ о повѣсти Калиновича, ни дать ни взять, языкомъ тогдашнихъ критиковъ: упомянула объ объективности, сказала что-то въ пользу психологическаго анализа. Князь отвѣчалъ ей со всею вѣжливостью и вниманіемъ, а Полина начала на нее смотрѣть съ любопытствомъ. У Калиновича, между тѣмъ, холодный потъ выступилъ на лбу крупными каплями. Онъ готовъ былъ убить Настеньку въ эти минуты, готовъ былъ убить и Петра Михайлыча, съ величайшимъ наслажденіемъ слушавшаго вздоръ, который несла дочь. Князь, впрочемъ, скоро перемѣнилъ разговоръ и замѣтилъ Полинѣ, что ей, какъ хозяйкѣ, слѣдуетъ отплатить любезному автору за его прекрасное чтеніе и сыграть что-нибудь на фортепіано.⁴

— Кузина большая музыкантша, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Калиновичу.

— Мнѣ дѣйствительно будетъ это истинная плата, потому что я около полутора года не слышалъ ни одного звука музыки, — подхватилъ тотъ, обрадованный этимъ оборотомъ.

— Въ такомъ случаѣ, извольте!.. Только вы, пожалуйста, не воображайте меня, по словамъ князя,

музыкантшей, — отвѣчала вставая Полина. *A chère Catherine* споетъ намъ что-нибудь послѣ? — прибавила она, обращаясь къ княжнѣ.

— Ну, это врядъ ли! — возразилъ князь, взглянувъ бѣгло, но значительно на дочь. — *Mlle Catherine* недѣли уже двѣ не въ голосъ, а потому мы не совѣтовали бы ей пѣть.

— Нѣтъ, я не буду пѣть, — произнесла, мило картавя, еще первыя при Калиновичѣ слова княжна, тоже вставая и выпрямляя свой стройный станъ.

«Что это за чудное созданіе!» — подумалъ онъ, глядя на нее, и всѣ вышли въ залу, за исключеніемъ генеральши и княгини. Полина сѣла за рояль, а княжна стала у ней за стуломъ и, слегка облокотившись на спинку его, начала перевертывать ноты своею бѣлой, античной формы ручкою. Полина играла довольно трудную арію и играла съ толкомъ и съ чувствомъ; но Калиновичъ не слышалъ и не видалъ ничего, кромѣ княжны. Созерцаніе его было, впрочемъ, неприятно прервано, когда онъ случайно взглянулъ на одно изъ оконъ, у котораго увидѣлъ сидѣвшую Настеньку, смотрѣвшую на него, попрежнему, нѣжно и страстно. Когда глаза ихъ встрѣтились, она приглашала его взоромъ сѣсть около себя. Калиновичъ, въ отвѣтъ на это, такъ посмотрѣлъ на нее, что бѣдная дѣвушка, наконецъ, поняла все: инстинктивное чувство сказало ей, что онъ ненавидитъ ее въ эти минуты. Сердце у ней замерло: едва сообразила она, когда Полина кончила играть, подойти къ отцу и сказать:

— Поѣдемте, папаша; пора!

Тотъ повиновался и сталъ расшаркиваться. Полина начала унимать ихъ отужинать.

— Нѣтъ, мы не ужинаемъ, — отвѣчала Настенька и, простившись съ генеральшей, а на Калиновича даже не взглянувъ, пошла. Петръ Михайлычъ послѣдовалъ за нею.

Съ отъѣздомъ Годневыхъ у Калиновича какъ камень спалъ съ души, и когда Полина съ княжной, взявшись подъ руки, стали ходить по залъ, онъ присоединился къ нимъ. Въ это время, къ неопisanному ужасу обѣихъ дамъ, вдругъ пробѣжала по залъ мышъ, и съ этого завязался разговоръ о привидѣнiяхъ, предчувствiяхъ и ясновидящихъ. Калиновичъ разсказалъ на эту тему нѣсколько любопытныхъ случаевъ и возбудилъ живое вниманiе въ своихъ слушательницахъ. Не говоря уже о Полинь, которая замѣтно каждое его слово обдумывала и взвѣшивала, но даже княжна, и та начинала какъ-то менѣе гордо и болѣе снисходительно улыбаться ему, а разсказомъ своимъ о видѣнiи шведскаго короля, приведенномъ какъ несомнѣнный историческiй фактъ, онъ такъ ее заинтересовалъ, что она пошла и сказала объ этомъ матери. Княгиня тоже пожелала слышать этотъ анекдотъ, о которомъ, по словамъ ея, что-то такое смутно помнила. Калиновичъ повторилъ разсказъ еще подробнѣе и чрезвычайно впечатлительно, такъ что дамамъ сдѣлалось не на шутку страшно.

— Это невѣроятно! — воскликнули онѣ въ одинъ голосъ.

Вообще герой мой, державшій себя, какъ мы видѣли, у Годневыхъ болѣе молчаливо и нѣсколько строго, явился въ этотъ вечеръ очень умнымъ, лю-

безнымъ и въ то же время милымъ молодымъ человекомъ, способнымъ самымъ пріятнымъ образомъ занять общество.

При прощаніи, князь, пожимая съ большимъ чувствомъ ему руку, повторилъ нѣсколько разъ:

— Очень, очень вамъ благодарны: вы насъ такъ заняли, и m-lle Полина, вѣроятно, будетъ просить васъ посѣщать ихъ и не забывать.

— Ахъ, да, пожалуйста, m-г Калиновичъ! вы такъ насъ обяжете! — повторила почти умоляющимъ голосомъ Полина.

Калиновичъ поклонился поклономъ, изъявлявшимъ совершенную готовность исполнить всякое приказаніе, и ушелъ, вынеся на этотъ разъ изъ дома генеральши еще болѣе пріятное впечатлѣніе: всю дорогу, вмѣстѣ съ комфортомъ, въ его воображеніи рисовался прекрасный, благоухающій образъ княжны. Ему даже очень понравилась княгиня съ своимъ выдающимся, но все еще милымъ лицомъ и какой-то изящной простотою во всѣхъ движеніяхъ. По приходѣ домой, однако, всѣ эти мечтанія его разлетѣлись въ прахъ: онъ нашелъ письмо отъ Настеньки и, напередъ предчувствуя упреки, торопливо и съ досадою развернулъ его: по беспорядочности мыслей, по небрежности почерка и, наконецъ, по каплямъ, слезъ, еще не засохшимъ и слившимся съ чернилами, можно было судить, что чувствовала бѣдная дѣвушка, писавъ эти строки.

«Сегодня я поняла васъ, Калиновичъ (писала она); вы обличили себя посреди этихъ людей. Они когда-то меня глубоко оскорбили, и я плакала; но эти слезы были только тѣнью того мученья, что чувствуетъ

теперь мое сердце. Мнѣ легко было перенести ихъ презрѣніе, потому что я сама ихъ презирала; но вы, единственный человѣкъ, котораго я люблю и любовью котораго я гордилась, — вы стыдитесь моей любви. Такъ играть людьми нельзя, Калиновичъ! Есть Богъ: Онъ накажетъ васъ за меня! Я пишу не затѣмъ, чтобъ вымолить вашу любовь: я горда, и знаю, что вы сами такъ много страдали, что страданія другихъ не возбудятъ въ васъ участія. Прощайте! Завтра я буду просить отца объ одной милости — отпустить меня въ монастырь, гдѣ съумѣю умереть для міра; а вамъ желаю счастья съ вашими свѣтскими друзьями. По милосердію своему, Богъ не отвергнетъ меня, грѣшницу, отвергнутую вами. Въ Немъ вся моя теперь надежда. Прощайте!»

— Пожалуй, эга сумасбродная дѣвчонка надѣлаетъ скандалу! — проговорилъ Калиновичъ, бросая письмо, и на другой же день, часовъ въ семь, не пивъ даже чаю, пошелъ къ Годневымъ. Петръ Михайлычъ, по обыкновенію, ушелъ на рынокъ; Настенька только еще встала и сидѣла въ своей комнаткѣ. Калиновичъ, чего прежде никогда не бывало, прошелъ прямо къ ней; и что они говорили между собою — неизвестно, но только Настенька вышла въ гостиную разливать чай съ довольно спокойнымъ выраженіемъ въ лицѣ, хоть и съ заплаканными глазами. Калиновичъ, серьезный и нахмуренный, сѣлъ на свое обычное мѣсто.

— Что-жь дѣлать, если мнѣ такъ показалось! — начала она, видимо продолжая прежній разговоръ.

Калиновичъ пожалъ плечами.

— Мнѣ дѣйствительно было досадно, — отвѣчала

онъ:—что вы пріѣхали въ этотъ домъ, съ которымъ у васъ ничего нѣтъ общаго ни по вашему воспитанію, ни по вашему тону; и наконецъ, какъ вы не поняли, съ какой цѣлью васъ пригласили, и что въ этомъ случаѣ васъ третировали, какъ мою любовницу... Какъ же вы, дѣвушка умная и самолюбивая, не оскорбились этимъ — странно!

— Что-жь, если они и такъ меня поняли — я не совѣщусь этого! — сказала Настенька.

— Совѣсть и общественныя приличія — двѣ вещи разные, — возразилъ Калиновичъ: — любовь — очень честная и благородная страсть; но если я всюду буду дѣлать странные глаза... какъ хотите, это смѣшно и гадко...

У Настеньки опять навернулись на глазахъ слезы.

— Неужели же я дѣлала это нарочно, съ умысломъ? — спросила она.

— Не нарочно, а подъ вліяніемъ этой несносной ревности, отъ которой мнѣ спасенія нѣтъ.

— Ахъ, нѣтъ, Жакъ! я не ревную тебя. Это не ревность, а любовь.

— Любовь! — воскликнулъ Калиновичъ: — любовь не даетъ же права вязать человѣка по рукамъ и по ногамъ. Я знакомлюсь съ княземъ — вы мнѣ дѣлаете сцену; я имѣлъ несчастье, противъ вашего желанія, отобѣдать у генеральши — новая исторія! наконецъ, затѣваютъ литературный вечеръ — и вы, безъ всякаго такта, ѣдете туда и держите себя какъ только можно неприлично. Я, по своимъ цѣлямъ, могу познакомиться съ двадцатью подобными князьями и генеральшами, буду, наконецъ, волочиться за кривобоккой Полиной, и все-таки останусь для васъ тѣмъ же,

чѣмъ былъ. Вы очень хорошо должны понимать, что, по нашимъ отношеніямъ, мы слишкомъ крѣпко связаны. Я отвѣчаю за васъ моею совѣстью и честью, не признать которыхъ во мнѣ вы по-сю пору не имѣете еще никакого права.

Эти послѣднія слова совершенно успокоили Настеньку.

— Ну, прости меня; я виновата! — сказала она, беря Калиновича за руку.

— Я не обвиняю васъ, а только прошу не становиться мнѣ непрерывно поперекъ дороги. Мнѣ и безъ того трудно пробираться хоть сколько-нибудь впередъ.

— Я не буду больше, — отвѣчала Настенька и подѣловала у Калиновича руку.

Почти каждая размолвка между ними принимала такой оборотъ, что Настенька изъ обвиняющей дѣлалась обвиняемой.

IV.

Въ теченіе мѣсяца Калиновичъ сдѣлался почти домашнимъ человѣкомъ у генеральши. Полина, по крайней мѣрѣ раза два-три въ недѣлю, находила какой-нибудь предлогъ позвать его или обѣдать, или на вечеръ — и онъ ходилъ. Настенька уже болѣе не противодѣйствовала и даже смѣялась надъ ухаживаньемъ Полины.

— М-не Полина рѣшительно въ васъ влюблена, — говорила она при отцѣ и при дядѣ Калиновичу.

— Да, я самъ это замѣчаю, — отвѣчалъ тотъ.

— Вдругъ вы женитесь на ней, — продолжала съ лукавою улыбкою Настенька.

— Что-жь, это чудесно было бы! — подхватывалъ Калиновичъ: — впрочемъ съ однимъ только условіемъ, чтобъ она, тотчасъ послѣ вѣнца, отдала мнѣ по духовной все имѣніе, а сама бы умерла.

— И вамъ бы не жаль ее было? — замѣчала какъ бы укоризненнымъ тономъ Настенька.

— Напротивъ, я о ней жалѣлъ бы, только за себя бы радовался, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Иногда, расшутившись, онъ даже прибавлялъ:

— Отчего это Полина не вздумаетъ подарить мнѣ на память любви колечко, которое лежитъ у ней въ шкафу въ кабинетъ; солитеръ съ крупную горошину; за него рѣшительно можно помнить всю жизнь всякую женщину, хоть бы у ней не было даже ни одного ребра.

Петръ Михайлычъ, по обыкновенію, качалъ головой; но болѣе всѣхъ, кажется, разговоръ въ этомъ тонѣ доставлялъ удовольствіе капитану. Впрочемъ, Калиновичъ, отзываясь такимъ образомъ о Полины у Годневыхъ, былъ въ то же время съ нею чрезвычайно вѣжливъ и внимателенъ, такъ что она почти могла подумать, что онъ интересуется ею. Всѣмъ этимъ, надобно сказать, герой мой маскировалъ глубоко затаенную и никѣмъ неподозрѣваемую мечту о прекрасной княжнѣ, видѣть которую пожирало его нестерпимое желаніе; онъ даже рѣшался нѣсколько разъ, хоть и не получалъ на то приглашенія, ѣхать къ князю въ деревню п, вѣроятно, исполнилъ бы это, но обстоятельства сами собой расположились совершенно въ его пользу. Генеральша вдругъ припомнила слова князя о леченіи

водою и, сообразивъ, что это будетъ очень дешево стоить, задумала переѣхать въ свою усадьбу. Полинѣ начала очень этого не хотѣлось, но отговаривать и отсовѣтовать матери, она знала, было бы бесполезно. Къ счастью, въ этотъ день пріѣхалъ князь, и она съ ужасомъ передала ему намѣреніе старухи.

— Что-жь: это еще лучше!—сказалъ тотъ.

— Какъ же лучше? Ты знаешь, что меня здѣсь удерживаетъ, — возразила Полина.

— Да, — проговорилъ князь и, подумавъ, прибавилъ: — Что-жь... его можно пригласить въ деревню: по крайней мѣрѣ, удалимъ его этимъ отъ вліянія здѣшнихъ господъ.

— Нѣтъ, это невозможно; это, по еяскуности, покажется Богъ знаетъ какимъ разореніемъ! Она ужъ и теперь говоритъ, зачѣмъ онъ у насъ такъ часто обѣдаетъ.

— Да, — повторилъ князь, и потомъ опять подумавъ, прибавилъ: — ничего, съѣлаемъ...

Полина вопросительно на него взглянула.

Въ тотъ же вечеръ пришелъ Калиновичъ. Князь съ нимъ былъ очень ласковъ и, между прочимъ разговоромъ, вдругъ сказалъ:

— А что, Яковъ Васильевичъ, теперь у васъ время свободное, а лѣто жаркое, въ городѣ душно, пыльно: не подарите ли вы насъ этимъ мѣсяцемъ и не погостите-ли у меня въ деревнѣ? Намъ доставили бы вы этимъ большое удовольствіе, а себѣ, можетъ быть, маленькое развлеченіе. У меня мѣстоположеніе порядочное, есть то же садишко, кое-какая рѣчонка, а кстати вотъ и m-lle Полина съ своей мамашей будутъ жить, по сосѣдству отъ насъ, въ своемъ замкѣ...

Калиновичъ вспыхнулъ отъ удовольствія: жить

цѣлый мѣсяцъ около княжны, видѣть ее каждый день — это было выше всѣхъ его ожиданій.

— А вы тоже переѣзжаете въ деревню? — едва нашелся онъ отнестись къ Полинѣ.

— Да, мы уѣзжаемъ отсюда, — отвѣчала та, покрасивъ, въ свою очередь.

Смущеніе Калиновича она перетолковала въ свою пользу.

— Итакъ, Яковъ Васильевичъ, значить по рукамъ? — сказалъ князь.

— Я почти себѣ за большое удовольствіе... — отвѣчалъ тотъ.

— Прекрасно, прекрасно! — повторилъ князь нѣсколько разъ.

Чувство ожидаемаго счастья такъ овладѣло моимъ героемъ, что онъ не въ состояніи былъ спокойно досидѣть вечеръ у генеральши и раскланялся. Быстро шагая, пошелъ онъ по деревянному тротуару и принялся даже, съ несвойственною ему веселостью, насвистывать какой-то маршъ, а потомъ съ попавшимся на встрѣчу Румянцовымъ раскланялся такъ радушно, что привелъ того въ восторгъ и недоумѣніе. Прошелъ онъ прямо къ Годневымъ, которыхъ засталъ за ужиномъ, и какъ ни старался принять спокойный и равнодушный видъ, на лицѣ его было написано удовольствіе.

— Здравствуйте! — встрѣтилъ его своимъ обычнымъ восклицаніемъ Петръ Михайлычъ.

— Здравствуйте и прощайте! — отвѣчалъ Калиновичъ.

Настенька, капитанъ и Пелагея Евграфовна, дѣлавшая салатъ, взглянули на него.

— Это какъ прощайте? — спросилъ Петръ Михайлычъ.

— Сейчасъ получилъ приглашеніе и ѣду гостить къ князю на всю вакацію, — отвѣчалъ Калиновичъ, садясь около Настеньки.

— Какъ на всю вакацію, зачѣмъ же такъ долго? — спросила та и слегка поблѣднѣла.

— Затѣмъ, что хочу хоть немного освѣжиться, тѣмъ больше, что надобно писать; а здѣсь я рѣшительно не могу.

— Писать, я думаю, вездѣ все равно, — замѣтила Настенька.

— Нѣтъ, не все равно: здѣсь, вы сами знаете, что я не могу писать, — возразилъ съ удареніемъ Калиновичъ.

Тѣмъ на этотъ разъ объясненіе и кончилось.

Генеральша въ одну недѣлю совсѣмъ перебралась въ деревню, а дня черезъ два были присланы княземъ лошади и за Калиновичемъ. Въ послѣдній вечеръ передъ его отъѣздомъ, Настенька, оставшись съ нимъ вдвоемъ, начала было плакать; Калиновичъ вышелъ почти изъ себя.

— Чтѣ-жъ вы такое хотите отъ меня? Неужели, чтобъ я цѣлый вѣкъ свой сидѣлъ, не шевелясь, около вашей, съ позволенія сказать, юпки? — проговорилъ онъ.

— Я не хочу и не требую этого; оставьте мнѣ по-крайней-мѣрѣ право плакать и грустить, — отвѣчала Настенька.

— Нѣтъ, вы не этого права желаете: вы оставляете за собой странное право — отравлять малѣйшее мое развлеченіе, — возразилъ Калиновичъ.

— Богъ съ тобой, что ты такъ меня пони-

маешь! — сказала Настенька и больше ничего уже не говорила: ей самой казалось, что она не должна была плавать. Калиновичъ окончательно приучилъ ее считать тиранствомъ съ ея стороны малѣйшее несогласіе съ какимъ бы то ни было его желаніемъ. Чтобъ избѣжать непріятной сцены разставанья, при которомъ опять могли повториться слезы, онъ выѣхалъ на другой день съ восходомъ солнца. Дорога сначала шла ровная, гладкая. Рѣзво и весело бѣжала бойкая четверня, и легонькій, щегольской фаэтонъ только слегка покачивался. Утренній воздухъ былъ сыроватъ и свѣжъ. Солнце обливало розовымъ свѣтомъ окрестность. Въ сторонѣ, на полѣ, мужикъ оралъ, понукая свою толстоголовую лошаденку. На другой сторонѣ дороги лѣнливо тянулось стадо коровъ. Въ деревнюшкѣ, на полуразвалившемся крыльцѣ, стояла молоденькая, хорошенькая бабенка и зѣвала. Чу! блѣютъ овцы. Наносится, вѣроятно изъ города, благовѣстъ къ заутрени. Рябитъ и волнуется выколосившаяся рожь и ярко зеленѣетъ яровое. Въ небольшомъ передѣскѣ, около дороги, сидитъ грибъ и на краю огня краснѣютъ двѣ-три ягоды земляники. Съ крутой и каменистой горы кучеръ затормозилъ колеса, и коренныя, сѣвъ въ хомуты, осторожно спустили. Смирненно потомъ прошла вся четверня по фашинной плотинѣ мельницы, слегка вздрагивая и прислушиваясь къ безтолковому шуму колеса и воды, а тамъ начался и лѣсъ — все гуще и гуще, такъ-что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ едва проникалъ сквозь вѣтви дневной свѣтъ... Дорогу почти сплошь стали пересѣкать корни деревьевъ, и на нѣсколько сажень тянутся покрытыя плѣсенью лужи.

Но посреди этой глуши вдругъ иногда запахнетъ отовсюду ландышемъ, залетятъ гдѣ-то очень близко соловей, чирикнуть и перекликнутся ужь Богъ знаетъ какія птички, или шумно порхнутъ изъ-подъ куста тетеревь... Все это Калиновичъ наблюдалъ съ любопытствомъ и удовольствіемъ, какъ обыкновенно наблюдаютъ и восхищаются сельскою природою солидные, городскіе молодые люди, и въ то-же время съ каимъ-то замираньемъ въ сердцѣ воображалъ, что чрезъ нѣсколько часовъ онъ увидитъ благоухающую княжну, и такъ какъ ничто столь не располагаетъ человѣка къ мечтательности, какъ ѣзда, то въ головѣ его начинали мало-по-малу образовываться довольно смѣлыя предположенія: «что еслибъ княжна полюбила меня», думалъ онъ: «и сдѣлалась бы женой моей... я сталъ бы владѣтелемъ и этого фаэтона, и этой четверки... богатъ... мужъ красавицы... извѣстный литераторъ... А Настенька?...» — задавалъ онъ вдругъ себѣ вопросъ, и въ воображеніи его невольно возникалъ печальный образъ бѣдной дѣвушки, такъ горячо его поцѣловавшей и такъ крѣпко прильнувшей къ его груди въ послѣдній вечеръ... Авторъ беретъ смѣлость завѣрить читателя, что въ настоящую минуту въ душѣ его героя жили двѣ любви, чего, какъ извѣстно, никакимъ образомъ не допускается въ романахъ, но въ жизни, Боже мой! встрѣчается на каждомъ шагу. Настеньку Калиновичъ любилъ и любилъ за любовь къ себѣ, понималъ и высоко цѣнилъ ея прекрасную натуру, наконецъ привыкъ къ ней. Но чувство къ княжнѣ было скорѣй каимъ-то эстетическимъ чувствомъ: это было благоговѣніе къ красотѣ, еще болѣе питаемое тѣмъ,

что съ ней могла составиться очень приличная партія.

За лѣсомъ пошли дачи князя, и съ первымъ шагомъ на нихъ Калиновичъ почувствовалъ, что онъ ѣдетъ по владѣніямъ помѣщика нашего времени. вмѣсто узкой проселочной дороги, начиналось шоссе. По сторонамъ былъ засѣянъ то ленъ-ростунъ, то клеверъ. На озимыхъ полосахъ лежали кучи гниющихъ щепковъ, а по дугамъ виднѣлись бугры вырытыхъ пеневъ, и прорыты были съ какими-то особенными цѣлями канавы. Изъ-за рощи открывалось длинное строеніе съ высокой трубой, изъ которой шелъ густой дымъ, заставившій подозрѣвать присутствіе паровъ. Обогнувъ садъ, издали напоминающій своею 'правильностію коверъ, и объѣхавъ на красномъ дворѣ вруглый, огромный цвѣтникъ, экипажъ наконецъ остановился у подъѣзда. Молодой, хорошенькій изъ себя лакей, въ красивой жакеткѣ и бѣломъ жилетѣ, вѣроятно, изъ цирюльниковъ, выбѣжалъ на встрѣчу и, ловко откинувъ фусакъ фаэтона, слегка поддержалъ Калиновича, когда тотъ соскакивалъ.

— Прямо къ князю, или въ ваши комнаты пожалуете? — спросилъ онъ, вѣжливо склоняя голову.

— Да, я желалъ бы прежде переодѣться, — отвѣчалъ Калиновичъ, подумавъ.

— Пожалуйте! — подхватилъ лакей и распахнулъ двери въ нижнюю половину. Калиновичъ вошелъ. Это было цѣлое отдѣленіе изъ нѣсколькихъ комнатъ для пріѣзжающихъ гостей-мужчинъ. Кругомъ шли турецкіе диваны, обтянутые трипомъ; въ углахъ стояли кампы; на стѣнахъ, оклеенныхъ подъ рытый

бархатъ обоями, висѣли, въ золотыхъ рамахъ, масляныя и несовѣтъ скромнаго содержанія картины; полъ былъ обтянутъ толстымъ зеленымъ сукномъ. Въ эти-то, съ такимъ удобствомъ убранныя, комнаты лакей принесъ маленькій, засаленный чемоданчикъ Калиновича и, какъ нарочно, тутъ-же отперъ небольшой рѣзнаго орѣха шкапчикъ, въ которомъ оказался фарфоровый умывальникъ и такая-же лохань. Никогда еще герою моему не казалась такъ невыносимо отвратительна его собственная бѣдность, какъ въ ту минуту. Умывшись наскоро, онъ сказалъ человѣку:

— Теперь ты, любезный, можешь идти: я обыкновенно самъ одѣваюсь.

Лакей поклонился и вышелъ. Калиновичъ поспѣшилъ переодѣться въ свою единственную фракную пару, а прочее платье свое бросилъ въ чемоданъ, заперъ его и ключъ положилъ себѣ въ карманъ, изъ опасенья, чтобъ княжеская прислуга не стала разсматривать и осмѣивать его гардероба, въ которомъ были и заштопанныя голландскія рубашки, и поношенные жилеты, и съ расколотою деревянной ручкой бритвенная кисточка,

Вошелъ другой лакей, постарше и еще съ болѣе приличной физиономіей, во фракъ и блонъ жилетъ.

— Его сіятельство приказали спросить, гдѣ вы изволите чай кушать: сюда прикажете, или наверхъ пожалуете? — проговорилъ онъ.

— Я пойду туда, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Лакей повелъ его въ бель-этажъ. Сначала они прошли огромную, подъ мраморъ, залу, потомъ что-то въ родѣ гостиной, съ нѣсколькими небольшими

диванчиками, за которой слѣдовала главная гостиная съ тяжелою, бархатною драпировкою, и наконецъ уже, пройдя еще небольшую комнату, всю въ зеркалахъ и уставленную куклами, очутились въ столовой съ отвореннымъ балкономъ на садовую террасу. Тамъ Калиновичъ увидѣлъ князя со всей семьей за круглымъ столомъ, на которомъ стоялъ серебряный самоваръ съ чашками и, по англійскому обыкновению, что-то въ родѣ завтрака. Тутъ были и корзина съ сухарями, и чухонское масло, и сыръ, и буттерброды изъ телятины, дичи и ветчины, и даже теплое блюдо котлетъ. Князь, въ сюртучкѣ изъ тонкаго сѣраго сукна, въ легонькомъ, слегка завязанномъ галстучкѣ, при входѣ Калиновича всталъ.

— Сейчасъ только самъ хотѣлъ идти къ вамъ, — сказалъ онъ, подходя и обнимая его.

Княгиня, сидѣвшая въ покойномъ креслѣ, послала гостю довольно ласковый поклонъ. Княжна въ простомъ, но дорогомъ, должно быть, платьѣцѣ, и очень мило причесанная, тоже слегка кивнула ему головкой. Кромѣ хозяевъ, въ столовой находились разливавшая чай бѣлокурая дама въ чопорномъ чепцѣ и затянута въ корсетъ, и какой-то господинъ, совершенный брюнетъ, съ бородой, съ усами и вообще съ чрезвычайно-выразительнымъ лицомъ, въ лѣтнемъ, послѣдней моды, пиджакѣ и съ болтающимся стеклышкомъ на шеѣ. Около него сидѣлъ лѣтъ десяти хорошенькій мальчигъ, очень-похожій на княжну и на княгиню, стриженный, какъ мужичекъ, въ скобву, и въ красной, съ косымъ воротомъ, ванаусовой рубашкѣ. Господинъ съ выразительнымъ лицомъ намазывалъ масло на хлѣбъ и съ замѣтнымъ

увлеченіемъ толковалъ ему, какъ должно это дѣлать. Изъ рекомендаціи князя Калиновичъ узналъ, что господинъ былъ м-г ле-Гранъ, гувернеръ маленькаго князька, а дама — бывшая воспитательница княжны, мистриссъ Нетльбетъ, оставшаяся жить у князя навсегда — кто понималъ по дружбѣ, а другіе толковали, что князь взялъ небольшой ея капиталъ себѣ за проценты и тѣмъ привязалъ ее къ своему дому. Мистриссъ Нетльбетъ предложила Калиновичу чаю.

— Не хотите ли вы съѣсть что-нибудь? — Мы обѣдаемъ поздно, — сказалъ князь.

Калиновичъ, никогда до двухъ часовъ ничего не ѣвшій, но не хотѣвшій этого показать, сталъ выбирать глазами, что бы взять, и м-г ле-Гранъ обязательно предложилъ ему котлетъ, отозвавшись о нихъ, и особенно о шпинатѣ, съ большою похвалою.

Послѣ этого чайнаго завтрака всѣ стали расходиться. М-г ле-Гранъ ушелъ съ своимъ воспитанникомъ упражняться въ гимнастикѣ; княгиня велѣла перенести свое кресло на террасу, причемъ князь замѣтилъ ей, что не вѣтрено-ли тамъ, но княгиня сказала, что ничего — не вѣтрено; Нетльбетъ перешла тоже на террасу, молча сѣла и, съ строгимъ выраженіемъ въ лицѣ, принялась вышивать бродери. Послѣ того князь предложилъ Калиновичу, если онъ не усталъ, пройти въ поле. Тотъ изъяснилъ, конечно, согласіе.

— Папа, и я пойду съ вами, — сказала картавя княжна.

У Калиновича сердце замерло отъ восторга.

— Allons! — сказалъ князь и, пока княжна пошла одѣваться, провелъ гостя въ кабинетъ, который тоже оказался умно и богато-убраннымъ кабинетомъ: мягкая сафьянная мебель, огромный письменный столъ — все это было туровскаго происхожденія. На стѣнахъ висѣли часы, барометры, термометры и семейные портреты. Въ сосѣдней комнатѣ, какъ видно было чрезъ растворенную дверь, стоялъ посрединѣ бильярдъ, а въ углу товарный станокъ. Работая головой по нѣскольку часовъ въ день, князь, по его словамъ, имѣлъ для себя правиломъ упражнять и тѣло.

«Хорошо жить на свѣтѣ богатымъ!» — подумалъ про-себя Калиновичъ и вздохнулъ отъ глубины души.

Пришла княжна въ соломенной пастушеской шляпкѣ и въ легкомъ бурнусѣ.

— Allons! — повторилъ князь и, надѣвъ тоже сѣрую полевую шляпу, повелъ сначала въ садъ. Проходя оранжереи и теплицы, княжна изъавила неподдѣльную радость, что самый маленькій бутончикъ въ розанѣ распустился и что единственный на огромномъ деревѣ померанецъ толстѣетъ и наливается. Въ полѣ князь началъ было рассказывать Калиновичу свои хозяйственные предположенія, но княжна указала на летѣвшую вдали птицу и спросила:

— Папа, это какая птичка?

— Ворона, chère amie, ворона — отвѣчалъ князь и, возвращаясь назадъ черезъ усадьбу, усладъ дочь въ комнаты, а Калиновича провелъ на конскій дворъ и велѣлъ вывести заводскаго жеребца. Серdito и съ

пѣной во рту выскочилъ сѣрый, въ яблокахъ, рысакъ, съ повиснувшимъ на недоуздки конюхомъ и, остановясь на серединѣ площадки, выпрямилъ шею, началъ поводить кругомъ умными, черными глазами, потомъ опять понурилъ голову, фыркнулъ и принялся рыть копытомъ землю. Князь, ласково потрепавъ его по загривку, велѣлъ подать мѣрну, и оказалось, что жеребецъ былъ шести съ половиною вершковъ.

Калиновичъ искренно восхищался всѣмъ, что видѣлъ и слышалъ, и такъ какъ любовь освѣщаетъ въ нашихъ глазахъ все инымъ свѣтомъ, то вопросъ о воронѣ попреимуществу казался ему чрезвычайно милъ.

— Вы рѣшительно устроили у себя земной райкъ, — сказалъ онъ князю.

— Да... Что намъ, прозаистамъ, дѣлать, какъ не заниматься матеріальными благами? — отвѣчалъ тотъ и, попросивъ гостя располагать своимъ временемъ безъ церемоніи, извинился и ушелъ въ кабинетъ позаняться кой-чѣмъ по хозяйству. Калиновичъ прошелъ на террасу къ дамамъ, въ надеждѣ увидѣть княжну, но засталъ тамъ одну только княгиню, задумчиво смотрѣвшую на виднѣвшіяся изъ-за сада горы. Какъ бы желая чѣмъ-нибудь занять молодого человѣка, она, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, придумала наконецъ и спросила его: «откуда онъ родомъ?» и когда Калиновичъ отвѣчалъ, — что изъ Симбирска, поинтересовалась узнать, далеко ли это. Онъ отвѣчалъ, что далеко, и княгиня, повидимому, этимъ удовольствовалась и замолчала, продолжая, впрочемъ, смотрѣть на своего собесѣдника такъ

грустно и печально, что ему наконецъ сдѣлалось неловко.

«Что это она точно сожалѣтъ и грустить обо мнѣ?»—подумалъ онъ и тоже не находился, съ своей стороны, о чемъ начать бы разговоръ. Вскорѣ, однако, въ сосѣднихъ комнатахъ раздались радостныя восклицанія княжны, и на террасу вбѣжалъ маленькій князекъ, припрыгивая на одной ногѣ, хлопая въ ладоши и крича: «Ма тантенька пріѣхала, ма тантенька пріѣхала!...» и подъ именемъ «ма тантеньки»—оказалась Полина, которая шла за нимъ въ сопровожденіи князя, княжны и *monsieur* де-Грана. Княгиня очень ей обрадовалась и тотчасъ же замѣтила, что она пріѣхала въ новой амазонкѣ, очень искусно выложенной шнурочками.

— Какъ это мило, какъ это хорошо!—проговорила она, разсматривая нарядъ.

— *C'est très-joli, maman*, — подхватила съ чувствомъ княжна.

— Ба! О, я, вандалъ, и не замѣтилъ!—воскликнулъ князь и, вынувъ лорнетъ, сталъ разсматривать Полину.

— *Charmant, charmant!*—говорилъ онъ.

Monsieur де-Гранъ сказалъ комплиментъ, уже прямо относившійся къ Полинѣ, въ родѣ того, что она прелестна въ этомъ нарядѣ; та отвѣчала ему только легкой улыбкой и обратилась къ Калиновичу.

— А вамъ, *monsieur* Калиновичъ, вѣрно не нравится моя амазонка?

— Напротивъ, я только не говорю, а восхищаюсь молча, — отвѣчалъ онъ и многозначительно взглянулъ на княжну, которая, въ свою очередь,

тоже отвѣчала ему довольно продолжительнымъ взглядомъ.

Полина пріѣхала въ амазонкѣ, потому что послѣ обѣда предполагалось катанье верхомъ, до котораго княжна, м-г ле-Гранъ и маленькій князекъ были страшные охотники.

— А вы съ нами поѣдете?—спросила Полина, за обѣдомъ, Калиновича.

— Я-съ?...—началь было тотъ.

— Вы вѣрно боитесь ѣздить верхомъ?—замѣтила вдругъ княжна.

— Почему же вы думаете, что я боюсь? — возразилъ Калиновичъ, нѣсколько кольнутый этимъ вопросомъ.

— Вы статскій: статскіе всѣ боятся, — отвѣчала княжна.

— Нѣтъ, я не боюсь, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Кавалькада начала собираться тотчасъ послѣ обѣда. М-г ле-Гранъ и князекъ, давно уже мучимые нетерпѣніемъ, побѣжали взапуски въ манежъ, чтобъ смотрѣть, какъ будутъ сѣдлатъ лошадей. Княжна, тоже очень довольная, проворно переодѣлась въ амазонку. Княгиня кротко просила ее Бога ради ѣхать осторожниѣе и не скакать.

— И я васъ, княжна, о томъ же прошу; иначе вы въ послѣдній разъ катаетесь, — присовокупилъ князь.

— Ничего, — отвѣчала весело княжна.

— Нѣтъ, я ей не позволю, — сказала Полина.

— Пожалуйста!—проговорили князь и княгиня въ одинъ голосъ.

Когда лошадей подвели къ крыльцу, князь вышелъ самъ усаживать дамъ. Князекъ и м-г ле-Гранъ

были уже верхами: первый на ворономъ клеперъ, а ле-Гранъ на самомъ бойкомъ скакунѣ. Полина и княжна сѣли на красивыхъ, но смирныхъ лошадей. Калиновичу, по приказанію князя, тоже приведена была довольно старая лошадь. Но герой мой, объявившій княжнѣ, что не боится, говорилъ неправду: онъ въ жизнь свою не ѣзжалъ верхомъ и въ настоящую минуту, взглянувъ на доснящуюся шерсть своего коня, на его скрученную мундштукомъ шею и замѣтивъ на удилахъ у него пѣну, обмеръ отъ страха. Желая, впрочемъ, скрыть это, онъ началъ спокойно усаживаться.

— М-г Калиновичъ, не съ той стороны садитесь!— воскликнулъ ле-Гранъ.

Князекъ захохоталъ.

— Все равно,— замѣтилъ князь.

— Все равно!— повторилъ сконфуженнымъ голосомъ Калиновичъ и затянулъ поводья. Лошадь начала пятиться назадъ. Онъ рѣшительно не зналъ, что съ ней дѣлать.

— Не держите такъ крѣпко!— сказалъ ему князь, видя, что онъ труситъ. Калиновичъ ослабилъ поводья. Поѣхали. Ле-Гранъ началъ то горячить свою лошадь, то сдерживать ее, доставляя тѣмъ большое удовольствіе княжнѣ и маленькому князьку, который, въ свою очередь, далъ шпоры своему клеперу и поскакалъ.

— Bien, bien! — кричалъ французъ и понесся вслѣдъ за нимъ. Княжна тоже увлеклась, ихъ при- мѣромъ и понеслась. Калиновичъ остался вдвоемъ съ Полиной.

— Васъ, я думаю, мало интересуютъ наши деревенскія удовольствія,— начала та.

— Почему-жь? — спросилъ Калиновичъ, болѣе занятый своей лошадыю, въ которой видѣлъ желаніе идти въ галопъ, и не подозрѣвая, что самъ былъ тому причиной, потому что, желая сидѣть крѣпче, немилосердно давилъ ей бока ногами.

— Ваши мысли заняты вашими сочиненіями, — отвѣчала Полина.

Калиновичъ молчалъ.

— И какое это счастье,— продолжала она съ чувствомъ:— умѣть писать что чувствуешь и думаешь, и какъ бы я желала имѣть этотъ даръ, чтобъ описать свою жизнь.

— Отчего-жь вы не опишете,— проговорилъ наконецъ Калиновичъ, все не могшій совладать съ своей лошадыю.

— Сама я не могу писать,— отвѣчала Полина: но, знаете, я всегда ужасно желала сблизиться съ какимъ-нибудь поэтомъ, которому бы рассказала мое прошедшее, и онъ бы мнѣ растолковалъ многое, чего я сама не понимаю, и написалъ бы обо мнѣ...

Калиновичъ, вмѣсто отвѣта, взглянулъ въ даль.

— Княжна ускакала; вы не исполнили вашего обѣщанія княгинѣ,— замѣтилъ онъ.

— Ахъ, да; закричите ей, пожалуйста, чтобъ она не скакала! — проговорила Полина.

— Княжна, князь просилъ васъ не скакать! — крикнулъ Калиновичъ по-французски. Княжна не слыхала; онъ крикнулъ еще: княжна остановилась и начала ихъ поджидать. Гибкая, стройная и затянутая въ синюю амазонку, съ нѣсколькими нахлобучен-

ною шляпою и съ разгорѣвшимся лицомъ, она была удивительно-хороша, отразившись вмѣстѣ съ своей сѣрой лошадкой на зеленомъ фонѣ перелѣска, и герою мой забылъ въ эту минуту все на свѣтѣ: и Полину, и Настеньку, и даже своего коня...

Въ остальную часть вечера не случилось ничего особеннаго, кромѣ того, что Полина, по просьбѣ князя, очень много играла на фортепіано, и Калиновичъ долженъ былъ слушать ее, устремляя по временамъ взглядъ на княжну, которая, съ своей стороны, тоже нѣсколько разъ, хоть и бѣгло, но внимательно взглядывала на него.

V.

21-го іюля были именины князя. Чтобъ понять все его уѣздное величіе, надобно было именно въ этотъ день быть у него. Еще съ ранняго утра засуетилось передъ открытыми окнами кухни человекъ до пяти поваровъ и поваренковъ въ бѣлыхъ колпакахъ и фартукахъ. Они рубили мясо, выбивая тактъ, сбивали что-то такое въ кастрюляхъ, и посреди ихъ расхаживалъ съ важностью поваръ генеральши, котораго князь всегда бралъ къ себѣ на парадные обѣды, не столько по необходимости, сколько для того, чтобъ доставить ему удовольствіе, и старикъ этимъ ужасно гордился. Часу въ девятомъ князь, вдвоемъ съ Калиновичемъ, поѣхалъ къ приходу молиться.

На колокольні, завидѣвъ ихъ экипажъ, начали благовѣсть. Священникъ и дьяконъ служили въ са-

мыхъ лучшихъ ризахъ, положенныхъ еще покровомъ на покойную княгиню, мать князя. Дьячокъ и пономарь, съ распущенными косами и въ стихаряхъ, составили нѣчто въ родѣ хора съ двумя отпускными семинаристами: философомъ-басомъ и грамматикомъ-дискантомъ. При окончаніи литургіи, имениннику вынесена была цѣлая просфора, а Калиновичу половина.

— Откушать ко мнѣ, — проговорилъ князь священнику и дьякону, подходя къ кресту, на что тотъ и другой отвѣчали почтительными поклонами. Именины — былъ единственный день, въ который онъ приглашалъ ихъ къ себѣ обѣдать.

Возвращаясь домой и проѣзжая по красному двору, князь указалъ Калиновичу на вновь выстроенные длинные столы и двое качелей, круговую и маховую.

— Это для народа: тутъ вы уже увидите довольно оживленную толпу, — замѣтилъ онъ.

— Вы и о народѣ не забываете! — проговорилъ Калиновичъ тономъ удивленія и одобренія.

— Да, я люблю, по возможности, доставлять всѣмъ удовольствіе, — отвѣчалъ князь.

Въ залѣ былъ уже одинъ гость — вновь опредѣленный становой приставъ, молодой еще человѣкъ, но страшно рябой, въ видмундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, и съ серебряною цѣпочкою, выпущенною изъ-за борта, какъ-бы въ родѣ аксельбанта. При входѣ князя, онъ вытянулся и проговорилъ официальнымъ голосомъ:

— Честь имѣю представиться: — приставъ втораго стана, Романусъ.

— Очень радъ, очень радъ познакомиться, — отвѣчалъ князь, пожимая ему руку.

— И вмѣстѣ съ тѣмъ позвольте поздравить васъ со днемъ вашего тезоименитства, — продолжалъ приставъ.

— Благодарю васъ, благодарю, — отвѣчалъ князь, сжимая еще разъ руку пристава.

— Прошу извиненія, — продолжалъ становой: — по обязанностямъ моей службы, до сихъ поръ еще не имѣлъ чести представиться вашему сіятельству.

— О, помилуйте! Я знаю, какъ трудна ваша служба, — подхватилъ князь.

— Служба наша, ваше сіятельство, была бы пріятная, какъ бы мы сами, становые пристава, были не такіе. Предмѣстникъ мой, какъ, можетъ быть, и вашему сіятельству извѣстно, оставилъ мнѣ не дѣла, а ворохъ сѣна.

— Знаю, знаю. Но вы, какъ я слышалъ, все это поправляете, — отвѣчалъ князь, хотя очень хорошо зналъ, что прежній становой приставъ былъ человѣкъ дѣйствительно пьющій, но знающій и дѣятельный, а новый — дрянъ и дуракъ; однако, все-таки, по своей тактикѣ, хотѣлъ на первый разъ обласкать его, и тотъ, съ своей стороны, очень довольный этимъ привѣтствіемъ, заложилъ большой палецъ лѣвой руки за послѣднюю застегнутую пуговицу фрака и, покачивая вправо и влево головою, началъ расхаживать по залу.

Пришли священники и еще разъ поздравили знаменитаго именинника съ тезоименитствомъ, а семинаристъ-философъ, выступивъ впередъ, сказалъ привѣтственную рѣчь, начавъ ее воззваніемъ: «Досто-

почтенный бояринъ!..» Князь выслушалъ его очень серьезно и далъ ему трехрублевую бумажку. Священнику, дьякону и становому привазано было подать чай, а прочій причтъ отправился во флигель, къ управляющему, для принятія должнаго угощенія.

Распорядясь такимъ образомъ, князь пригласилъ наконецъ Калиновича по-французски въ столовую, гдѣ тоже произошла довольно умиленная сцена поздравленія. Первый бросился къ отцу на шею маленькій князь, восклицая:

— Je vous félicite, papa.

Князь расцѣловалъ его въ губки, въ щечки и въ глаза.

— Je vous félicite, mon prince! — произнесъ раскланиваясь monsieur де-Гранъ.

— Merci, mon cher, merci, — отвѣчалъ съ чувствомъ князь.

Княжна, въ какомъ-то ужъ совершенно воздушномъ, съ безчисленнымъ числомъ оборокъ, кисейномъ платьѣ, съ милымъ и веселымъ выраженіемъ въ лицѣ, подошла къ отцу, подцѣловала у него руку и подала ему цѣнную черепаховую сигарочницу, на одной сторонѣ которой былъ сдѣланъ вышитый шелками по бумагѣ розанъ. Это она подарила свою работу, секретно сработанную и секретно обдѣланную въ Москвѣ.

— Charmant! charmant! — воскликнулъ князь, разсматривая подарокъ.

Мистрисъ Нетльбетъ, въ свою очередь, тоже встала изъ за самовара и, жеманно присѣвъ, проговорила поздравительное привѣтствіе князю и представила ему въ подарокъ что-то свернутое... ка-

жется, связанные собственными ее руками шелковые коврики.

— А! да это славно быть именинникомъ: все дарятъ. Я готовъ быть по нѣсколько разъ въ годъ,— говорилъ князь, пожимая руку мистриссъ Нетльбетъ.—Ну-съ, а вы, ваше сіятельство,—продолжалъ онъ, подходя къ княгинѣ, беря ее за подбородокъ и продолжительно цѣлуя:—вы чѣмъ меня подарите?

— А у меня ничего нѣтъ,—отвѣчала та съ добродушной улыбкой.

— Вотъ женушки, всегда таковы! никогда ничѣмъ не подарятъ! — обратился князь къ Калиновичу.

Княгиня добродушно улыбалась, Калиновичъ тоже отвѣчалъ улыбкою.

Въ часъ дамы перешли въ большую гостиную, и стали съѣзжаться гости. Князь всѣхъ встрѣчалъ въ залѣ. Первый пріѣхалъ стряпчій съ женою, хорошенькою дочерью городничаго, которая была уже въ счастливомъ положеніи, чего очень стыдилась, а мужъ напротивъ, казалось, гордился этимъ. Судья привезъ въ своемъ тарантасѣ инвалиднаго начальника и виннаго пристава. Перваго князь встрѣтилъ съ нѣкоторымъ уваженіемъ, имѣя въ судѣ кой-какія дѣлишки, а двумъ послѣднимъ сказалъ по нѣсколько обязательныхъ любезностей, и когда гости введены были къ хозяйкѣ въ гостиную, то судья остался заниматься съ дамами, а инвалидный начальникъ и винный приставъ возвратились въ залу и присоединились къ болѣе приличному для нихъ обществу священника и становаго пристава. Пріѣхалъ и почтмейстеръ, одинъ. Его неотступно просилъ было взять съ собою письмо-

водитель опеки, но онъ отказалъ. Князь встрѣтилъ старика радушнымъ восклицаніемъ:

— Здравствуйте, почтеннѣйшій старичекъ.

Почтмейстеръ проговорилъ своимъ ровнымъ и печальнымъ голосомъ поздравленіе и тутъ же попросилъ у князя позволеніе прогуляться въ его Елисейскихъ Поляхъ.

— Сдѣлайте милость!—отвѣчалъ тотъ.

И почтмейстеръ, не представившись даже дамамъ, надѣлъ свою изношенную соломенную шляпу и ушелъ въ садъ, гдѣ, погруженный въ какое-то глубокое размышленіе, началъ гулять по самымъ темнымъ аллеямъ.

Между тѣмъ пріѣхалъ исправникъ съ семействомъ. Вынувъ въ лакейской изъ ушей морской канатъ и уложивъ его аккуратно въ жилеточный карманъ, онъ смиренно входилъ за своей супругой и дочерью, молодой еще дѣвушкой, только-что выпущенной изъ учебнаго заведенія, но чрезвычайно полной и съ такой развитой грудью, что даже трудно вообразить, чтобъ у дѣвушки въ семнадцать лѣтъ могла быть такая высокая грудь. Ее, разумѣется, сейчасъ познакомили съ княжной. Та посадила ее около себя и устала на нее спокойный и холодный взглядъ.

— Это кто такой? — проговорилъ князь, глядя прищурившись въ окно.

На дворъ молодецки въѣзжали старья, разбитыя пролетки на тройкѣ влячъ, на которыхъ, впрочемъ, сбруя была вся въ бляхахъ, а на кучеръ бвлѣлъ полинялый голубой кафтанъ и вытертый серебряный кушакъ. Это пріѣхалъ тотъ самый молодой дворянинъ Кадниковъ, охотникъ купаться, о которомъ

я говорилъ въ первой части. Его прислала на пиенины къ князю мать, желавшая, чтобъ онъ бывалъ въ хорошихъ обществахъ, и Кадниковъ, завитой, въ новой фракной парѣ, былъ что-то очень ужъ развязанъ и съ глазами, налившимися кровью. Расшаркавшись передъ княземъ, онъ прямо подошелъ къ княжнѣ, сталъ около нея и началъ обращаться къ ней съ вопросами.

— Какъ ваше здоровье?

— Хорошо, — отвѣчала та.

— Какъ изволите время проводить?

— Хорошо, — отвѣчала опять княжна и взглянула на Калиновича, который стоялъ у одного изъ оконъ и насмѣшливо смотрѣлъ на молодого человѣка.

— Какъ я давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть! — отнесся Кадниковъ къ дочери исправника.

Та отвѣчала на это какимъ-то звукомъ и сама вся покраснѣла. Поговоривъ съ дѣвицами, онъ обратился къ самой княгинѣ.

— Какой, ваше сіятельство, у васъ хлѣбъ отличный! Я, проѣзжая вашимъ полемъ, все любовался.

— Хорошъ?.. Я и не видала, — отвѣчала княгиня.

— Очень хорошъ!.. А у маменьки моей нынче такъ ни яроваго, ни ржи не будетъ. Осимъ тогда очень поздно сѣяли, и то въ грязь кидали; а овесъ... я ужъ и не знаю, отчего: видно, сѣмена были плохи. Такъ непріятно это въ хозяйствѣ!

— Конечно, — подтвердила княгиня.

Князь, ходившій взадъ и впередъ по гостиной, успѣшилъ прекратить разговорчивость молодого человѣка и обратился довольно громко къ судьямъ:

— Что, Михайло Илларионычъ, когда вы вашего губернатора ждете?

— Не знаемъ. Страшаетъ давно, а нѣтъ еще... Что-то Богъ дастъ! Строгій, говорятъ, человекъ,— отвѣчалъ судья, глядя рукой шляпу.

— Нѣтъ, не строгій, а дѣльный человекъ,— возразилъ князь:— по благородству чувствъ своихъ, это рыцарь нашего времени, — продолжалъ онъ, садясь около судьи и ударяя его по колѣнкѣ: — я его знаю съ прапорщичьяго чина; мы съ нимъ вмѣстѣ дѣлали кампанію двадцать восьмаго года, и только что не спали подъ одной шинелью. Я, когда услышалъ, что его назначили сюда губернаторомъ, такъ отъ души порадовался. Это пріобрѣтеніе для губерніи.

Все это судья выслушалъ совершенно равнодушно — вѣроятно, потому, что князь говорилъ съ такими похвалами почти обо всѣхъ губернаторахъ, пока ихъ не смѣняли.

— Вы еще не изволили видѣться съ его превосходительствомъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще; жду его пріѣзда сюда, не завернетъ-ли онъ ко мнѣ въ мое захоlustье, — отвѣчалъ князь.

— Не оставьте ужъ доброе слово замолвить... — проговорилъ съ улыбкою судья.

— О, Боже мой! — воскликнулъ князь: — это будетъ моею первой обязанностью, особенно о вашемъ уѣздномъ судѣ, который, безъ лести говоря, можетъ назваться образцовымъ уѣзднымъ судомъ.

Кадниковъ, немогшій пристать къ этому солидному разговору, вдругъ всталъ, пошелъ, затоналъ

каблуками и обратился еще къ Калиновичу съ просьбой: нѣтъ-ли у него папироски.

— Нѣтъ-съ; да здѣсь и курить нельзя, — отвѣчалъ тотъ сухо.

— А, да, понимаю! — проговорилъ Кадниковъ и отправился наконецъ въ залу.

Тамъ инвалидный начальникъ разговаривалъ съ виновнымъ приставомъ и жаловался на одного изъ рыжихъ Медіокритскихъ, который у него каждое утро стрѣлялъ въ огородъ воробьевъ.

Кадниковъ присталъ къ этому разговору, началъ оправдывать Медіокритскаго и, разгораясь, такъ кричалъ, что все было слышно въ гостиной. Князь только морщился. Не оставалось никакого сомнѣнія, что молодой человекъ, обыкновенно очень скромный и очень не глупый, былъ пьянъ. Что дѣлать! робѣя и конфузясь ѣхать къ князю въ такой богатый и модный домъ, онъ, для смѣлости, хватилъ два стаканчика неподслащенной наливки, которая теперь и связывала себя.

Собственно такъ-называемая уѣздная аристократія стала съѣзжаться часу въ четвертомъ. Началось съ генеральши: ее внесли на креслахъ и поставили около хозяйки. За ней шла Полина въ довольно простомъ лѣтнемъ платьѣ, но въ брилльянтахъ, тысячь на двадцать серебромъ. Она сейчасъ же занялась съ Калиновичемъ. Сверхъ ожиданія, пріѣхалъ потомъ предводитель. Въ сущности они съ княземъ были страшные враги и старались вредить другъ другу на каждомъ шагу, но по наружности казались даже друзьями. Едва только предводитель успѣлъ раскланяться съ дамами, какъ князь увелъ его въ каби

нетъ, и они вступили въ интимный, дружескій между собою разговоръ по случаю поданной губернатору жалобы барышни-помѣщицы на двухъ ея бунтующихъ толсторожихъ горничныхъ дѣвокъ, которыя куда-то убѣжали отъ нея на цѣлую недѣлю.

Послѣ всѣхъ подѣхалъ господинъ въ щегольской коляскѣ шестерикомъ, господинъ необыкновенно тучный, бѣлый, какъ папошникъ—съ соннымъ выраженіемъ въ лицѣ и двойнымъ, отвислымъ подбородкомъ. Одѣтъ онъ былъ въ совершенно лѣтніе брюки, въ лѣтній жилетъ, почти съ разстегнутою батистовою рубашкою, но при всемъ томъ все еще сильно страдалъ отъ жара. Тяжело дыша и лѣнливо переступая, началъ онъ взбираться на лѣстницу, и когда князю доложили о пріѣздѣ его, тотъ опрометью бросился встрѣчать.

Предводитель сдѣлалъ насмѣшливую гримасу, но и самъ пошелъ на встрѣчу толстяку. Княгиня, видѣвшая въ окно, кто пріѣхалъ, тоже какъ-будто бы обезпокоилась. Изъ залы слышались восклицанія:— «*Mais comment... Voilà c'est un...*»—Наконецъ гость, въ сопровожденіи князя и предводителя, ввалился въ гостиную. Княгиня, сидя встрѣчавшая всѣхъ дамъ, при его появленіи привстала и протянула ему руку. Даже генеральша какъ бы вышла изъ раздумья и живнула ему головой нѣсколько разъ.

— *Bon jour, mesdames,* — произнесъ шепелявя толстякъ и, пожавъ руку княгини, довольно нецеремонно и тяжело опустился около нея на диванъ, такъ что стоявшіе по бокамъ мраморные амурчики задрожали и закачались.

На прочихъ лицѣ, сидѣвшихъ въ гостиной, онъ

не обратилъ никакого вниманія и только, замѣтивъ вняжну, мотнулъ ей головой и проговорилъ:

— Bon jour, mademoiselle.

— Bon jour, — отвѣчала она съ пріятной улыбкою.

Лицо это было нѣкто Четвериковъ, холостякъ, откувшикъ нѣсколькихъ губерній, значительный участникъ по золотымъ приискамъ въ Сибири. Все это, впрочемъ, онъ наследовалъ отъ отца и все это шло заведеннымъ порядкомъ, помимо его воли. Самъ же онъ былъ только скупъ, отчасти фать и все время проводилъ въ томъ, что читалъ французскіе романы и газеты, непомярно ѣлъ и ѣздилъ безпрестанно изъ Питвія, сосѣднато съ княземъ, въ Сибирь, а изъ Сибири въ Москву и Петербургъ. Когда его спрашивали, гдѣ онъ больше живетъ, онъ отвѣчалъ: — «въ эвипажѣ».

Калиновичу онъ очень не понравился; и его чрезвычайно непріятно поразило исключительное уваженіе, съ которымъ встрѣтили хозяева Четверикова. Онъ высказалъ это Полинѣ. Та улыбнулась и отвѣчала полушепотомъ:

— Да, на него здѣсь имѣютъ виды. Это, можетъ быть, женихъ для Catherine.

— Женихъ княжны! — невольно воскликнулъ Калиновичъ.

— Да; что-жь? Для нея очень приличная партія, — отвѣчала Полина съ какой-то двусмысленной улыбкой.

Калиновичъ нахмурился.

Шествіе къ столу произошло торжественно: кавалеры повели дамъ подъ руки. Нигдѣ, можетъ быть, съ такою дипломатическою тонкостью и точностью не приклеиваютъ гостямъ ярлычки, кто чего стоитъ,

какъ бываетъ это на парадныхъ деревенскихъ обѣдахъ. Въ настоящемъ случаѣ повторилось то же, и сразу почти опредѣлился общественный вѣсъ каждого. Впереди всѣхъ, на примѣръ, пошла хозяйка съ Четвериковымъ; за ними покатили генеральшу въ креслахъ, и князь, дѣлая видъ, что какъ-будто бы ведетъ ее подъ руку, пошелъ около нея. Къ княжнѣ подлетѣлъ было Кадниковъ, но предводитель слегка отклонилъ молодаго человѣка локтемъ и занялъ его мѣсто. Калиновича сама пригласила Полина; судья повелъ исправницу, исправникъ — стряпчиху, стряпчій — дочь исправника. Въ залѣ находилось еще нѣсколько человѣкъ гостей, которыхъ князь не считалъ за нужное вводить въ гостиную. Это были три чиновника изъ приказныхъ и два бѣдные дворянина съ загорѣлыми лицами и съ женами въ драдемамовыхъ платкахъ. Обѣдъ былъ французскій, тонкій. Прошелъ онъ съ полнымъ благоприличіемъ: сначала, какъ обыкновенно, говорили только въ аристократическомъ концѣ стола, то есть: Четвериковъ, князь и, отчасти, предводитель, а къ концу, когда выпито было уже по нѣсколько рюмокъ вина, стали поговаривать и на остальной половинѣ.

Кадниковъ опять началъ спорить съ пивалиднымъ начальникомъ; становой сталъ шептаться съ исправникомъ и, наконецъ, даже почтмейстеръ, упорно до того молчавшій, прислушавшись къ разговору Четверикова съ княземъ о Сибири, вдругъ обратился къ сидѣвшему рядомъ съ нимъ Калиновичу и проговорилъ:

— Одинъ французскій ученый сказалъ, что еслибъ всю Европу переселить въ Сибирь, то я тогда въ ней много бы мѣста осталось.

Капиновичъ улыбнулся и не нашель, съ своей стороны, ничего возможнымъ возразить на это.

Послѣ стола князь пригласилъ всѣхъ на террасу, обращенную на дворъ. Видъ съ нея открывался на три стороны: группы бабъ и дѣвокъ тянулась по полямъ къ усадьбѣ, показываясь своими цвѣтными головами изъ-за поднявшейся довольно уже высоко ржи, или двигались, до половины выставившись, по несхоженнымъ лугамъ. Мѣстами появлялись по двѣ, по три, сѣроватыя и темноватыя фигуры мужиковъ. Красный дворъ, впрочемъ, ужъ кишѣлъ народомъ: бабы и дѣвки, въ ситцевыхъ сарафанахъ, въ шелковыхъ, а другія въ парчевыхъ душегрѣйкахъ, въ яркихъ платкахъ, съ бисерными и стеклянными подпоясками на лбахъ, ходили взводами.

Молодые ребята: фореиторъ предводительскій и фореиторъ княжескій качали на маховой качели, вровень съ перекладомъ, двухъ прѣзжихъ горничныхъ дѣвушекъ, нарочно еще притряхивая доску, при чемъ тѣ всякій разъ визжали. На круговой качели, которую вертѣлъ скотникъ, упираясь грудью въ валъ, качались двѣ поповны и прикащица. Худощавый лакей генеральши стоялъ, прислонясь къ стѣнѣ, и съ самымъ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ глядѣлъ на толпу, между тѣмъ какъ молоденькій предводительскій лакей курилъ окурокъ сигары, отворачиваясь каждый разъ выпускать дымъ въ уголъ, изъ опасенія, чтобъ не замѣтили господя. Посреди этой толпы флегматически расхаживалъ, опустивъ голову и хвостъ, черный вододазъ князя и пугалъ бабъ и дѣвокъ.

— Ой, дѣвоньки! глянь-ко, собачища-то какая!— говорили онѣ, прижимаясь другъ къ другу.

Князь, выйдя на террасу, поклонился всему народу и сказалъ что-то глазами княжнѣ. Она скрылась и, чрезъ нѣсколько минутъ, вышла на красный дворъ, ведя маленькаго брата за руку. За ней шли два лакея съ огромными подносами, на которыхъ лежала цѣлая гора пряниковъ и куски лентъ и позументовъ. Сильфидой показалась княжна Калиновичу, когда она стала мелькать въ толпѣ, и, раздавая бабамъ и дѣвкамъ пряники и ленты, говорила:

— Вотъ вамъ, миленькія, возьмите.

Нельзя сказать, чтобъ все это принималось съ особымъ удовольствіемъ или съ жадностью; дѣвки, неторопливо беря, конфузились и краснѣли, а женщины смѣялись. Нѣкоторыя даже говорили:

— Что это, матушка-барышня, безпокоите себя понапрасну? Не за этимъ, сударыня, ходимъ.

И только дѣвочка-сиротка, въ выбойчатомъ сарафанѣ и босикомъ, торопливо схватила пряники и сейчасъ же ихъ съѣла, а позументы стала разсматривать и ахать. Двѣ старухи остановили княжну: одна изъ нихъ погладила ея по плечу и, проговоря: «вся въ бабушку пошла!» — заплакала.

Другая непременно требовала, чтобъ маленький князекъ взялъ отъ нея красненькое яичко. Тотъ не бралъ, но княжна разрѣшила ему и подала за это старухѣ нѣсколько горстей пряниковъ. Та ухватила своей костлявою и загорѣлою рукою кончики бѣленькихъ ея пальчиковъ и начала цѣловать. Сильно страдало при этомъ чувство брезгливости въ княжнѣ, но она перенесла.

— Багыщенка, гдай миѣ генточку! — кричалъ дуракъ изъ Спиридонова, съ скривленною на бокъ головою и съ вывернутою назадъ ступнею.

Княжна рѣшительно ужъ не могла его видѣть. Бросивъ ему цѣлую связку лентъ, она проворно отошла отъ него.

— Генточки, генточки! — кричалъ дуракъ, хлопая въ ладоши и прыгая на одной ногѣ.

Стоявшіе около него мальчишки съ разинутыми ртами смотрѣли на ленты и позументы въ его рукахъ.

Раздавъ всѣ подарки, княжна вбѣжала по лѣстницѣ на террасу, подошла къ отцу и поцѣловала его, вѣроятно, за то, что онъ далъ ей случай сдѣлать столько добра. Вслѣдъ за тѣмъ были выставлены на столы три ведра вина, нѣсколько ушатовъ пива, принесено огромное количество пироговъ. Подносить вино вышелъ камердинеръ князя, во фракѣ и бѣломъ жилетѣ. Облокотившись одною рукою на столъ, онъ обратился къ ближайшей толпѣ:

— Эй, вы! что-жь стоите! подходите!

Мужики переглядывались и не рѣшались, кому начать.

— Что-жь? подходите! — повторилъ дворецкій.

Изъ толпы, наконецъ, вышелъ сухощавый, сгорбленный старикъ, въ широкомъ решменскомъ кафтанѣ, низко подпоясанный и съ отвислой пазухой. Это былъ одинъ изъ самыхъ свупыхъ и заправныхъ мужиковъ князя, большой охотникъ выпить на чужой счетъ, а на свой — никогда. Порѣшивъ съ водкой, онъ подошелъ къ пиву, взялъ обѣими руками налитую ендову, облугъ пѣну и пилъ до тѣхъ поръ,

пока посиывлъ, потомъ захватилъ середки двѣ пирога и, молча, не поднимая головы, поклонился и ушелъ. Ободренные его примѣромъ, стали выходить и другіе мужики. Изъ числа ихъ обратилъ только на себя нѣкоторое вниманіе священниковъ работникъ — шершавый, плечистый малый, съ совершенно плоскимъ лицомъ, въ понявѣ и лаптяхъ, царень работающій, но не изъ умныхъ, такъ что счету даже не зналъ. Какъ вышелъ онъ изъ толпы, такъ всѣ и засмѣялись: онъ тоже засмѣялся и, выпивъ водки, поворотилъ было назадъ.

— А пива? — сказала ему дворецкій.

Царень воротился, выпилъ, не переводя духа, какъ небольшой стаканъ, цѣлую ендову. Въ толпѣ опять засмѣялись. Онъ тоже засмѣялся, махнулъ рукой и скрылся. Послѣ мужиковъ слѣдовала очередь бабъ. Никто не выходилъ.

— Подходите! — повторялъ нѣсколько разъ дворецкій.

— Палагея, матва, подходи; что стоишь? — раздалось наконецъ въ толпѣ.

— Ой, нѣтъ, матонья! другой годъ ужъ не пью, — отвѣчала Пелагея.

— Полно-ка, полно, не пью, скрытный челоувѣкъ! — проговорила густымъ басомъ высокая, съ строгимъ выраженіемъ въ лицѣ, женщина, и вышла первая. Выпивъ, она поклонилась дворецкому.

— Князю надобно кланяться, — замѣтилъ тотъ.

— Ну, батюшка, дуры, въдь, мы: не знаемъ. Извини насъ на томъ, — отвѣчала баба и отошла.

Потомъ опять стали посылать Пелагею. Она не шла.

— Да что найдешь, модница?... Чего не смѣешь?.. О! на-те-ка вамъ ее! — сказала лѣтъ тридцати пяти, развеселая, должно быть, бабенка, и выпихнула Пелагею.

— Ой, согрѣшила! что это за бабы баловницы! — проговорила Пелагея; впрочемъ, подошла къ столу и, отпивъ изъ поднесеннаго ей стакана половину, заморшилась и хотѣла возвратить его.

— Что-жь, допивайте! — сказалъ ей дворецкій.

— Ой, судырь, не осилишь, пожалуй! — отвѣчала Пелагея, однако осилила и, сверхъ этого, еще выпила огромный ковшъ пива.

За Пелагеей вышла веселая бабенка. Она залпомъхватила стаканъ водки и тутъ же подозрительно переглянулась съ молодымъ княжескимъ поваренкомъ.

Къ водкѣ нашлась только еще одна охотница, полуслѣпая старушенка, гладившая бняжну по плечу. Ее подвела другая челоуѣколюбивая баба.

— Поднеси, батюшка, баушкѣ-то: пьетъ еще, старая, — сказала она дворецкому.

Тотъ подаль. Старуха высосала водку съ большимъ удовольствіемъ, и когда ей въ дрожащую руку всунули середку пирога, она стала креститься и бормотать молитву.

Послѣ нея стали подходить только къ пиву, которому за то и давали себя знать: иная баба была и росту не болѣе двухъ аршинъ, а выпивала почти осьмушку ведра.

Забродившій слегка въ головахъ хмѣль развернулъ чувство удовольствія. Толпа одушевилась: говоръ и пѣсни слышались въ разныхъ мѣстахъ.

Составился хороводъ, и въ срединѣ его начала выхаживать, помахивая платочкомъ и постукивая босовиками, веселая бабенка, а передъ ней принялся откалывать въ-присядку, какъ-будто жалованье за то получалъ, княжескій поваренокъ.

Гораздо подалѣе, почти у самыхъ сараевъ, собралось нѣсколько мужиковъ и запѣли хоромъ. Всѣхъ ихъ покрылъ запѣвало, который залился такимъ высокимъ и чистѣйшимъ подголоскомъ, что даже сидѣвшіе на террасѣ господа стали прислушиваться.

— C'est charmant, — проговорилъ князь, обращаясь къ толстяку.

— Oui, — отвѣчалъ тотъ.

— Интересно знать, кто это такой? — сказалъ князь, вслушиваясь еще внимательнѣе.

— Это мой кучеръ, ваше сіятельство, — сказалъ, вскакивая, становой приставъ.

— Прекрасно, прекрасно! — проговорилъ князь.

Становой самодовольно улыбнулся.

— Больше за голосъ и держу, ваше сіятельство; нѣмецъ по фамиліи, а люблю русскія пѣсни, — проговорилъ онъ.

— Прекрасно, прекрасно! — повторилъ князь: — только надобно бы его сюда поближе, — отнесся онъ въ Четверикову.

— Oui! — отвѣчалъ тотъ.

— Сейчасъ, ваше сіятельство, — подхватилъ становой и убѣжалъ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ подвелъ запѣвалу въ террасъ. По желанію всѣхъ, тотъ запѣлъ *лучинушку*. Вся задушевная тоска этой пѣсни такъ и

послышалась и почуялась въ каждомъ переливѣ его голоса.

Княгиня, княжна и Полина уставили на пѣвца свои лорнеты. М-г де-Гранъ вставилъ въ глазъ стеклышко: всѣмъ хотѣлось видѣть, каковъ онъ собой. Оказалось, что это былъ бѣлокурый парень съ большими голубыми глазами, но и только.

— Какое прекрасное лицо! — отнеслась Полина къ Калиновичу.

— Да, — едва нашелся тотъ отвѣчать.

Его занимало въ эти минуты совершенно другое: княжна стояла къ нему бокомъ, и онъ, желая испытать силу воли своей надъ ней, магнитизировалъ ее глазами, усиленно сосредоточиваясь на одномъ желаніи, чтобъ она взглянула на него: и княжна, дѣйствительно, вдругъ, какъ бы невольно, повертывала головку и, приподнявъ опущенныя рѣсницы, взглядывала въ его сторону, потомъ слегка улыбалась и снова отворачивалась. Это повторялось нѣсколько разъ.

Когда пѣвецъ кончилъ, княгиня первая захлопала ему потихоньку, а за ней и всѣ прочіе. Толстякъ, сверхъ того, бросилъ ему десять рублей серебромъ, князь тоже десять, предводитель — три, и такъ далѣе. Малый и не понималъ, что это такое дѣлается.

— Подбирай деньги-то! Что, дуракъ, смотришь? — шепнулъ ему стоявшій около становой.

— Понравилось, видно, вамъ? — отнесся инвалидный начальникъ къ почтмейстеру, который съ глубокимъ вниманіемъ и зажавъ глаза слушалъ пѣвца.

— Пѣніе душевное... — отвѣчалъ тотъ.

— То-то пѣніе душевное; дали бы ему что-нибудь! — подхватилъ инвалидный начальникъ, подмигнувъ судьѣ.

Почтмейстеръ, вмѣсто отвѣта, поднялъ только черезъ крышу глаза на небо и проговорилъ: «О, Господи помилуй, Господи помилуй!»

Музыканты генеральши въ это время подали въ залъ сигналъ къ танцамъ, и все общество возвратилось въ комнаты. Князь, Четвериковъ и предводитель составили въ гостиной довольно-серьезную партію въ преферансъ, а судья, исправникъ и винный приставъ въ дешевенькую.

Калиновичъ подошелъ было ангажировать княжну, но Кадниковъ предупредилъ его.

— Я ангажирована, м-г Калиновичъ, — отвѣчала она какимъ-то печальнымъ голосомъ.

Калиновичъ изъявилъ поклономъ сожалѣніе и просилъ ее, по крайней мѣрѣ, на вторую кадрили.

— Непремѣнно... очень рада... а то мой кавалеръ такой ужасный! — отвѣчала княжна.

Калиновичъ еще разъ поклонился, отошелъ и пригласилъ Полину. Та подала ему съ чувствомъ руку. Визави ихъ былъ м-г ле-Гранъ, который танцевалъ съ хорошенькой стряпчихой. Несмотря на счастливое ея положеніе, она заинтересовала француза до-нельзя: онъ съ самаго утра за ней ухаживалъ и безпрестанно смѣшилъ ее, хоть та ни слова не говорила по-французски, а онъ очень плохо говорилъ по-русски, и какъ ужъ они понимали другъ друга — неизвѣстно.

Инвалидный начальникъ, хотя ужъ имѣлъ усы

и голову сѣдые и лицо сплошь покрытое морщинами, но, вѣроятно, потому, что былъ военный и носилъ еще поручичьи эполеты, тоже изъявилъ желаніе танцовать. Онъ избралъ себѣ дамою дочь исправника и сталъ визави съ Кадниковымъ.

Чтобъ кадрили была полнѣе и чтобъ всѣ гости были заняты, княгиня подозвала къ себѣ стряпчаго и потихоньку попросила его пригласить исправницу, которая, въ самомъ дѣлѣ, начала ужь обижаться, что ею вообще мало занимаются. Противъ нихъ поставленъ былъ маленькій князекъ съ мистриссъ Нетльбетъ, которая чопорно и съ важностью начала выдѣлывать *chassé en avant* и *chassé en arrière*.

За кадрилию слѣдовалъ вальсъ. Калиновичъ не утерпѣлъ и пригласилъ княжну: та пошла съ удовольствіемъ. Онъ почувствовалъ наконецъ на рукѣ своей ея станъ, чувствовалъ, какъ ея ручка крѣпко держалась за его руку; онъ видѣлъ почти передъ глазами ея бѣлую, какъ морская пѣна, грудь, впитывалъ аромать волосъ ея, и пришелъ въ какое-то опьянѣніе. Напрасно княжна, послѣ двухъ туровъ, проговорила: «будетъ», онъ понесся съ ней и сдѣлалъ еще туръ, два, три. «Будетъ», сказала она болѣе настоятельно. Калиновичъ наконецъ опомнился, и опустивъ ее на стулъ, сѣлъ рядомъ. Княжна очень устала: глаза ея сдѣлались томны, грудь высоко поднималась; ручкой своей она поправляла разбившіеся виски волосъ. Калиновичъ пожиралъ ее глазами. Начавшаяся вскорѣ кадрили заставила ихъ снова встать.

— Что вы теперь сочиняете? — заговорила княжна.

Вопросъ *этотъ* сначала озадачилъ Калиновича; но, сообразивъ, онъ рѣшился имъ воспользоваться.

— Я описываю, — началъ онъ, — одно семейство... богатое, которое живетъ, положимъ, въ Москвѣ, и въ которомъ есть, между прочимъ, дочь — дѣвушка умная и, какъ говорится, съ душой, но свѣтская.

Княжна слушала.

— Дѣвушка эта, — продолжалъ Калиновичъ, — имѣла несчастье внушить любовь человѣку, вполне, какъ сама она понимала, достойному, но не стоявшему породой на одной съ ней степени. Она знала, что эта страсть составляетъ для него всю жизнь, что онъ чахнетъ и что достаточно одной ничтожной ласки съ ея стороны, чтобъ *этотъ* человѣкъ ожилъ.

Вниманіе княжны возрастало.

— Она все это знала, — продолжалъ Калиновичъ, — и у ней доставало духу — съ своими свѣтскими друзьями смѣяться надъ подобною страстью.

— Надъ чѣмъ же тутъ смѣяться? Стало быть, онъ не нравился ей? — возразила княжна.

Калиновичъ пожалъ плечами.

— Даже и нравился, — отвѣчалъ онъ, — но это выходило изъ правилъ свѣта. Выйти за какого-нибудь идіота-богача, *продать себя* — тамъ не смѣшно и не безобразно въ нравственномъ отношеніи, потому что *принято*; но человѣка безъ состоянія свѣтская дѣвушка полюбить *не можетъ*.

— Отчего-жь не можетъ? — перебила стремительно княжна: — одна моя кузина, очень богатая дѣвушка, вышла, *противъ воли матери*, за одного

кавалергарда. У него ничего не было; только онъ былъ очень хорошъ собой и чудо какъ уменъ.

— За кавалергарда же, — повторилъ Калиновичъ.

Онъ съ умысломъ говорилъ противъ свѣтскихъ дѣвушекъ, чтобъ заставить княжну сказать, что она не похожа на нихъ, и, какъ показалось ему, она это самое и хотѣла сказать своими возраженіями и замѣчаніями, тѣмъ болѣе, что потомъ княжна задумалась на нѣсколько минутъ и, какъ бы не вдругъ рѣшившись, проговорила полушепотомъ:

— Танцуйте, пожалуйста, со мной мазурку.

Калиновичъ вспыхнулъ отъ удовольствія.

— Я только хотѣлъ васъ просить объ этомъ, — подхватилъ онъ.

— Пожалуйста, — повторила княжна.

Впродолженіе всего этого разговора, съ нихъ не спускала глазъ нетанцовавшая и сидѣвшая невдалекѣ Полина. Еще на террасѣ она замѣтила взгляды Калиновича на княжну; но теперь, еще болѣе убѣдившись въ своемъ подозрѣніи, перешла незамѣтно въ гостиную, сѣла около князя, и когда тотъ къ ней обернулся, шепнула ему что-то на ухо.

— Pardon, на одну минуту, — проговорилъ князь, вставая, и тотчасъ же ушелъ съ Полиной въ заднія комнаты. Назадъ онъ возвратился черезъ залу. Калиновичъ танцевалъ съ княжной въ шестой фигурѣ галопъ и, кончивъ, отпустилъ ее довольно медленно, пожавъ ей слегка руку. Она взглянула на него и покраснѣла.

Все это врядъ ли увернулось отъ глазъ князя. Проходя, будто случайно, мимо дочери, онъ сказалъ ей что-то по-англійски. Та вспыхнула и скрылась; князь тоже скрылся. Княжна, впрочемъ, скоро возвратилась и сѣла около матери. Лицо ея горѣло.

Калиновичъ, нехотя танцовавшій всѣ остальные кадрили и почти ни слова не говорившій съ своими дамами, ожидалъ только мазурки, передъ началомъ которой подошелъ къ княжнѣ, ходившей по залѣ подъ руку съ Полиной.

— Вѣроятно, мы съ вами будемъ начинать, — сказалъ онъ.

Княжна ничего ему не отвѣтила и обратилась къ Полинѣ:

— Вы танцуете?

— Да, танцую, — отвѣчала та съ усмѣшкой.

Княжна, какъ бы сконфуженная, пошла за Калиновичемъ и сѣла на свое мѣсто. Напрасно онъ старался вызвать ее на разговоръ, — она или отмалчивалась, или отвѣчала *да* или *нѣтъ*, и очень была, повидимому, рада, когда другіе кавалеры приглашали ее участвовать въ фигурѣ.

— Смыслъ повѣсти моей повторяется въ жизни на каждомъ, видно, шагу, — проговорилъ наконецъ Калиновичъ, начинавшій окончательно выходить изъ себя; но княжна какъ-будто не слыхала его.

Между тѣмъ игроки вышли въ залу. Князь началъ осматривать танцующихъ въ лорнетъ. Четвериковъ стоялъ рядомъ съ нимъ.

Княжна почти каждый разъ стала выбирать его, непременно заставляя танцовать. Четвериковъ выходилъ и слегка подпрыгивая, дѣлалъ съ ней туръ,

а потомъ расшаркивался и она присѣдала и благодарила его самой любезной улыбкой. Ревность, досада и злоба забушевали въ душѣ Калиновича. Онъ рѣшился, по крайней мѣрѣ, наговорить дераостей княжнѣ, но ему и этого не удалось: при концѣ мазурки она только издали кивнула ему головой, взяла потомъ Полину подъ руку и ушла. Вскорѣ затѣмъ послѣдовалъ ужинъ, и все почти гости остались ночевать.

Въ распредѣленіи постелей обнаружился со стороны хозяевъ тотъ же тонкій расчетъ. Четверикову и предводителю отведено было по особой комнатѣ; каждому поставлены были фарфоровые умывальники, и на постеляхъ положено голландское бѣлье и новыя матерчатыя одѣяла. Въ одной большой комнатѣ предназначалось положить судью, исправника, почтмейстера и Калиновича. Здѣсь ужь были одѣяла, хоть и шелковыя, но поношенныя, и умывальники фаянсовые. Комната рядомъ была отведена для виннаго пристава, инвалиднаго начальника и молодаго Кадникова. Тутъ ужь не было даже отдѣльныхъ кроватей, а просто постлано на диванахъ съ довольно жесткими подушками и ситцевыми покрывалами.

Калиновичъ, измученный и истерзанный ощущеніями дня, сошелъ внизъ первый, раздѣлся и легъ съ тѣмъ, чтобы заснуть, по крайней мѣрѣ, поскорѣй; но оказалось это невозможнымъ: вслѣдъ за нимъ явился почтмейстеръ и началъ укладываться. Снявъ верхнее платье, онъ долго рылся на груди, откуда вынулъ финифтяный образокъ, повѣсилъ его на усмотрѣнный вверху гвоздикъ и началъ молиться, шевеля тихонько губами и восклицая по временамъ:

«Господи помилуй, Господи помилуй!» После молитвы старикъ принялся неторопливо стаскивать съ себя фуфайки, которыхъ оказалось нѣсколько и которыя онъ аккуратно складывалъ и клалъ на ближайшій стулъ; потомъ принялся перевязывать фантанели, съ которыми возился около четверти часа, и наконецъ уже, вытребовавъ себѣ, вмѣсто одѣяла, простыню, покрылся ею, какъ саваномъ, до самаго подбородка, и, вытянувшись во весь свой длинный ростъ, закрылъ глаза.

Калиновичу возвратилась было надежда заснуть, но снова вошли судья и исправникъ, которые, въ свою очередь, переодѣвшись въ шелковые, сшитые изъ старыхъ жениныхъ платьевъ халаты и въ спальные, зеленого сафьяна, сапоги, усѣлись на свою кровать и начали кашлять и вряхтѣть. Вдобавокъ, къ нимъ пришелъ еще изъ своей комнаты инвалидный начальникъ, постившійся съ утра и теперь курившій залпомъ четвертую трубку. Его сопровождалъ молодой Кадниковъ, неотступно прося поручика дать ему хотя разикъ затынуться. Видимо, что всеми имъ, стѣсненнымъ цѣлый день приличіемъ и моднымъ тономъ, хотѣлось поболтать на свободѣ.

— Темненьки, однако, стали ночи-то! — проговорилъ судья, взглянувъ въ окно.

— Да, — отозвался исправникъ, — ворамъ да мошенникамъ раздолье: воруй, а земская полиція отвѣчай за нихъ.

— Какая вы земская полиція! что ужъ тутъ говорить! — перебилъ его инвалидный поручикъ, мотнувъ головой: — только званье на себѣ носите: полиція тоже!

— Что-жь полиція? Такая же полиція, какъ и всякая, — проговорилъ кротко исправникъ.

— Нѣтъ, не такая, какъ всякая, — возразилъ поручикъ: — вотъ въ Москвѣ былъ оберъ-полиціймейстеръ Шульгинъ; вотъ тотъ былъ настоящій полиціймейстеръ: у того была полиція.

— Да, тотъ ловкій былъ, — замѣтилъ судья.

— Еще какой ловкій-то, братецъ ты мой! — подхватилъ поручикъ: — и тутъ, сударь ты мой, московскіе мошенники надували! — прибавилъ онъ.

Судья только усмѣхнулся.

— Да!... — произнесъ онъ.

— Вотъ и ловкаго надували! — замѣтилъ съ нѣкоторою ядовитостью исправникъ.

— Да вѣдь какую штуку-то, братецъ ты мой, подвели, штуку-то какую... — продолжалъ поручикъ: — на парадъ ли тамъ, али при соборномъ служеніи, только глядь: у него у шубы рукавъ отрѣзанъ. Онъ ничего, стерпѣлъ это... Только однимъ утромъ, а, можетъ быть, и вечеромъ, пріѣзжаетъ къ его камердинеру квартальный: «генераль, говоритъ, прислалъ сейчасъ найденный черезъ полицію шубный рукавъ и приказалъ мнѣ посмотреть, отъ той ли ихней самой шубы, али отъ другой...» Камердинеръ слышитъ приказаніе господское — ослушаться, значитъ, не смѣлъ: подалъ и преспокойнымъ манеромъ отправился стулья тамъ, что ли, передвигать, али тарелки перетирать; только глядь: ни квартального, ни шубы нѣтъ. «Ахъ, говоритъ, соррѣшилъ!» а Шульгинъ между тѣмъ пріѣзжаетъ. Онъ ему въ ноги: «батюшка, ваше превосходительство...» — «Ни-

чего, говорить, братецъ; ты глупъ, да и я не умнѣй тебя. Я ужь, говорить, и записку получилъ», и показываетъ. Пишутъ ему: «благодаримъ покорно, ваше превосходительство, что вы къ нашему рукаву вашу шубу приставили», и больше ничего.

Судья опять улыбулся и покачалъ головой.

— Шельма народъ! — произнесъ онъ.

— Шельма! — подтвердилъ самодовольно рассказчикъ.

Калиновичъ между тѣмъ выходилъ изъ себя, проклиная эту отвратительную помѣщичью склонность — рассказывать другъ другу во всякій часъ дня и ночи пошлѣйшіе анекдоты о какихъ-нибудь мошенникахъ; но терпѣнію его угрожало еще продолжительное испытаніе: молодой Кадниковъ тоже воспалился желаніемъ рассказать кое-что.

— Вотъ тоже на Лукина разъ мошенники напали... — началъ было онъ.

— Лукинъ былъ силачъ, — перебилъ его инвалидный начальникъ, гораздо болѣе любившій самъ рассказывать, чѣмъ слушать.—Когда онъ былъ, сударь ты мой, на кораблѣ своемъ въ Англіи, — началъ онъ... Что дѣлалъ Лукинъ на кораблѣ въ Англіи — всѣ слушатели очень хорошо знали, но поручикъ не стѣснялся этимъ и продолжалъ: — выискался тамъ одинъ господинъ, тоже силачъ, и дѣлаетъ такое объявленіе: «сяду-де я, милостивые государи, на желѣзное кресло, и пускай, кто хочетъ, бьетъ меня по щекъ. Если я упаду — сто рублей плачу, а нѣтъ, такъ мнѣ вдвое того; и набралъ онъ такимъ манеромъ много денегъ. Только проходитъ разъ мимо этого мѣста Лукинъ, спрашиваетъ: что это такое?»

Ему говорятъ. «Ахъ, мусье, тебя-то мнѣ и надо!» Подходить сейчасъ къ нему. «Держитесь, говорятъ, покрѣпче: я Лукинъ.» Ну, тотъ слыхаль ужъ тоже, однако честь свою не теряетъ. «Ничего-съ, говорятъ: я самъ тоже такой-то». — «Ладно», — говоритъ Лукинъ, засучилъ, знаете, немного рукава, перекрестился по-нашему, по-христіанскому, да какъ свиснетъ... Батюшки мои, и баринъ нашъ, и кресла, и подмости — все въ чорту вверхъ тармашки полетѣло. Мало того, слышать, баринъ вричатъ благимъ матомъ. Что такое? Подходятъ: глядь — вся челюсть на сторону сворочена. «Ничего», говоритъ Лукинъ, взялъ его, сердечнаго, опять за шиворотъ, трахъ его по другой сторонѣ, сразу поправилъ. «Ну, говорятъ, денегъ твоихъ мнѣ не надо, только помни меня». — «Буду, говорятъ, помнить...»

— Это, значить, все-таки у Лукина сила въ рукахъ была, — подхватилъ Кадниковъ. Не имѣя удачи разсказать что-нибудь о мошенникахъ или силачахъ, онъ рѣшился, по крайней мѣрѣ, похвастаться своею собственной силой и прибавилъ:—я вотъ тоже стулъ за переднюю ножку поднимаю.

— Ну, да вѣдь это какой тоже стулъ? Вотъ этакій не поднимете, — возразилъ ему инвалидный начальникъ, указавъ глазами на довольно-тяжелое кресло.

— Нѣтъ, подниму, — отвѣчалъ Кадниковъ и, взявъ кресло за ножку, напругся, сколько силы достало, покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и приподнялъ, но не сдержалъ: кресло покачнулось такъ, что онъ едва остановилъ его, уперевъ въ стѣну надъ самой почти головой Калиновича.

Тотъ вышелъ окончательно изъ терпѣнья.

— Что-жь это такое, господа? когда будетъ конецъ? — воскликнулъ онъ.

— А мы думали, что вы давно спите, — сказалъ инвалидный начальникъ.

— Развѣ есть возможность спать, когда тутъ разсказываютъ какой-то вздоръ о мошенникахъ и летаютъ стулья надъ головой? — проговорилъ Калиновичъ и повернулся къ стѣнѣ.

Строгій и насмѣшливый тонъ его нарушилъ одушевленіе бесѣды.

— Въ самомъ дѣлѣ, господа, пора на покой, — сказалъ судья.

— Пора, — повторилъ исправникъ, и всѣ разошлись.

Калиновичъ вздохнулъ свободнѣе, но заснуть все-таки не могъ. Все время лежавшій съ закрытыми глазами почтмейстеръ сначала принялся болѣзненно стонать, потомъ бредить, произнося: «пришелъ... пришелъ... пришелъ!...» и наконецъ вдругъ вскрикнуть: «пришелъ!» проснулся, вѣроятно, и проговоря: «о, Господи помилуй!» затихъ на-время. Исправникъ и судья тоже стали похрапывать, негромко, но зато постоянно и какъ бы соревнуя другъ другу.

VI.

На другой день, какъ обыкновенно это бываетъ на церемонныхъ деревенскихъ праздникахъ, гостямъ сдѣлалось неимоверно скучно и желалось только одного: какъ бы поскорѣе уѣхать. Хозяева, въ свою

очередь, тоже унимали больше изъ приличія. Такимъ образомъ, вся мелюзга уѣхала тотчасъ послѣ завтрака, и обѣдать остались только генеральша съ дочерью, Четвериковъ и предводитель. Цѣлое утро Калиновичъ искалъ случая поймать княжну и прямо спросить ее: что значитъ эта перемѣна; но его рѣшительно не замѣчали. Полина обращалась съ нимъ какъ-то насмѣшливо. Взбѣшенный всѣмъ этимъ и не зная, наконецъ, что съ собой дѣлать, онъ ушелъ было послѣ обѣда, когда всѣ разѣхались, въ свою комнату и рѣшился, по крайней мѣрѣ, лечь спать; но отъ князя явился человѣкъ съ приглашеніемъ: не хочетъ ли онъ прогуляться? Калиновичъ пошелъ. Князь ожидалъ его ужъ на крыльцѣ.

Сначала они вышли въ ржаное поле, миновавъ которое, прошли луга, прошли потомъ и перелѣсокъ, такъ что отъ усадьбы очутились верстахъ въ трехъ. Сверхъ обыкновенія, князь былъ молчаливъ и только повременамъ показывалъ на какой-нибудь открывавшійся видъ и хвалилъ его. Калиновичъ соглашался съ нимъ, думая, впрочемъ, совершенно о другомъ и почти не видя никакого вида. Перейдя черезъ одинъ овражекъ, князь вдругъ остановился, подумалъ немного и обратился въ Калиновичу:

— А что, Яковъ Васильичъ,— началъ онъ:— мнѣ хотѣлось бы сдѣлать вамъ одинъ довольно, можетъ быть, нескромный вопросъ.

Калиновичъ покраснѣлъ, и первая его мысль была: не догадался-ли князь о его чувствахъ къ княжнѣ.

— Если вопросъ нескроменъ, такъ лучше его совсѣмъ не дѣлать, — отвѣчалъ онъ полушутливымъ тономъ.

— Да, — подхватилъ протяжно князь: — но дѣло въ томъ, что меня подталкиваетъ сдѣлать его искреннее желаніе вамъ добра; я лучше рискую быть нескромнымъ, чѣмъ промолчать.

Калиновичъ ничего на это не отвѣчалъ.

— Именно рискую быть нескромнымъ, — продолжалъ князь, — потому что, еслибъ дѣтъ двадцать назадъ нашелся такой откровенный человѣкъ, который бы мнѣ высказалъ то, что я хочу теперь вамъ высказать... о! сколько бы онъ сдѣлалъ мнѣ добра, и какъ бы я ему остался благодаренъ на всю жизнь!

Калиновичъ продолжалъ молчать.

— Спросить я васъ хочу, мой милѣйшій Яковъ Васильичъ, — снова продолжалъ князь, — о томъ, дѣйствительно-ли справедливы слухи, что вы женитесь на m-lle Годневой?

Калиновичъ опять невольно сконфузился.

— Вопросъ, въ самомъ дѣлѣ, князь, не совсѣмъ скромный, — проговорилъ онъ.

— И вы не хотите мнѣ на него отвѣчать, не такъ-ли? да? — подхватилъ князь.

— Я не столько не хочу, — отвѣчалъ спокойно и, по-возможности, овладѣвъ собой, Калиновичъ, — сколько не могу, потому что, если эти слухи и существуютъ, то ни я, ни m-lle Годнева въ томъ не виноваты.

Князь посмотрѣлъ пристально на Калиновича:

онъ очень хорошо видѣлъ, что тотъ хочетъ отъигриваться словами.

— Гласъ народа — говорить пословица — гласъ Божій. Во всякой сплетнѣ есть всегда тѣнь правды, — началъ онъ. — Впрочемъ, не въ томъ дѣло. Скажите вы мнѣ... я васъ рѣшительно хочу сегодня допрашивать и надѣюсь, что вы этимъ не обидитесь.

— Чѣмъ же я, князь, могу обидѣться, когда это показываетъ только ваше участіе ко мнѣ? — возразилъ, пожавъ плечами, Калиновичъ.

— Именно участіе, и самое искреннее!... Скажите вы мнѣ вотъ что: имѣете вы состояніе, или нѣтъ?

— У меня ничего нѣтъ.

— Но, можетъ быть, вамъ угрожаетъ наследство отъ какой-нибудь бабушки, тетушки?..

— Все мое наследство въ моей головѣ, — отвѣчалъ Калиновичъ.

Князь усмѣхнулся.

— Наслѣдство, — началъ онъ съ разстановкою, — если хотите, очень хорошее, но для жизненныхъ ресурсовъ совершенно ужъ ненадежное: головные товары, *top cher*, куда какъ туго продаются!... Что, казалось-бы, слѣдовало обмѣнивать на вѣсь брилльянтовъ, то мы часто должны уступать за мѣдь съ примѣсью чугуна... Да, мой милый молодой человѣкъ, — продолжалъ князь, беря Калиновича за руку: — выслушайте вы, Бога ради, меня, старика, который васъ полюбилъ, признаетъ въ васъ умъ, образование, талантъ, — выслушайте нѣсколько моихъ задушевныхъ убѣжденій, которыя я купилъ цѣною горькаго, собственнаго опыта! Всѣ мы, обыкновенно,

въ молодости, очень легко смотримъ на бракъ, тогда какъ это самый важный шагъ въ жизни, потому что это единственный почти случай, гдѣ для чело-вѣка ошибка непоправима. Пошалили вы въ моло-дости, лѣниво и глупо провели пять-шесть лѣтъ; но... стоитъ опомниться, поработать годъ, два — и все поправлено. Проигрались въ пухъ въ карты, израсходовались на какую-нибудь любовь — ничего: одинокому, холостому чело-вѣку денежные раны не смертельны. Заняли вы должность, несоотвѣтствующую вамъ, ступайте въ отставку; потеряли, нако-нецъ, выгодную для васъ службу, — хлопочите и можете найти еще лучше... словомъ, всѣ почти ошибки, шалости, проступки — все можетъ быть поправлено, и одинъ только тяжелый, брачный баш-макъ съ ноги ужъ не сбросишь...

— Сентенція эта, князь, довольно стара, — замѣ-тилъ Калиновичъ.

— Если хотите, даже очень стара, — подхва-тилъ князь:—но, къ сожалѣнію, очень многими забы-вается, и что для меня всегда было удивительно: дураки, руководствуясь какимъ-то инстинктомъ, по-ступаютъ въ этомъ случаѣ гораздо благоразумнѣе, тогда какъ умные люди именно и дѣлаютъ самыя безразсудныя, самыя пагубныя для себя партіи. У меня теперь, Яковъ Васильичъ, у самого два сына, — продолжалъ князь, болѣе и болѣе одушевляясь:—и если они не бѣдняки совершенные, то и не богаты. И вотъ имъ мое отцовское правило: на богатой дѣ-вушкѣ и по любви должны жениться, хоть теперь же, не смотря на то, что оба еще прапорщики, потому что это своего рода шагъ въ жизни; на бо-

гатовой и безъ любви, если хотятъ, пускай женятся, но на бѣдной и по любви — никогда! Всея моея родительской властью не допущу до этого.

Калиновичъ улыбнулся.

— Правило ваше, князь, ужь потому несправедливо, что оно совершенно односторонне. Вы смотрите на бракъ рѣшительно съ одной только хозяйственной стороны.

— А какъ же прикажете смотрѣть? — возразилъ князь запальчиво. — Неужели, милостивый государь, прикажете принимать въ расчетъ эту вашу глубокую, безумную любовь? Mon cher! mon cher! вы человекъ умный: неужели вы не понимаете, что такое эта любовь всѣхъ васъ, молодыхъ людей? Ничуть не больше, какъ замаскированное стремленіе половъ, возбужденная и задержанная чувственность — никакъ не больше. И повѣрьте, бракъ есть могила этого рода любви: мужа и жену связываетъ болѣе прочное чувство — дружба, которая, честью моею завѣряю, гораздо скорѣе можетъ возникнуть между женившимися совершенно холодно, чѣмъ между страстными любовниками, потому что они, по-крайней-мѣрѣ, не падаютъ черезъ мѣсяць послѣ свадьбы съ неба на землю... Любовь!... Я не могу слышать равнодушно, когда этотъ вздоръ, фантомъ, порожденный разгоряченнымъ воображеніемъ, чувство, которое родится и пытается одними только препятствіями, берутъ въ основаніе такого важнаго дѣла, какъ бракъ. Будь у васъ, съ позволенія сказать, любовница, съ которой вы прожили двадцать лѣтъ вашей жизни, и вотъ вы, почти старикъ, говорите: «я на ней женюсь, потому что я ее люблю...» Молчу,

ни слова не могу сказать противъ!... Но какъ же вы хотите заставить меня вѣрить въ глубину и неизмѣнность любви какого-нибудь молодого человѣка въ двадцать пять лѣтъ и дѣвочки въ семнадцать, которые, расчувствовавшись надъ романами, поглядились другъ другу въ вѣчной страсти?

— Все это, князь, можетъ быть, очень справедливо, — возразилъ Калиновичъ:—но чрезвычайно обще и требуетъ слишкомъ многихъ исключеній. По вашему правилу, очень бы немногимъ пришлось жениться.

— Напротивъ, многимъ, перебилъ князь:—и даже очень многимъ разрѣшаю это удовольствіе. Пускай себѣ женятся и тѣшатся!.. Люди, мой милый, раздѣляются на два разряда: на человѣчество дюжинное, чернорабочее, которому самимъ Богомъ назначено родиться, вырасти и запречься потомъ съ тупымъ терпѣніемъ въ какую-нибудь узкую дѣятельность, — вотъ этимъ юношамъ я даже совѣтую жениться: они народятъ десятки такого же дюжиннаго человѣчества и, посредствомъ благодѣтелей, покровителей, взятокъ, вскормятъ и воспитаютъ эти десятки, въ чемъ состоитъ ихъ главная польза, которую они приносятъ обществу, все-таки нуждающемуся, по своимъ экономическимъ цѣлямъ, въ чернорабочихъ по всѣмъ сословіямъ. Но есть, *mon cher*, другой разрядъ людей, гораздо уже повыше; это... какъ бы назвать... забѣлка человѣчества: если не гени, то все-таки люди, отмѣченные какимъ-нибудь особеннымъ талантомъ, люди, которымъ, наконецъ, предназначено быть двигателями общества, а не сносливыми трутнями; и что я васъ отношу къ

этому именно разряду, въ томъ вы сами виноваты, потому что вы далеко ужъ выдвинулись изъ вашей среды: вы не школьный теперь смотритель, а литераторъ, слѣдовательно, человѣкъ, вызванный на очень серьезное и широкое поприще. Вамъ будетъ грѣхъ и стыдно какимъ-нибудь неблагоразумнымъ бракомъ спутать себя на первыхъ порахъ по рукамъ и по ногамъ.

— Я очень радъ, князь, что вы договорились до значенія литератора: оно-то, кажется, и даетъ мнѣ право располагать своимъ сердцемъ свободнѣе и не подчиняться безусловно вашимъ экономическимъ правиламъ.

— Mon cher!—воскликнулъ князь:—званіе-то литератора, повторяю еще разъ, и заставляетъ васъ быть осмотрительнымъ; званіе литератора, милостивый государь, обязываетъ васъ, чтобъ вы, ради будущей вашей славы, ради пользы, которую можете принести обществу, рѣшительно оставались холостякомъ или женились на богатой: послѣднее еще лучше.

— Я на это смотрю совершенно иначе, потому что все-таки вѣрю нѣкоторымъ образомъ въ себя и въ свои силы, — проговорилъ Калиновичъ.

— Вы смотрите на это глазами вашего услужливаго воображенія, а я сужу объ этомъ на основаніи моей пятидесятилѣтней опытности. Положимъ, что вы женитесь на той дѣвицѣ, о которой мы сейчасъ говорили. Она прекраснѣйшая дѣвушка, и изъ нея, вѣроятно, выйдетъ превосходная жена, которая васъ будетъ любить, сочувствовать всѣмъ вашимъ интересамъ; но вы не забывайте, что должны заниматься

литературой, и тутъ сейчасъ же возникнетъ вопросъ: гдѣ вы будете жить; здѣсь-ли, оставаясь смотрителемъ училища, или переѣдете въ столицу?

— Вы, князь, говорите, какъ-будто-бы ужь я былъ женатъ, — возразилъ усмѣхнувшись Калиновичъ.

— Ну да, — положимъ, что вы ужь женаты, — перебилъ князь: — и тогда гдѣ вы будете жить? — продолжалъ онъ: — конечно, здѣсь, по вашимъ средствамъ... но въ такомъ случаѣ, поздравляю васъ, теперь вы только еще, что называется, соскочили съ университетской сковородки: у васъ прекрасное направленіе, много мыслей, много свѣдѣній, но, много черезъ два-три года, вы все это растеряете, облѣнитесь, опешлѣете въ этой глуши, мой милый юноша — повѣрьте мнѣ, и потомъ вздумалось бы вамъ съѣздить, на примѣръ, въ Петербургъ, въ Москву, чтобъ освѣжить себя — и того вамъ сдѣлать будетъ не на что: всѣ деньжонки уйдутъ на родины, крестины, на мамокъ, на нянекъ, на то, чтобъ ваша жена явилась не хуже другой одѣтою, чтобъ квартирка была, хоть сколько-нибудь, прилично убрана. Семейная жизнь — омутъ, бездонная кадка для денегъ. Я наслѣдовалъ отъ отца, не такъ какъ вы, а все-таки состояніе, которое могло бы меня на службѣ поддержать, еслибъ я служилъ до генералиссимуса. Я былъ, наконецъ, любимецъ вельможи, имѣлъ въ перспективѣ попасть въ флигель-адъютанты, въ тридцать лѣтъ пристегнулъ бы, навѣрняка, генеральскія эполеты, и потому можете судить, до чего бы я дошелъ въ настоящемъ моемъ возрастѣ; но женился по страсти на дѣвушкѣ бѣдной, хоть и

прелестной, въ которой, кажется, соединены всѣ достоинства женскія, и сразу же долженъ былъ оставить Петербургъ, бросить всякаго рода служебную карьеру и на всю жизнь закабалиться въ деревнѣ.

— Вы, однако, князь, въ вашей семейной жизни не обзидѣли, а еще разбогатѣли, — замѣтилъ Калиновичъ.

Князь покачалъ головой.

— Разбогатѣлъ я!.. — сказалъ онъ: — а знаете ли, мой милый другъ, чего мнѣ это стоитъ? знаете ли, что я и мое образованіе, которое по тому времени, въ которомъ я начиналъ жить, было несомнѣнно заурядное, и мои способности, которыя тоже изъ ряда посредственныхъ выходили, и наконецъ самое здоровье — все это я долженъ былъ растратить въ себѣ и сдѣлаться прожектеромъ, аферистомъ, купцомъ, для того, чтобъ поддержать и воспитать семью, какъ прилично моему роду. А сколько нравственныхъ уступокъ! сколько дѣлъ противъ совѣсти! сколько униженія и расточенной лести передъ людьми, которыхъ бы знать никогда не хотѣлъ! И теперь, когда все, кажется, поустроилъ, такъ чувствую, что самъ ужь никуда не гожусь... Не завидуйте и не берите съ меня примѣръ; потому-то я и хочу предостеречь васъ, что знаю на себѣ всѣ тяжелыя и горькія послѣдствія подобной ошибки.

— Я не такъ избалованъ жизнью, князь, — возразилъ Калиновичъ: — и не такъ требователенъ: для меня будетъ достаточно, если я, переселясь въ Петербургъ, найду тамъ, хоть мало-мальски, безбѣдное существованіе.

— Даже безбѣдное существованіе вы врядъ ли тамъ найдете. Чтобъ жить въ Петербургъ семейному человѣку, надобно... возьмемъ самый минимумъ, меньше чего я уже вообразить не могу... надо, по крайней-мѣрѣ, двѣ тысячи рублей серебромъ, и то съ величайшими лишеніями, отказывая себѣ въ какой-нибудь рюмкѣ вина за столомъ, не говоря ужъ объ экипажѣ, о всякомъ развлеченіи; но все-таки помните — двѣ тысячи, и будемъ теперь разсчитывать ужъ по цифрамъ: сколько вы получили за вашъ первый и, надобно сказать, прекрасный романъ?

Калиновичъ смѣшался: ему стыдно было признаться, что онъ не получилъ еще ни копѣйки и только еще надѣялся получить.

— Я получилъ 500 рублей серебромъ, — проговорилъ онъ.

— А сколько такихъ романовъ вы можете написать въ годъ? — продолжалъ князь. — Одинъ... ну, два, никакъ ужъ не больше, — отвѣчалъ онъ самъ себѣ: — и это еще въ плодотворный годъ, а будутъ года хуже, и я хоть не поэтъ и не литераторъ, а очень хорошо понимаю, что изящною словесностью нельзя постоянно и одинаково заниматься: тутъ чловѣкъ владеть весь самого себя и, по преимуществу, сердце, а потому это дѣло очень капризное: надобно ждать известнаго настроенія души, вдохновенья, наконецъ, призванья!.. Это не ученый какой-нибудь трудъ или служебное занятіе, для котораго нужно только терпѣніе, чтобъ отправлять его каждодневно... Значить, изъ всего этого выходитъ, что въ хозяйствѣ у васъ, на первыхъ порахъ, окажется недочетъ, а семья, между тѣмъ, очень вѣроятно, будетъ увели-

чиваться съ каждымъ годомъ — и вотъ вамъ напередъ ваше будущее въ Петербургѣ: вы напишете, можетъ быть, еще нѣсколько повѣстей и поймете наконецъ, что все писать никакихъ человѣческихъ силъ не хватитъ, а деньги, между тѣмъ, все будутъ нужнѣй. Вы насилуете себя, торопитесь, печатаете, мараете свое пмя и потомъ изъ авторовъ переходите въ фельетонисты, переводчики... и тогда все пропало: загублено и ваше время, и вашъ талантъ, и даже ваше здоровье. Это я говорю, когда вы будете женаты. Впрочемъ, и холостой все равно: въ Петербургѣ у человѣка, въ какомъ бы онъ положеніи ни былъ, развивается шестое чувство: жажда денегъ... Сколько соблазна! Сколько роскоши кругомъ! Сколько самыхъ утонченныхъ удовольствій! и для всего этого будетъ у васъ единственный денежный источникъ — литературные труды. *Mon cher, mon cher!* — продолжалъ князь, покачавъ головою и ударяя себя въ грудь: — Пушкинъ былъ человѣкъ съ состояніемъ, получалъ по червонцу за стихъ, да и тотъ постоянно и непрерывно нуждался; а Полевой, такъ ужъ я лично это знаю, когда далъ ему 500 рублей взаймы, такъ онъ со слезами благодарилъ меня, потому что у него полтинника въ это время не было въ карманѣ. Такъ вотъ вамъ наша русская литература! Мы еще слишкомъ далеки отъ того, чтобъ чтеніе сдѣлалось общимъ достояніемъ. Сколько человѣкъ вы видѣли вчера у меня и для кого изъ нихъ необходимы книги? — ни для кого, кромѣ Четверикова. Даже вотъ этотъ господинъ, нашъ предводитель, человѣкъ неглупый и очень богатый, онъ, я думаю, на грошъ не купилъ никакой библіонки. Читаетъ

одну «Сѣверную Пчелу», да и ту беретъ у меня... Въ такой публикѣ литераторы не заживутъ!

— Все это, князь, я очень хорошо самъ знаю, и на одну литературу никогда не рассчитывалъ; но если переѣду въ Петербургъ, то буду искать тамъ мѣста, — проговорилъ Калиновичъ.

— Пожалуй... хорошо... — отвѣчалъ князь: — мѣсто вамъ дадутъ; но какое же по вашему чину? никакъ не больше канцелярскаго чиновника. Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ департаментѣ сдѣлаютъ васъ помощникомъ, а много ужь столоначальникомъ; но въ такомъ случаѣ проститесь съ литературою. После шести и семи часовъ департаментскихъ сидѣній, возвратившись домой, вы развѣ годны будете только на то, чтобъ отправиться въ театръ цохохотать надъ глупымъ водевилемъ, или пробраться къ знакомому поиграть въ кофѣчный преферансъ; а вздумаете соединить то и другое, такъ, пожалуй, выйдетъ еще хуже, по пословицѣ: за двумя зайцами погнавшись, не поймаетъ ни одного... Вотъ, любезный мой Яковъ Васильичъ, что я хотѣлъ и почти считалъ своей обязанностью сказать вамъ, и еще разъ повторю: обдумайте и оглядите внимательно ваше положеніе.

— Очень вамъ благодаренъ, князь, — возразилъ Калиновичъ: — но изъ вашихъ словъ можно вывести странное заключеніе, что литература должна составить мое несчастіе, а не успѣхъ въ жизни.

— Почему-жь? Нѣтъ!.. — перебилъ князь и остановился на нѣсколько времени. — Тутъ, вотъ видите, — началъ онъ: — я опять долженъ сдѣлать оговорку, что

могу ли я съ вами говорить откровенно, какъ говорилъ-бы откровенно съ своимъ собственнымъ сыномъ?

— Достаточно вашего участія, князь, чтобъ вы имѣли полное право говорить мнѣ не только откровенно, но даже самую горькую правду, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Да; но тутъ не то, — перебилъ князь: — тутъ, можетъ быть, мнѣ придется говорить о нѣкоторыхъ лицахъ и говорить такія вещи, которыя я желалъ бы, чтобъ знали вы да я, и въ случаѣ, если мы не сойдемся въ нашихъ мнѣніяхъ, чтобъ этотъ разговоръ рѣшительно остался между нами.

Калиновичъ посмотрѣлъ на князя, все еще не догадываясь, къ чему онъ клонитъ разговоръ.

— Я всегда былъ довольно скромнъ... — проговорилъ онъ.

— Очень вѣрю, — подхватилъ князь: — и потому рискую говорить съ вами, совершенно на-распашку, о предметѣ довольно щекотливомъ. Давеча я говорилъ, что бѣдному молодому человѣку жениться на богатой, фундаментально-богатой дѣвушкѣ, не бывъ даже влюблену въ нее, можно, или, лучше сказать, должно.

Послѣднія слова князь говорилъ протяжно и остановился, какъ бы ожидая, не скажетъ ли чего-нибудь Калиновичъ; но тотъ молчалъ и смотрѣлъ на него пристально и сурово, такъ что князь принужденъ былъ потупиться, но потомъ вдругъ взялъ его опять за руку и проговорилъ съ принужденною улыбкою:

— Вы теперь приняты въ домъ генеральши такъ радушно, съ такимъ вниманіемъ къ вамъ, по-крайней

мѣръ со стороны m-lle Полины, и потому... чтобы вамъ похлопотать тутъ — и, Боже мой! какая бы тогда для васъ и для вашего таланта открылась будущность! Тысяча душъ, батюшка, удивительно устроеннаго имѣнія, да денегъ, которымъ покуда еще счету никто не знаетъ. Тогда повзжайте, куда вы хотите: въ Петербургъ, въ Москву, въ Одессу, за границу... Пишите свободно, нестѣсненные никакими другими занятіями, въ какомъ угодно климатѣ, гдѣ только благопріятнѣй для вашего вдохновенія...

Калиновичъ былъ озадаченъ; выраженіе лица его сдѣлалось еще мрачнѣе; онъ никакъ не ожидалъ подобной откровенной выходки со стороны князя, и нѣсколько времени молчалъ, какъ бы собираясь съ мыслями, что ему отвѣчать.

— Ваше предложеніе, князь, для меня даже нѣсколько обидно, потому что оно сильно отзывается насмѣшкою, — проговорилъ онъ глухимъ голосомъ.

— Насмѣшкой? — спросилъ удивленный князь.

— Насмѣшкой, — повторилъ Калиновичъ: — потому что, еслибъ я желалъ избрать подобный путь для своей будущности, то все-таки это было бы гораздо болѣе несбыточный замыселъ, чѣмъ мои надежды на литературу, которыя вы старались такъ ловко разбить со всѣхъ сторонъ.

— Будто это такъ? — возразилъ князь: — будто вы, въ самомъ дѣлѣ, такъ думаете, какъ говорите, и никогда сами не замѣчали, что мое предположеніе имѣетъ много вѣроятности?

— Я никогда ничего не думалъ объ этомъ и никогда ничего не замѣчалъ, — отвѣчалъ сухо Калиновичъ.

Князь покачалъ головой.

— Полноте, молодой человекъ!— началъ онъ:— вы слишкомъ умны и слишкомъ прозорливы, чтобъ сразу не понять тѣ отношенія, въ какія съ вами становятся люди. Впрочемъ, если вы, по какимъ-либо важнымъ для васъ причинамъ, желали не видѣть и не замѣчать этого, въ такомъ случаѣ лучше прекратить нашъ разговоръ, который ни къ чему не поведетъ, а изъ меня сдѣлаетъ болтуна.

Проговоря это, князь замолчалъ; Калиновичъ тоже ничего не возразилъ, и оба они дошли молча до усадьбы.

VII.

Результатомъ предыдущаго разговора было то, что князь, не смотря на все свое стараніе, никакъ не могъ сохранить съ Калиновичемъ, попрежнему, ласковое и любезное обращеніе: какая-то холодность и полувнимательная важность начала проглядывать въ каждомъ его словѣ. Тотъ сейчасъ же это замѣтилъ, и на другой день за чаемъ просилъ проводить его.

— А я думалъ, что вы еще у насъ погостите,— проговорилъ князь и переглянулся съ княжной.

— Нѣтъ, мнѣ нужно быть въ городѣ,— отвѣчалъ Калиновичъ.

— Жаль; но удерживать не смѣемъ. Когда же вы, однако, думаете выѣхать?

— Я просилъ бы сегодня же.

— Зачѣмъ же сегодня?— возразилъ князь, но та-

жимъ тономъ, что Калиновичъ еще настоятельнѣе повторилъ:

— Миѣ необходимо сегодня.

Князь позвонилъ и приказалъ вошедшему лакею, чтобъ приготовленъ былъ фаэтонъ четверней.

Молча прошелъ потомъ чайный завтракъ, съ окончаніемъ котораго Калиновичъ церемонно раскланялся съ дамами, присовокупивъ, что онъ уже прощается. Княгиня ласково и нѣсколько разъ кивнула ему головой, а княжна только слегка наклонила свою прекрасную головку и тотчасъ же отвернулась въ другую сторону. На лицѣ ея нельзя было прочитать въ эти минуты никакого выраженія.

Мистриссъ Нетльбетъ присѣла.

— Adieu, m-r! — произнесъ ле-Гранъ, вѣрно сжимая ему руку.

Фаэтонъ между тѣмъ стоялъ ужь у крыльца.

Калиновичъ сошелъ въ свою комнату и началъ собираться. Князь пришелъ его проводить. Радужіе и привѣтливость какъ-будто бы снова возвратились къ нему на прощаньи.

— Очень, очень вамъ благодаренъ, — говорилъ онъ, цѣлуя и обнимая гостя.

Калиновичъ, съ своей стороны, благодарилъ за ласковый и обязательный пріемъ.

— И пожалуйста, — продолжалъ князь, сжимая и не выпуская его руку: — чтобъ недавній нашъ разговоръ остался между нами.

Калиновичъ просилъ, Бога ради, не беспокоиться объ этомъ, тѣмъ болѣе, что онъ не будетъ имѣть

даже возможности разглашать этого разговора, потому что черезъ мѣсяць, вѣроятно, совсѣмъ уѣдетъ въ Петербургъ.

— А! вы думаете въ Петербургъ? — спросилъ князь совершенно простодушнымъ тономъ и потомъ, все еще не выпуская руки Калиновича, продолжалъ: — съ Богомъ... отъ души желаю вамъ всякаго успѣха и, если встрѣтится какая-нибудь надобность, не забывайте насъ, вашихъ старыхъ друзей: черкните строчку, другую. Чѣмъ только могу быть полезенъ, я готовъ служить вамъ. Можетъ быть, даже измѣнится и взглядъ вашъ на жизнь, теперь немножко еще студенческой. Петербургъ для этого прекрасный учитель. Напишите тогда... можетъ быть, и придумаемъ что-нибудь сдѣлать.

Калиновичъ очень хорошо понялъ, въ какой огородъ кидаль князь камня, и отвѣчалъ, что онъ считаетъ за величайшее для себя одолженіе это позволеніе писать, а тѣмъ болѣе право относиться съ просьбою. Они разстались.

Въ серьезномъ и мрачномъ настроеніи духа выѣхалъ герой мой. Онъ не мечталъ уже на этотъ разъ о благоухающей княжнѣ и не восхищался окружающей его природой, въ которой тоже, какъ бы подъ ладъ ему, заварилась кутерьма: надвинули со всѣхъ сторонъ облака, и потемнѣло, какъ въ сумерки. Въ воздухѣ сдѣлалось душно. Нахохлевшись и съ разинутыми ртами сидѣли на кочкахъ вороны: ласточки летали по самой землѣ. Хоть бы травка, хоть бы листокъ на деревѣ шелохнулся. Все, какъ бы въ ожиданіи чего-то, затихло, и только изрѣдка прорѣзывалась молнія и глухо погремливало. Сталъ

наконецъ накрапывать дождикъ, и вдругъ, гдѣ-то ужь очень близко, верестянулъ съ раскатомъ ударъ, хлынулъ, какъ изъ ведра, ливень, и безтолково задулъ, нагибая деревья и кр утя пылью, вѣтеръ Калиновичъ опустилъ фордекъ и еще болѣе погрузился въ размышленія. Съ самаго прїѣзда въ маленькій городишко онъ былъ, въ отношеніи самого себя, въ какомъ-то туманѣ. На самыхъ первыхъ порахъ его встрѣтила, какъ мы видѣли, любовь Настеньки. Калиновичъ, самъ не зная какъ, увлекся ея порывистою и безразсудною страстью, а подъ минутнымъ вліяніемъ чувственности сталъ съ нею въ тѣ отношенія, при которыхъ разрывъ сдѣлался безчеловѣченъ. Потомъ этотъ неожиданный литературный успѣхъ, прїѣтствіе въ домѣ генеральши, князь, княжна, мечты о ней — все это слѣдовало такъ быстро однако за другимъ... Но разговоръ съ княземъ какъ бы отрезвилъ его: всѣ совѣты, замѣчанія и убѣжденія того пали на плодотворную почву. Сѣмена практическихъ началъ были обильно заложены въ душѣ моего героя. Все, что говорилъ князь, ему еще прежде представлялось смутно, въ предчувствіи — теперь же стало только яснѣй и нагляднѣй. Впереди были двѣ дороги: на одной невѣста съ тысячью душами... однако, вѣдь съ тысячью! — повторялъ Калиновичъ, какъ бы стараясь внушить самому себѣ могущественное значеніе этой цифры, но тутъ же, какъ бы наступивъ на какое-нибудь гадкое насѣиное, дѣлалъ гримасу. На другой дорогѣ, продолжалъ онъ разсуждать, литература съ ея заманчивымъ успѣхомъ, съ независимой жизнью въ Петербургѣ, гдѣ, что бы князь ни говорилъ, широкое по-

прище для исканія счастья бѣдняку, который имѣеть уже нѣкоторыя права. Изъ всего этого ужь, конечно, самое лучшее — уѣхать навсегда въ Петербургъ. Но какъ же Настенька?... Что дѣлать! Не жениться же на ней теперь, когда это неминуемо должно было отравить бѣдностью всю будущность! Лучше разомъ сдѣлать операцію, чѣмъ мучиться всю жизнь!.. — Такъ говорило благоразуміе въ молодомъ человѣкѣ, но совѣсть въ то же время точно буровомъ вертѣла сердце.

Вѣхавъ въ городъ, онъ не утерпѣлъ и велѣлъ себя везти прямо къ Годневымъ. Нужно-ли говорить, какъ ему тамъ обрадовались? Первая увидѣла его Пелагея Евграфовна, мывшая, съ засученными рукавами, въ сѣняхъ посуду.

— Ай, батюшка, Яковъ Васильичъ! — вскрикнула она, стыдливо обдергивая заткнутый фартукъ.

— А! солнышко наше красное! — откуда вошло и появилось? — воскликнулъ Петръ Михайлычъ. — Настенька! — кричалъ онъ: — Яковъ Васильичъ пріѣхалъ.

— Ахъ! . — воскликнула та и вбѣжала.

Калиновичъ поцѣловалъ у ней руку. Настенька, дѣлая видъ, что какъ будто цѣлуетъ его въ голову, поцѣловала просто въ губы.

— Ахъ, какъ я рада, что ты пріѣхалъ! — обмолвилась она.

Петръ Михайлычъ сдѣлалъ добродушную гримасу.

— Ой, ой! вотъ какъ: на *ты* ужь дѣло пошло!

Настенька немножко покраснѣла.

— Что-жь? — я могу ему говорить *ты*: мы съ нимъ рузья, — сказала она и протянула Калиновичу руку.

— Конечно, — подхватилъ тотъ, и еще разъ поцѣловаль ея руку.

Капитана на этотъ разъ не было на-лицо: онъ отправился съ Лебедевымъ верстъ за двадцать въ болото за красной дичью. Вошла Пелагея Евграфовна.

— Чаю приважете, али кушать будете?.. — обратилась она къ Калиновичу.

— Чего тутъ спрашивать, старая! Давай намъ и того и сего! — подхватилъ Петръ Михайлычъ.

— Нѣтъ, я попросилъ бы съѣсть чего-нибудь, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— Ну, покушать, такъ покушать... Живѣй! маршъ! — крикнулъ Петръ Михайлычъ. Пелагея Евграфовна пошла было... — Пстой! — остановилъ ее, очень ужъ довольный прѣздомъ Калиновича, старикъ: — тамъ вняжескій кучерь. Изволь ты у меня, сударыня, его накормить, виномъ, пивомъ напоить. Лошадкамъ дай овса и сѣна! Все это имъ за то, что они намъ Якова Васильича привезли.

— Накормимъ! Пуще всего не знаютъ безъ васъ! — отвѣчала съ насмѣшкой экономка и скрылась, а Настенька принялась накрывать на столъ. Калиновичъ просилъ было ее не беспокоиться.

— Что-жь, если я хочу, если это доставляетъ мнѣ удовольствіе? — отвѣчала она, и когда кушанье было подано, сѣла рядомъ съ нимъ, наливала ему горячее и перемѣняла даже тарелки. Петръ Михайлычъ тоже не остался празднымъ: онъ собственной особой слазилъ въ подвалъ и, доставъ оттуда самой лучшей наливки-лимоновки, которую Калиновичъ по преимуществу любилъ, усѣлся противъ молодыхъ

людей и сталъ смотрѣть на нихъ съ какимъ-то умиленіемъ. Калиновичу, наконецъ, сдѣлалось тяжело переносить ихъ исверенное радушіе. «Боже мой! какъ эти люди любятъ меня, и между тѣмъ какой черной неблагодарностью я долженъ буду заплатить имъ!» мучительно думалъ онъ, и рѣшительно не имѣлъ духа, какъ прежде предполагалъ, сказать о своемъ намѣреніи вѣхать въ Петербургъ, и только, оставшись послѣ обѣда вдвоемъ съ Настенькой, обнялъ ее и долго цѣловалъ.

— Ты плачешь? — спросила она, почувствовавъ, что съ глазъ его упала ей на щеку слеза.

— Нѣтъ, это такъ, — отвѣчалъ Калиновичъ, и потомъ опять ее обнялъ и сказалъ ей что-то на ухо.

— Хорошо, — отвѣчала Настенька.

Во весь остальной вечеръ онъ былъ мраченъ. Затаенныя въ душѣ страданія подняли въ немъ, по обыкновенію, желчь. Петръ Михайлычъ спросилъ было, какъ у князя проводилось время. Калиновичъ сдѣлалъ гримасу.

— Князь — это такой мошенникъ, какихъ когда-либо я встрѣчалъ, — отвѣчалъ онъ.

— Талейранъ, Талейранъ! — подтверждалъ Петръ Михайлычъ.

— Княгиня — идиотка, — продолжалъ Калиновичъ.

— Ужасная идиотка; это я тогда же замѣтила, — подтвердила ужъ Настенька. — А что княжна?... — спросила она: — эта тоже идиотка?

Калиновичъ нѣсколько замаялся.

— Нѣтъ, какъ это можно!.. такая прелестная дѣвица, нѣтъ! — отвергнулъ Петръ Михайлычъ.

— Рѣшительно идиотка!—повторила Настенька:— воображаетъ, что очень хороша собой, и не даетъ себѣ труда подумать и понять, какъ она глупа.

— Она не то, что глупа... — началъ Калиновичъ, но это идеаль пустоты... Дѣвушка, въ которой, можетъ быть, отъ природы и было кое-что, но все это окончательно изломано, исковеркано воспитаніемъ папеньки.

— Ужасно! — подхватила Настенька: — когда *ты* читалъ у нихъ, мнѣ было такъ досадно за *тебя*. Развѣ кто-нибудь изъ нихъ понялъ, что *ты* написалъ? Сидѣли всѣ, какъ сороки.

— Гдѣ-жъ какъ сороки?... Нравилось, особенно этой генеральской дочери, — замѣтилъ Петръ Михайлычъ.

— Ну, да, Полинѣ, потому что она умнѣе тутъ всѣхъ, — возразила Настенька: — и слушала, по-крайней-мѣрѣ, внимательно, можетъ быть, потому, что влюблена въ Якова Васильича.

— Вѣроятно, — подтвердилъ Калиновичъ и вздохнулъ.

Домой онъ ушелъ часовъ въ двѣнадцать; и когда у Годневыхъ все успокоилось, заднимъ дворомъ его квартиры опять мелькнула чья-то тѣнь, спустилась въ рѣкѣ и, пробираясь по берегу, скрылась противъ бесѣдки, а на разсвѣтѣ опять эта тѣнь мелькнула, и все прошло тихо...

VIII.

Черезъ недѣлю Калиновичъ послалъ просьбу объ увольнении его въ четырехмѣсячный отпускъ, и на-

писалъ князю о своемъ рѣшительномъ намѣреніи уѣхать въ Петербургъ, прося его снабдить, если можетъ, рекомендательными письмами. Въ отвѣтъ на это тотчасъ же получилъ пакетъ на имя одного директора департамента съ коротенькой запиской отъ князя, въ которой пояснено было, что человекъ, къ которому онъ пишетъ, готовъ будетъ сдѣлать для него все, что только будетъ въ его зависимости. Распожаясь такимъ образомъ, Калиновичъ никакъ не имѣлъ духу сказать о томъ Годневымъ, и — странное дѣло! въ этомъ случаѣ, попреимуществу, его останавливалъ возвратившійся капитанъ: стыдясь самому себѣ признаться, — онъ начиналъ чувствовать къ нему непреодолимый страхъ. Ему казалось, что Настеньку и Петра Михайлыча можно еще было какъ-нибудь спасительно обмануть, но Флегонта Михайлыча нѣтъ. Время между-тѣмъ шло: отпускъ былъ присланъ, и скрывать долѣе не было уже никакой возможности. Заранѣе приготовившись на слезы и упреки со стороны Настеньки, на удивленіе Петра Михайлыча и на многозначительное молчаніе капитана, и рѣшившись все это отпарировать своей холодностью, Калиновичъ рѣшился и пришелъ нарочно къ Годневымъ къ самому обѣду, чтобъ застать всѣхъ въ сборѣ. Ссылаясь на сырую погоду, онъ выпилъ, изъ стоявшаго на столѣ графина, огромную рюмку водки и проговорилъ.

— Сейчасъ получилъ я отпускъ.

— Отпускъ?— повторилъ Петръ Михайлычъ.

— Да, думаю съѣздить въ Петербургъ, — продолжалъ, на сколько могъ спокойно, Калиновичъ.

— Въ Петербургъ? — спросила ужъ Настенька и поблѣднѣла.

— Въ Петербургъ, — отвѣчалъ Калиновичъ, и голосъ у него дрожалъ отъ волненія. — Я еще у князя получилъ письмо отъ редактора; предлагаетъ постоянное сотрудничество и пишетъ, чтобъ самъ прѣхалъ войти въ личныя съ нимъ сношенія, — прибавилъ онъ, солгавъ отъ перваго до послѣдняго слова. Петръ Михайлычъ сначала было нахмурился впрочемъ не надолго.

— Пожалуй, что и надобно съѣздить... — произнесъ онъ съ глубокомысленнымъ видомъ.

— А надолго ли вы думаете ѣхать? — спросила Настенька.

Вопросъ этотъ острымъ ножомъ кольнулъ Калиновича въ сердце.

— Мѣсяца на три, на четыре, — отвѣчалъ онъ.

— Надобно съѣздить; сидя здѣсь, ничего не сдѣлаешь!... непременно надобно!... — повторилъ старикъ, почти совершенно успокоенный послѣднимъ отвѣтомъ Калиновича. — И вы, пожалуйста, Настасья Петровна, не отговаривайте: три мѣсяца не въкъ! — прибавилъ онъ, обращаясь къ дочери.

— Я не отговариваю. Отчего не съѣздить, если это необходимо? — отвѣчала Настенька, хотя на глазахъ ея навернулись ужъ слезы и руки такъ дрожали, что она не въ состояніи была держать вилки.

Калиновичъ вздохнулъ свободнѣе.

«Ну, не ожидалъ я, чтобъ такъ легко это устроилось», подумалъ онъ и, желая представить свой отъѣздъ какъ очень обыкновенный случай, принялся

было быть веселымъ, но не могъ: сидѣвшія передъ нимъ жертвы его эгоизма мучили и обличали его. Невольно задумавшись, онъ взглядывалъ только искоса на Флегонта Михайлыча, какъ бы желая угадать, что у того на душѣ; но капитанъ во все время упорно молчалъ. Петръ Михайлычъ, глядя на дочь, которая была блѣдна какъ мертвая, тоже призадумался. Ушедши послѣ обѣда въ свой кабинетъ, по обыкновенію, отдохнуть, онъ, слышно было, что не спалъ: сначала все ворочался, кашлялъ, и наконецъ, постучалъ въ стѣну, что было всегда для Пелагеи Евграфовны знакомъ, чтобъ она являлась. Та пришла, и между ними начался шопотомъ разговоръ, въ которомъ больше слышался голосъ Петра Михайлыча; экономка же отвѣчала только своей поговоркой: э... э... э... хе... хе...

Между тѣмъ, оставшіеся въ залѣ: Настенька, Калиновичъ и капитанъ сидѣли погруженные въ свои собственные мысли.

— Пойдемте гулять, мнѣ пройтись хочется, — сказала, наконецъ, вставая, Настенька, обращаясь къ Калиновичу.

Тотъ посмотрѣлъ на нее.

— Холодно сегодня. Пожалуй, еще простудишься: что за удовольствіе! — возразилъ онъ.

— Нѣтъ, ничего: я въ тепломъ платьѣ, — отвѣчала Настенька и стала надѣвать шляпку.

Калиновичъ не трогался съ мѣста.

— А вы пойдете съ нами? — отнесся онъ къ капитану, видимо не желая остаться на этотъ разъ съ Настенькой вдвоемъ.

— Нивакъ нѣтъ-съ! — отвѣчалъ отрывисто капи-

тань и, взявъ фуражку, но позабывъ трубку и кисть, пошелъ. Діанка тоже поднялась было за нимъ и, желая приласкаться, загородила ему дорогу въ дверяхъ. Капитанъ вдругъ толкнулъ ее ногою въ бокъ съ такой силой, что она привскочила, завизжала и, поджавъ хвостъ, спряталась подъ стулъ.

— Все вертишься подъ ногами... покричи еще у меня: удавлю, каналью! — проговорилъ уходя Флегонтъ Михайлычъ и, по выраженію глазъ его, можно было вѣрить, что онъ способенъ былъ въ настоящую минуту удавить свою любимицу, которая, какъ бы понявъ это, спустя только нѣсколько времени осмѣлилась выйти изъ-подъ стула и, отворивъ сама мордой двери, нагнала своего патрона, куда-то прошедшаго не домой, и стала слѣдовать за нимъ, сохраняя почтительное отдаленіе.

Все это Калиновичъ видѣлъ, и все это показалось ему подозрительно.

«Куда пошелъ этотъ медвѣжонокъ?» думалъ онъ, машинально идя за Настенькой, которая была тоже въ ажитации. Быстро шла она; глаза и щеки у ней горѣли. Скоро миновали главную улицу, прошли потомъ переулокъ и очутились наконецъ въ полѣ.

— Куда же мы идемъ?— спросилъ наконецъ Калиновичъ, поднимая голову и осматривая окрестность.

— На могилу къ матушкѣ. Я давно не была и хочу, чтобъ ты сходилъ поклониться ей,— отвѣчала Настенька.

Калиновича подернуло.

«Часть отъ часу не легче!» подумалъ онъ и съ чувствомъ невольнаго отвращенія поглядѣлъ на виднѣвшееся невдалекѣ кладбище. Церковь его была деревянная, съ узенькими окнами, стекла которыхъ проржавѣли отъ времени и покрылись радужными отливками. Небольшая, приземистая колокольня покачнулася на-бокъ. Вся она обшита была узорно вырѣзаннымъ тесомъ, и на крышѣ, тоже узорной, росли уже трава и мохъ. Погостъ былъ сплошь покрытъ могилами, надъ которыми возвышались то бѣлые, то черные деревянные кресты. Простоту эту нарушала одна только мраморная колонка, съ горѣвшимъ на солнцѣ золотымъ крестомъ и золотой подписью, поставленная надъ могилою недавно умершаго откупщика. Настенька подвела Калиновича къ могилѣ матери, которую покрывала четверугольная изъ дикаго камня плита, съ изсѣченнымъ на верхней сторонѣ изреченіемъ: *Помяни мя, Господи, егда придеши во царствіи Твоемъ*. Слова эти начертать на вѣчномъ жилищѣ своей жены придумалъ самъ Петръ Михайлычъ.

— Помолимся! — сказала Настенька, становясь на колѣни передъ могилою: — стань и ты, — прибавила она Калиновичу. Но тотъ остался неподвиженъ. Цѣлый адъ былъ у него въ душѣ; онъ желалъ въ эти минуты или себѣ смерти, или — чтобъ умерла Настенька. Но испытаніе еще тѣмъ не кончилось: намолвившись и наплакавшись, бѣдная дѣвушка взяла его за руку и положила ее на гробницу.

— Поклянись мнѣ, Жакъ, — начала она, глотая слезы: — поклянись надъ гробомъ матушки, что ты будешь любить меня вѣчно, что я буду твоей женой,

другомъ. Иначе мать меня не простить... Я третью ночь вижу ее во снѣ: она мучится за меня!

— Настенька!... къ чему всё эти мелодраматическія сцены?... Ей-богу, тяжело и безъ того! — воскликнулъ Калиновичъ, немогшій болѣе владѣть собой.

— Нѣтъ, Жакъ, появляйся: это будетъ одно для меня утѣшеніе, когда ты уѣдешь, — отвѣчала настойчиво Настенька.

— Клянусь...— проговорилъ онъ.

И въ самый этотъ моментъ съ шумомъ выпорхнула изъ растущей около густой травы какая-то черная масса и понеслась по воздуху. Калиновичъ поблѣднѣлъ и немного отскочилъ. Настенька осталась спокойною.

— Чего же ты испугался? Это воронъ, — проговорила она.

— Подобныя сцены хоть у кого разстроятъ нервы, — отвѣчалъ Калиновичъ.

— За что-жь ты сердишься?

— Я не сержусь.

— Нѣтъ, ты сердишься. Нынче ты все сердишься. Прежде ты не такой былъ!... — сказала со вздохомъ Настенька. — Дай мнѣ руку, — прибавила она.

Калиновичъ подалъ. Войдя въ городъ, онъ проговорилъ: «здѣсь неловко такъ идти» и хотѣлъ было руку отнять, но Настенька не пустила.

— Нѣтъ, ничего; пойдемъ такъ... Пускай всё видятъ: я хочу этого! — сказала она.

Калиновичъ пожалъ только плечами и всю остальную дорогу шелъ погруженный въ глубокую задум-

чивость. Его неотвязно беспокоила мысль: гдѣ теперь капитанъ, что онъ дѣлаетъ и что намѣренъ дѣлать?

Капитанъ дѣйствительно замышлялъ несовсѣмъ для него пріятное: выйдя отъ брата, онъ прошелъ къ Лебедеву, который жилъ въ Солдатской Слободѣ, гдѣ никто ужъ изъ господъ не жилъ, и происходило это конечно не отъ скупости, а вслѣдствіе одного несчастнаго случая, который постигъ математика на самыхъ первыхъ порахъ пріѣзда его на службу: цѣломудренно воздерживаясь отъ всякаго рода страстей, онъ попробовалъ разъ у исправника поиграть въ карты, выигралъ немного — понравилось... и съ этой минуты карты сдѣлались для него какой-то ненасытимой страстью: онъ всюду началъ шататься, гдѣ только затѣвались карточные вечеринки; схватывался съ мѣщанами и даже съ лакеями въ горку — и не корысть его снѣдала въ этомъ случаѣ, но ощущенія игрока были пріятны для его мужественнаго сердца. Подвизаясь такимъ образомъ около года, онъ наскочилъ наконецъ на извѣстнаго ужъ намъ помѣщика Прохорова, который кромѣ того, что чисто дѣлалъ артикулы ружьемъ, еще чище ихъ дѣлалъ картами, и съ нимъ играть было все равно, что ходить на медвѣдя безъ рогатины: навѣрняка сломаешь! Онъ порѣшилъ Лебедева въ нѣсколько часовъ рублей на пятьсотъ серебромъ. Звѣродовъ поблѣднѣлъ и униженно сталъ просить поиграть еще съ нимъ въ долгъ. Прохоровъ согласился, и къ утру ужъ былъ въ выигрышѣ тысячъ пять на ассигнаціи.

— Будетъ! — проговорилъ наконецъ математикъ,

вздохнувъ, какъ паровая машина, я тотчасъ же сходилъ въ маклеру и принесъ на себя вексель.

Неуклонно съ тѣхъ поръ началъ онъ въ уплату долга отдавать изъ своего жалованья двѣ трети, поселившись для того въ крестьянской почти избушонкѣ и ограничивъ свою пищу хлѣбомъ, картофелемъ и кислой капустой. Даже въ гостяхъ, когда предлагали ему чаю или трубку, онъ отвѣчалъ басомъ: «нѣтъ-съ; у меня дома этого нѣтъ, такъ зачѣмъ ужъ баловаться?» Изъ собственной убитой дичи звѣроловъ тоже никогда ничего не ѣлъ, но, стараясь продать какъ можно подороже, копилъ только деньги для кредитора.

«Зачѣмъ вы платите? васъ, вѣдь, навѣрное обиграли» говорили ему нѣкоторые. — «Ничего я не знаю-съ; я проигралъ и долженъ платить», отвѣчалъ Лебедевъ съ стоическою твердостью.

Въ тотъ самый день, какъ пришелъ къ нему капитанъ, онъ цѣлое утро занимается приготовленіемъ себѣ для стола картофельной муки, которой намолотъ собственной рукой около четверика, побѣдилъ плотно щами съ забѣлкой и, съѣвъ при этомъ фунтовъ пять чернаго хлѣба, заснулъ на своемъ худенькомъ диванчикѣ, облаченный въ узенькій ситцевый халатъ, изъ-подъ котораго выставлялись его громадныя выростковые сапоги и виднѣлась колоссальная грудь, покрытая, какъ у Исава, густымъ волосомъ. Заставъ хозяина спящимъ, Флегонтъ Михайлычъ, по своей деликатности, вѣроятно бы, въ обыкновенномъ случаѣ ушелъ домой, но на этотъ разъ началъ будить Лебедева, и нужно было нѣсколько сильныхъ толчковъ, чтобъ прервать богатырскій

сонъ звѣрлова; наконецъ онъ пошевелился, приподнялся, открылъ налившіеся кровью глаза, протеръ ихъ и, узнавъ пріятеля, произнесъ:

— А, ваше благородіе!

— Извините, я васъ разбудилъ, — сказалъ капитанъ.

Не смотря на тѣсную дружбу, онъ всегда говорилъ Лебедеву, какъ и всѣмъ другимъ: *вы*, и тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же.

— Ничего-съ! огонька, я думаю, вамъ въ трубочку нужно, — сказалъ Лебедевъ, окончательно приходя въ себя и приглаживая свои щетино-подобные волосы, растопырившіеся во всевозможныя стороны.

— Нѣтъ-съ, я трубку забылъ, — отвѣчалъ капитанъ, хватаясь за пуговицу, на которой обыкновенно висѣлъ кисеть.

— Ну, такъ садитесь! — произнесъ математикъ, подвигая одной рукой увѣсистый стулъ, а другой доставая съ окна деревянную кружку съ квасомъ которую и выпилъ однимъ приемомъ до дна.

Капитанъ сѣлъ.

— Ну-съ, — продолжалъ Лебедевъ: — а крусановскія болота, батенька, мы съ вами прозѣвали: въ прошлое воскресенье все казначейство ходило, и воронъ-то всѣхъ, чай, расшугали, а все вы...

— Некогда было-съ, — отвѣчалъ капитанъ красна — явный знакъ, что онъ говорилъ неправду.

— Некогда?... какого чорта вы дѣлаете? — возразилъ зѣвая звѣрловъ и потянулся, напомнивъ собой въ своей избушонкѣ льва въ клѣткѣ.

Собственно на это замѣчаніе капитанъ ничего

не отвѣтилъ, но, посеменивъ руками и ногами, вдругъ проговорилъ.

— Смотритель вашъ въ Петербургъ ѣдетъ?—Лебедевъ, кажется, не обратилъ на это особеннаго вниманія.

— Какъ же! отпускъ ужь получилъ на четыре мѣсяца, — отвѣчалъ онъ.

Оба пріятели на нѣкоторое время замолчали.

— Теперича они ѣдутъ въ Петербургъ, а можетъ, и совсѣмъ оттуда не пріѣдутъ? — началъ капитанъ больше вопросомъ.

— Прахъ его побери! Пускай убирается, куда хочетъ! — отвѣчалъ Лебедевъ.

Капитанъ опять посеменилъ руками и ногами.

— Теперича, хоша бы въ домъ братца... что-жь? надобно сказать: они были приняты за мѣсто роднаго сына...—началъ онъ, но голосъ у него оборвался.

— Что говорить! извѣстно!...—подтвердилъ Лебедевъ.

— А хоша бы и братецъ, — продолжалъ капитанъ: — не холостой человекъ, имѣетъ дочь дѣвицу.

— Извѣстно! — повторилъ Лебедевъ.

— А хоша бы и здѣсь, — снова продолжалъ капитанъ: — не темные лѣса, а городъ: не зажмешь каждому ротъ... мало ли что говорятъ.

Лебедевъ значительно отшатнулся, или, скорѣе рыкнулъ, понявъ, наконецъ, къ чему клонитъ капитанъ.

— Разговоровъ много идетъ, — произнесъ онъ, глубокомысленно мотнувъ головою.

— Да-съ. А кому закажешь? — подхватилъ капитанъ.

— Много говорятъ, много... Я, что? конечно: моя изба съ краю, ничего не знаю, а что, почитавши Петра Михайлыча за его добрую душу, жалко, ей-богу, жалко!..

Капитанъ уставилъ на пріятеля глаза.

— Вы теперича, — началъ онъ прерывающимся голосомъ:—посторонній человекъ, и то вамъ жалко; а что же теперича я, имѣвши въ братъ отца роднаго? А хоша бы и Настасья Петровна — не чужая мнѣ, а родная племянница... что-жь я долженъ теперича дѣлать?..

На вопросъ этомъ капитанъ остановился, какъ бы ожидая отвѣта пріятеля; но тотъ ерошилъ только свою громадную голову.

— Говорить хоша бы не по нимъ, — такъ станутъ-ли еще моихъ словъ слушать?.. Можетъ, одно ихъ слово умнѣй моихъ десяти, — заключилъ онъ, и Лебедевъ замѣтилъ, что, говоря это, капитанъ отвернулся и отеръ со щеки слезу.

— Мошенникъ онъ — вотъ что надо было замъ сказать! — проговорилъ звѣроловъ.

Капитанъ всталъ и началъ ходить по избѣ.

— Теперича что-жь? — заговорилъ онъ, разводя руками:— я, какъ благородный человекъ, долженъ, какъ промежь офицерами бываетъ, дуэль съ нимъ имѣть!

Лебедевъ опять значительно откашлянулся.

— Что-жь? — продолжалъ капитанъ: — суди меня Богъ и царь, а себя я не пожалѣю: убить ихъ сейчасъ могу, только то, что ни братецъ, ни Настенька не перенесутъ того... До чего онъ ихъ обошелъ!..

Словно не спроста, съ перваго раза приняли, какъ роднаго сына... отогрѣли змѣю за пазухой!

— Мошенникъ! — повторилъ Лебедевъ.

— Теперича, хоша бы я пришелъ къ вамъ поговорить: отъ кого совѣта али наставленья мнѣ въ этомъ дѣлѣ имѣть... — говорилъ капитанъ, смигающая слезы.

— Погодите, постойте! — началъ звѣроловъ глубокомысленно и нещаднымъ образомъ ероша свои волосы: — постойте!.. вотъ что я придумалъ: впервыхъ, не плачьте.

Капитанъ торопливо обтерся.

— Во вторыхъ, — ступайте къ нему на квартиру и скажите ему прямо: «такъ, молъ, и такъ, въ городъ вотъ что говорятъ...» Это ужъ я вамъ говорю... вѣрно... своими ушами слышалъ: тамъ беременна, говорятъ, была... ребенка тамъ подкинула, что-ли...

Лицо капитана горѣло, глаза налились кровью, губы и щеки подергивало.

— Значить, что-жь? — продолжалъ Лебедевъ, ударивъ по стулу кулакомъ: — значить, прикрывай грѣхъ; а не то, молъ, по-нашему, по-военному, на барьеръ вытяну!.. Струсить, ей-богу, струсить!..

Капитанъ думалъ.

— Я схожу-съ, — проговорилъ онъ наконецъ.

— Сходите, право такъ! — подтвердилъ Лебедевъ.

— Схожу-съ! — повторилъ капитанъ и, не желая возвращаться къ брату, чтобъ не встрѣтиться тамъ, впредь до объясненія, съ своимъ врагомъ, остался у Лебедева вечеръ. Тотъ было показывалъ ему свое любимое ружье, заставляя его заглядывать

въ дуло и говоря: «посмотрите, какъ оно, шельма, разстрѣлялось!» И капитанъ смотрѣлъ, ничего, однако, не видя и не понимая.

Въ настоящемъ случаѣ трудно даже сказать, какого рода отвѣтъ далъ бы герой мой на вызовъ капитана, если бы сама судьба не помогла ему, совершенно помимо его воли. Настенька, возвратившись съ владѣища, провела почти насильно Калиновича въ свою комнату. Онъ было тотчасъ взялъ первую, попавшуюся ему на глаза, книгу и началъ читать ее съ большимъ вниманіемъ. Нѣсколько времени продолжалось молчаніе.

— Ну, послушай, другъ мой, брось книгу, перестань!—заговорила Настенька, подходя къ нему.— Послушай, — продолжала она, нѣсколько возволнованнымъ голосомъ:—ты теперь ѣдешь... ну, и повѣжай: это тебѣ нужно... Только ты долженъ прежде сдѣлать мнѣ предложеніе, чтобъ я осталась твоей невѣстой.

Холодный потъ выступилъ на лбу Калиновича. «Нѣтъ, это не такъ легко кончается, какъ мнѣ казалось сначала!» — подумалъ онъ.

— Что-жь? сдѣлаю-ли я предложеніе, или нѣтъ, я думаю, это все-равно, — проговорилъ онъ.

— Равно?.. Какъ ты странно разсуждаешь!

— Рѣшительно все-равно, — повторилъ Калиновичъ.

— А если это отца успокоитъ? Онъ скрываетъ, но его ужасно мучать наши отношенія. Когда ты ѣзжалъ къ князю, онъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ, задумавшись и ни слова не говоря... когда это съ нимъ бывало?.. Наконецъ пощади и меня, Жъкъ!...

Теперь весь городъ называетъ меня развратной дѣвчонкой, а тогда я буду, по крайней мѣрѣ, невѣстой твоей. Худа-ли, хороша-ли, но замужъ за тебя выхожу.

Что могъ противъ этого сказать Калиновичъ? Но, съ другой стороны, требованіе Настеньки заставляло его сдѣлать новый безчестный поступокъ.

«Ну», подумалъ онъ про себя: «обманывать, такъ обманывать, видно, до конца!» — и проговорилъ:

— Если я дѣйствительно внушаю такое странное подозрѣніе Петру Михайлычу, и если ты сама этого желаешь, такъ, дорожа здѣшнимъ общественнымъ мнѣніемъ, я готовъ исполнить эту пустую проформу.

Тонъ этого отвѣта оскорбилъ Настеньку.

— Ты точно не желаешь этого и какъ-будто бы уступку дѣлаешь! — сказала она, вся уже вспыхнувъ.

Калиновичъ обрадовался. Немногого въ жизни желалъ онъ такъ, какъ желалъ въ эту минуту, чтобъ Настенька вышла, по обыкновенію, изъ себя и, въ порывѣ гнѣва, сказала ему, что послѣ этого она не хочетъ быть ни невѣстой его, ни женой; но та оскорбилась только на минуту, потому что просила сдѣлать ей предложеніе очень просто и естественно, вовсе не подозрѣвая, чтобъ это могло быть тяжело или неприятно для любившаго ее человѣка.

— Ты сегодня же долженъ поговорить съ отцомъ, а то онъ будетъ беспокоиться о твоёмъ отъѣздѣ... Дядя тоже наговорилъ ему, — присовокупила она простодушно.

— Хорошо, — отвѣчалъ односложно Калиновичъ, думая про себя: «эта несносная дѣвчонка употребляетъ, кажется, всѣ средства, чтобъ сдѣлать мой

отъѣздъ въ Петербургъ какъ можно труднѣе, и неужели она не понимаетъ, что мнѣ нельзя на ней жениться? А если понимаетъ и хочетъ взять это силой, такъ неужели не знаетъ, что это совершенно невозможно при моемъ характерѣ?»

Кашель и голосъ Петра Михайлыча въ кабинетѣ прервалъ его размышленія.

— Папаша проснулся; поди къ нему и скажи, — сказала Настенька.

Калиновичъ ничего ужъ не возразилъ, а всталъ и пошелъ. Ему, наконецъ, сдѣлалось смѣшно его положеніе, и онъ рѣшился покориться всему безусловно. Петръ Михайлычъ, дѣйствительно, всталъ и сидѣлъ въ своемъ креслѣ въ глубокой задумчивости.

Калиновичъ сѣлъ напротивъ. Старикъ долго смотрѣлъ на него, не спуская глазъ и какъ бы желая наглядѣться на него.

— Итакъ, Яковъ Васильичъ, вы ѣдете отъ насъ далеко и надолго! — проговорилъ онъ съ грустною улыбкою. Кромѣ Настеньки, ему и самому было тяжело разставаться съ Калиновичемъ — такъ онъ привыкъ къ нему.

— Да, — отвѣчалъ тотъ и потомъ, подумавъ, прибавилъ: — прежде отъѣзда моего я желалъ бы поговорить съ вами о довольно-серьезномъ дѣлѣ.

— Что такое? — спросилъ торопливо Петръ Михайлычъ.

— Съ самаго пріѣзда я былъ принятъ въ вашемъ семействѣ, какъ родной, — началъ Калиновичъ.

Петръ Михайлычъ кивнулъ головой; въ лицѣ его

задвигались всѣ мускулы; на глазахъ навернулись слезы.

— Вашимъ гостепріимствомъ я пользовался, конечно, не безъ цѣли, — продолжалъ Калиновичъ.

— Да, да, — проговорилъ старикъ.

— Мнѣ нравится Настасья Петровна...

— Да, да, — проговорилъ Петръ Михайлычъ.

— Теперь я ѣду и прошу ея руки, и желаю, чтобъ она осталась моей невѣстой, — заключилъ, съ замѣтнымъ усиліемъ надъ собой, Калиновичъ.

— Да, да, конечно, — пробормоталъ старикъ и зарыдалъ. — Милый ты мой, Яковъ Васильичъ! неужели я этого не замѣчалъ?... Благослови васъ Богъ: Настенька тебя любитъ; ты ее любишь — благослови васъ Богъ!... — воскликнулъ онъ, простирая къ Калиновичу руки. Тотъ обнялъ его.

— Эй, кто тамъ?... Пелагея Евграфовна!... — кричалъ Петръ Михайлычъ.

Пелагея Евграфовна вошла. — Поди, позови, Настю... Яковъ Васильичъ дѣлаетъ ей предложеніе.

При этомъ извѣстіи, экономка вспыхнула отъ удовольствія и пошла было; но Настенька уже вошла.

— Настасья Петровна, — началъ Петръ Михайлычъ, обтирая слезы и принимая нѣсколько-официальный тонъ: — Яковъ Васильичъ дѣлаетъ тебѣ честь и просить руки твоей; согласны вы, или нѣтъ?

— Я согласна, папа, — отвѣчала Настенька.

— Ну, и благослови васъ Богъ. а я подавно согласенъ! — продолжалъ Петръ Михайлычъ. — Капитана только теперь надобно: онъ очень будетъ

этимъ обрадованъ. Эй, Пелагея Евграфовна, Пелагея Евграфовна!

— Да что вы кричите? Я здѣсь... — отозвалась та.

— Какъ на васъ, бабъ, не кричать... бабы вы!... — шутилъ старикъ, дрожавшій отъ удовольствія. — Поди, мать-голубка, пошли кого-нибудь попроворнѣй за капитаномъ, чтобъ онъ сейчасъ же здѣсь былъ!... Ну, живо.

— Кого послать-то? Я сама сбѣгаю, — отвѣчала Пелагея Евграфовна и ушла, но не застала капитана дома, и гдѣ онъ былъ — на квартирѣ не знали.

— Какъ же это?... досадно!... — говорилъ Петръ Михайлычъ.

Калиновичъ тоже желалъ найти капитана, но Настенька отговорила.

— Гдѣ жъ его искать? Придетъ еще сегодня, — сказала она.

Но капитанъ не пришелъ. Остатокъ вечера прошелъ въ томъ, что женихъ и невеста были невеселы; но зато Петръ Михайлычъ плавалъ въ блаженствѣ: оставивъ молодыхъ людей вдвоемъ, онъ съ важностью началъ расхаживать по залѣ и сначала какъ-будто бы что-то рассчитывалъ, потомъ вдругъ проговорилъ извѣстный риторическій примѣръ: «Се тотъ, кто какъ и онъ, ввысь быстро, какъ птица царь, порхъ вверхъ на Геликонъ!» Эка чепуха, — заключилъ онъ.

Чувства радости произвели въ добродушной головѣ старика бессмыслицу, не лучше той, которую онъ, Богъ знаетъ почему и для чего, припомнилъ.

Возвратясь домой, Калиновичъ, въ первой же своей комнатѣ, увидѣлъ капитана. Онъ почти предчувствовалъ это, и потому, совладѣвъ съ собой, довольно спокойно произнесъ:

— А, Флегонтъ Михайлычъ! здравствуйте! Очень радъ васъ видѣть.

Капитанъ молчалъ.

— Садитесь, пожалуйста, — присовокупилъ Калиновичъ, показывая на стулъ.

Капитанъ сѣлъ и продолжалъ молчать. Калиновичъ помѣстился невдалекѣ отъ него.

— Гдѣ это вы были? — началъ онъ дружелюбнымъ тономъ.

— Такъ-съ, у знакомыхъ, — отвѣчалъ капитанъ.

— Это жаль, тѣмъ болѣе, что сегодня былъ знаменательный для всѣхъ насъ день: я сдѣлалъ предложеніе Настасьѣ Петровнѣ и получилъ согласіе.

Капитанъ выпучилъ глаза.

— Вы изволили получить согласіе? — произнесъ онъ, самъ не зная, что говорить.

— Да, — отвѣчалъ Калиновичъ:— искали потомъ васъ, но не нашли.

У капитана то бѣлыя, то красныя пятна начали выходить на лицѣ.

— Въ Петербургъ, стало быть, не изволите ѣхать? — спросилъ онъ, съ трудомъ переводя дыханіе.

При этомъ вопросѣ, Калиновичъ вспыхнулъ, однако отвѣчалъ довольно равнодушнымъ тономъ:

— Нѣтъ, въ Петербургъ я ѣду мѣсяца на три. Что дѣлать?... Какъ это ни грустно, но, по моимъ литературнымъ дѣламъ, необходимо.

Капитанъ безмысленно, но пристально посмотрѣлъ ему въ лицо.

— Теперь, по крайней мѣрѣ, — продолжалъ Калиновичъ: — я ѣду женихомъ и надѣюсь, что зажму ротъ здѣшнимъ сплетникамъ, а близкихъ Настасьѣ Петровнѣ людей успокою.

Капитанъ началъ теряться.

— Что я люблю Настасью Петровну — этого никогда я не скрывалъ, и не было тому причины, потому что всегда имѣлъ честныя намѣренія, хоть капитанъ и понималъ меня, можетъ быть, иначе, — присовокупилъ онъ.

Капитанъ былъ окончательно уничтоженъ. По щекамъ его текли уже слезы.

— Я очень радъ, — проговорилъ онъ, протягивая Калиновичу руку, которую тотъ съ чувствомъ пожалъ.

Затѣмъ послѣдовала нѣмая и довольно длинная сцена, въ продолженіе которой капитанъ еще разъ, протягивая руку, проговорилъ: «я очень радъ!» а потомъ всталъ и началъ расшаркиваться. Калиновичъ проводилъ его до дверей и, возвратившись въ спальню, бросился въ постель, схватилъ себя за голову и воскликнулъ: «Господи, неужели въ жизни, на каждомъ шагу, надобно лгать и дѣлать подлости?»

IX.

Чѣмъ ближе подходило время отъѣзда, тѣмъ тошавѣе становилось Калиновичу, и такъ какъ цѣну людямъ, истинно насъ любящимъ, мы, по большей

части, узнаемъ въ то время, когда ихъ теряемъ, то, не говоря уже о голосѣ совѣсти, который не умолкалъ ни передъ какими доводами разсудка, привязанность къ Настенькѣ какъ бы росла въ немъ съ каждымъ часомъ болѣе и болѣе: никогда еще не казалась она ему такъ мила, и одна мысль повинуть ее и покинуть, можетъ быть, навсегда, заставляла его сердце обливаться кровью. Но, все это затаивъ на душѣ, Калиновичъ, по наружности, казался еще холоднѣе и мрачнѣе. Онъ чувствовалъ, что если Настенька хоть разъ передъ нимъ расплачется и разгрустится, то вся рѣшительность его пропадетъ; но она не плакала: съ инстинктомъ любви, понимая какъ тяжело было милому человѣку разстаться съ ней, она не хотѣла его мучить еще болѣе и старалась быть спокойною; но только заняться ужъ ничѣмъ не могла и по цѣлымъ часамъ сидѣла, сложивъ руки и уставя глаза на одинъ предметъ. Зато неусыпно и бодро принялась хлопотать Пелагея Евграфовна: она своими руками перемыла, перегладила все бѣлье Калиновичу, за-ново передѣлала его перину, выстегала ему новое одѣяло и предусмотрѣла даже сшить особый мѣшечекъ для мыла и полотенца. О подорожникахъ она задумала еще дня за два и нарочно послала Терку за цыплятами для паштета къ знакомой мѣщанкѣ Спиридоновнѣ; но тотъ сходилъ поближе, къ другой, и принесъ такихъ, что она, не утерпѣвъ, бросила ему живымъ пѣтухомъ въ рожу. Петръ Михайлычъ, въ сопровожденіи кипитана, тоже все возился съ извозчиками и выходилъ изъ себя.

— То есть, этакой плуть этотъ русскій наро-

дець, вообразить себѣ невозможно! — говорилъ онъ: — прихожу я къ этому подлецу, Афонькѣ Безпалому: «Что до Москвы?...» — «Пятьдесятъ серебромъ!...» — «Какъ, шельма: пятьдесятъ серебромъ? Въ двадцать четвертомъ году ты меня же за пятьдесятъ ассигнаціями съ женой возилъ...» — Смѣется. — «Тогда-ста, говоритъ, четверикъ овса по десяти копѣекъ покупали, да тарантасъ, можетъ, не проходной былъ». — «Ладно, говорю: — что ты за тарантасъ кладешь?» — «Десять пѣлковыхъ». — «Ладно, говорю, бери за тарантасъ десять, а лошадей мы возьмемъ почтовыхъ». — «Не хочу», — говоритъ: — «почто работу изъ рукъ отпускатъ?» — «Такъ вотъ же тебѣ!...» говорю, и пошелъ къ Никитѣ Сапожникову. Не тутъ-то было: эта ногайская кобыла, супруга этого шельмы Афоньки, огородами туда ужъ маршъ... Прихожу — «ни копѣйки меньше!» — А? каковъ народецъ?... Нѣмецъ этого не сдѣлаетъ... нѣтъ... никогда!

— Дать имъ, что просятъ, — отвѣчалъ Калиновичъ, котораго всѣ эти хлопоты о немъ заставляли еще болѣе терзаться.

— Не дамъ, сударь! — возразилъ запальчиво Петръ Михайлычъ, какъ бы теряя въ этомъ случаѣ половину своего состоянія. — Сдѣлайте милость, братецъ, — отнесся онъ къ капитану и послалъ его къ какому-то Дмитрію Григорьичу Хлестанову, который говорилъ ему о какомъ-то купцѣ, ѣдущемъ въ Москву. Капитанъ сходилъ съ удовольствіемъ и, дѣйствительно, пріискалъ товарища купца, что сдѣлало дорогу гораздо дешевле, и Петръ Михайлычъ успокоился.

Наканунъ своего отъѣзда, Калиновичъ совер-

шенно переселился съ своей квартиры и долженъ былъ ночевать у Годневыхъ. Вечеромъ, Настенька, въ первый еще разъ, пользуясь правомъ невесты, съѣла около него и, положивъ ему голову на плечо, взяла его за руку. Калиновичъ не въ состояннн былъ долге выдержать своей роли.

— Послушай, — началъ онъ, привлекая ее къ себѣ и цѣлуя: — просидимъ сегодня ночь; приходи ко мнѣ...

— Хорошо, когда?... Какъ всѣ заснуть?

— Да; я желаю съ тобой быть.

— Хорошо, и я желаю, — отвѣчала Настенька. — это въ послѣдннй разъ!... — прибавила она такимъ грустнымъ голосомъ, что у Калиновича сердце заняло.

«Боже мой, Боже мой! и я покидаю это вроткое существо!» подумалъ онъ и поскорѣй всталъ и отошелъ.

На другой день предполагалось встать рано, и потому, послѣ ужина, всѣ тотчасъ же разошлись. Калиновичъ положенъ былъ въ залъ. Оставшись одинъ, онъ погасилъ было свѣчку и легъ, но съ первой же минуты овладѣло имъ безпокойное нетерпѣннє: съ напряженнымъ вниманнємъ сталъ онъ прислушиваться, что происходило въ сосѣднихъ комнатахъ. Прошло полчаса: Петръ Михайлычъ все еще покашливалъ, и раздавались по корридоу досадные шаги Пелагеи Евграфовны. Наконецъ пропала на дугу полоса свѣта, отражавшаяся изъ окна кабинетика, гдѣ спалъ старикъ, и среди глубокаго молчання только мѣрно отщелкивалъ маятникъ стѣнныхъ часовъ. Но вотъ что-то стукнуло... Калино-

визъ вскочилъ и взглянулъ въ гостиную, откуда должна была придти Настенька. Тамъ было пусто и темно, такъ что ему сдѣлалось какъ-будто немного страшно, и онъ снова легъ; но кровь волновалась и, казалось, каждый нервъ чувствовалъ и слушалъ. Опять что-то стукнуло... нѣтъ, это крыса возится съ костью. «Неужели она не придетъ?» мучительно подумалъ онъ, садясь въ изнеможеніи. Однако опять шелестъ... «Ты здѣсь?» послышался шепотъ. Калиновичъ вздрогнулъ, и въ полумракѣ къ нему ужь склонилась, въ бѣломъ спальномъ капотѣ, съ распушенной косою Настенька... Все было забыто: одною — предстоявшая ей страшная разлука, а другою — и его честолюбіе и безчеловѣчное намѣреніе... Блаженству, казалось, не будетъ конца... Но время, однако, шло, и начинало разсвѣтать. Всѣ предметы стали обозначаться яснѣй и яснѣй. На дворѣ закопошились: кухарка выгнала за ворота корову, слышавъ, что пастухъ трубить; Терка, согнанный Пелагеей Евграфовной съ печки, проѣхалъ за водой.

— Прощай! — проговорила наконецъ Настенька.

— Прощай! — сказалъ Калиновичъ.

Простившись еще разъ слабымъ подвѣлуемъ, они разстались, и оба заснули, забывъ грядущую разлуку. Напрасно проснувшійся потомъ Петръ Михайлычъ спрашивалъ Пелагею Евграфовну:

— Что, спять еще?

— Спать, — отвѣчала та.

— Экой безпечный народъ, — говорилъ старикъ и, не утерпѣвъ, пошелъ и поднялъ Калиновича.

Настенька тоже вскорѣ встала и вышла. Она была блѣдна и съ какими-то томными и слабыми глазами. Здороваюсь съ Калиновичемъ, она немного вспыхнула.

Послѣдніе тяжелые сборы протянулись, какъ водится, далеко за полдень: пока еще былъ привезенъ тарантасъ, потомъ приведены лошади и, наконецъ, самъ Аюонька Безпалый, въ дубленомъ полушубкѣ, перепачканномъ въ овсяной пыли и дегтю, неторопливо заложилъ ихъ и, облокотившись на запрягъ, сталъ флегматически смотрѣть, какъ Терка, подъ надзоромъ капитана, сталъ вытаскивать и укладывалъ вещи. Петръ Михайлычъ, воспользовавшись этимъ временемъ, позвалъ тайнственнымъ кивкомъ головы Калиновича въ кабинетъ.

— Есть у меня къ вамъ, Яковъ Васильчъ, нѣкоторая просьбица, — началъ онъ какимъ-то несмѣлымъ голосомъ. — Это вотъ-съ, — продолжалъ онъ, вынимая изъ шифоньерки довольно-толстую тетрадь: — мои стихотворные грѣхи. Тутъ есть элегія, оды небольшія, въ эротическомъ, наконецъ, родѣ. Нельзя ли вамъ изъ этого хлама что-нибудь сунуть въ какой-нибудь журналецъ и напечатать? А мнѣ бы это, на старости лѣтъ, было очень пріятно!

Калиновичъ мысленно улыбнулся этому простодушному желанію.

— Отчего же?... съ большимъ удовольствіемъ, — отвѣчалъ онъ.

— Сдѣлайте милость, — подхватилъ старикъ: — только Настенькѣ не говорите; а то она смѣяться станетъ, — шепнулъ онъ выходя.

Въ залѣ они нашли приказничиху, которая, какъ

ни мало была довольна своимъ постояльцемъ, но все-таки считала себя обязанною проводить его. Пришелъ также товарищъ купецъ, въ аккуратно-подпоясанномъ тулупѣ, въ которомъ онъ ужь достаточно согрѣлся. Мелагея Евграфовна разставила завтракъ, по-крайней-мѣрѣ, на двухъ столахъ; но Калиновичъ ничего почти не ѣлъ, прочіе тоже, а одна только приказничиха, вышивъ рюмки три водки, съѣла два огромные куса пирога и, проговоривъ: — «какъ это безподобно!» такъ взглянула на маринированную рыбу, что, кажется, еслибъ не совѣстно было, такъ она и ее бы всю съѣла.

— Закусите! — попотчивалъ Петръ Михайлычъ купца.

— Благодаримъ покорно: закусено грѣшнымъ дѣломъ! — отвѣчалъ тотъ, дохнувъ лукомъ.

— Ну, такъ, значить, поприсядемте! — продолжалъ Петръ Михайлычъ, и на глазахъ его навернулись слезы. Всѣ съли, не исключая и торчавшаго въ дверяхъ Терки, которому приказала это сдѣлать Пелагея Евграфовна.

— Ну! — снова началъ Петръ Михайлычъ вставая; потомъ, помодившись и, пробормотавъ еще разъ: «ну», обнялъ и поцѣловалъ Калиновича. Настенька тоже обняла его. Она не плакала...

— Прощайте, желаю благополучнаго пути туда и обратно, — проговорилъ, съ какими-то гримасами, капитанъ.

У Пелагеи Евграфовны были красныя, наплаканныя пятна подъ глазами; даже Терка съ какимъ-то чувствомъ поймалъ и поцѣловалъ руку Калиновича,

а разрумянившаяся отъ водки приказничиха поцѣловалась съ нимъ три раза. Всѣ вышли потомъ проводить на крыльцо.

«Съ Богомъ!» — произнесъ купецъ, крестясь и усѣвшись. Аeonьва тронулъ. Во все время Калиновичъ не проговорилъ ни слова; но выраженіе лица его было чисто-мученическое: обернувшись назадъ, онъ все еще видѣлъ въ огнѣ блѣдную и печальную Настеньку. Дома Годневыхъ стало наконецъ не видать. Миновалось и училище, куда онъ, наводя таковой страхъ на подчиненныхъ, ходилъ каждый день. Серебристыя главы собора блестяли на солнцѣ такъ ярко и красиво, что будто онъ никогда такъ не блестяли. Остались сзади и присутственныя мѣста, на крылечкѣ которыхъ спокойно сидѣли два сторожа, и направо пошелъ валъ, съ виднѣвшеюся на немъ бесѣдкой, гдѣ Калиновичъ въ первый разъ вызвалъ Настеньку на признаніе въ любви. Какъ онъ былъ счастливъ и доволенъ въ этотъ вечеръ! А теперь бѣжалъ этого счастья, чтобъ искать другаго... какого — Богъ знаетъ! Въ Солдатской Слободкѣ, на поросшемъ травой троттуарѣ, коза почтмейстера, отъ которой онъ пилъ молоко, щипала траву. Въ острогѣ, сквозь желѣзныя рѣшетки, выглядывали бритыя, съ блѣдными, изнуренными лицами, головы арестантовъ; а тамъ показалось и кладбище, гдѣ, какъ-бы нарочно и тотчасъ же, кинулась въ глаза сѣрая плита надъ могилой матери Настеньки... «Какъ все это знакомо, и все — прощай! Увидится ли когда-нибудь все это опять, или эти два года, съ ихъ мѣстами и людьми, минуютъ навсегда, какъ минуетъ сонъ, оставивъ въ душѣ только неизгладимое вос-

поминаніе?... Невыносимая тоска овладѣла при этой мысли моимъ героемъ: онъ не могъ ужь болѣе владѣть собой и, уткнувъ лицо въ подушку, заплакалъ!

КОНЕЦЪ ШЕСТАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ VI-ГО ТОМА.

ТЫСЯЧА ДУШЪ.

	СТР.
Часть первая	1
Часть вторая	165

F

24.186/6-2